

Союз писателей России

Тамбовский
АЛЬМАНАХ



№ 20

*К 60-летнему юбилею
Тамбовской областной писательской организации*



Тамбов
2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)бя4
Т 17

Тамбовский АЛЬМАНАХ № 20

Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России

Главный редактор

Юрий МЕЩЕРЯКОВ, *поэт, прозаик*

Редакционный совет

Олег АЛЁШИН, *поэт, публицист,
главный редактор «Рассказ-газеты»*

Валентина ДОРОЖКИНА,
поэтесса, прозаик, литературовед

Мария ЗНОБИЩЕВА,
поэтесса, литературовед

Сергей КОЧУКОВ,
прозаик, публицист, историк

Татьяна КУРБАТОВА, *поэтесса*

Елена ЛУКАНКИНА, *поэтесса, прозаик, публицист*

Т 17 Тамбовский альманах № 20. – ООО «ТПС». – Тамбов, 2020 г. –
448 с.

ISBN 978-5-907349-35-3

УДК 821.161.1
ББК 84(2=411.2)бя4

© СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Тамбовское отделение, 2020
© ООО «ТПС», 2020

ПАРУСА ТАМБОВСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Тамбовской областной писательской организации исполнилось 60 лет. По человеческим меркам – возраст уверенной зрелости. С точки зрения истории – мгновение, миг, пылинка. Но стоит ли судить о близком нам и понятном – литературе – с позиции археологии? Вопрос риторический...

За истекшие шесть десятилетий тамбовские прозаики и поэты, драматурги и филологи, очеркисты и краеведы выдали «на гора» огромное количество произведений, главное достоинство которых, если оценивать по уму и совести, – преданность лучшим традициям великой Российской словесности. А общественная работа писателей – это сотни встреч с читателями разных возрастов и профессий в библиотеках, на производстве, в учебных классах и аудиториях, на полевых станах... Это реальная помощь и содействие через литературные кружки и объединения становлению молодых талантов, укрепление необходимой духовной связи в неразрывной цепочке «писатель – читатель». Факт точный, неоспоримый.

Мне вспоминается беседа с замечательным человеком – многолетним главным редактором журнала «Подъём», охватывающего всё Центральное Черноземье, прекрасным писателем-рассказчиком, повествователем, романистом, одним из лучших учеников семинара Сергея Павловича Залыгина, выпускником московского Литературного института имени Горького Иваном Ивановичем Евсеенко – лауреатом высоких литературных премий имени Бунина, Платонова, Шукшина. Я спросил его: «Иван Иванович, а вот в чём, на Ваш взгляд, отличие тамбовской литературы от соседней – воронежской, липецкой, курской, орловской, белгородской?»

Мой старший товарищ и учитель на какое-то время задумался, потом сказал: «Вы знаете («сто лет» мы с ним были знакомы, дру-

жили, но никогда он не изменял этому «Вы», сохраняя в общении известную дистанцию старшего и младшего), Вы знаете, тамбовская литература очень тёплая, людская, человеческая. Читаю ли я вещи Александра Акулинина, Василия Кравченко, Валерия Кудрина, Ваши повести и рассказы – одинаково ощущаю обжигающее душу человеческое дыхание, авторский жар, писательское стремление выплеснуть на суд читателя свои мысли, чувства, размышления – щедро, обильно – без хитрости и лукавства, без утайки. Мне это очень понятно. И вот в литературных рисунках роздыми над тамбовским селом, сладком аромате хлебных, кукурузных, подсолнечных полей, а главное, в безыскусных душах и характерах простых людей я вижу притягательную силу тамбовской литературы, моих уважаемых коллег, занимающихся далеко на простым и не лёгким писательским трудом».

...Перелистывая страницы тамбовского альманаха, выпущенного к юбилею нашей писательской организации, я не раз вспоминал эти слова Ивана Ивановича, как вспоминал и прекрасные отзывы редакторов Центрально-Чернозёмного книжного издательства о поэзии Александра Макарова, Евстахия Начаса, Валентины Дорожкиной, их глубоко уважительные оценки трилогии мичуринского писателя Бориса Константиновича Панова «Посреди степей», понастоящему научных трудов о Евгении Ивановиче Замятине, Антоне Павловиче Чехове, тамбовских земляках-писателях известного литературоведа, доктора филологических наук тамбовчанки Ларисы Васильевны Поляковой.

Юбилейный альманах чем хорош? Его можно открыть с любой страницы (а истинные книголюбцы всегда начинают перелистывать новинки «с конца»). И перед Вами предстанут захватывающие сцены то военной, то мирной жизни, то исторические изыскания, то лирические страницы, сотворённые пером Юрия Мещерякова и Сергея Кочукова, Олега Алёшина и Марии Знобищевой, Валентины Дорожкиной и Елены Луканкиной, Николая Наседкина и Анатолия Гончара... Искренне прошу прощения у не названных друзей – писателей, со товарищей по литературному цеху. Не сомневаюсь – высокую оценку представленным ими работам даст самый главный редактор и самый главный судья – Читатель.

Тамбовская писательская организация прирастает молодым, даровитым подростом, которому предстоит со временем взять штурвал в свои руки. И можно не сомневаться в том, что всё лучшее, полученное нашим поколением от прекрасных литературных наставников Александра Стрыгина и Майи Румянцевой, Ивана Кучина и Алексея Шилина, Александра Акулинина и Виктора Герасина будет с благодарностью принято и передано по дальнейшей писательской эстафете.

Как великолепно сказано у Александра Твардовского:

За годом – год, за вехой – веха,
За полосой – полоса.
Нелёгко путь.
Но ветер века –
Он в наши дует паруса.

Тугие, наполненные ветром века паруса вздымаются над кораблём целеустремлённой тамбовской литературы. Семь футов под килем, друзья!

Валерий Аршанский,
*писатель, лауреат премии Воронского,
почётный гражданин Тамбовской области*



Иван АКУЛОВ

Златые рясны слов

Стихи

Осенний крик

Перезревшего лета часы
Отбивают последние строчки.
У зелёной вчера полосы
Почернели от носки носочки.
Осветляются речка и пруд,
Ряской взятые летом за горло.
Из тумана берёзки плывут,
Словно женщины, томно и гордо.
Всюду свет и неждан, и высок –
И пульсирует кровь, закипая:
Это бес ударяет в висок
Искусительным яблоком рая.
Исчезает надуманный страх,
А в душе появляется праздник.

Он, как небо зовёт божьих птах,
Очаровывает и блазнит.
Настежь двери ему отопру –
Пусть проветрит углы-закоулки.
Нащиплю, продолжая игру,
Словно голубям, мягкую булку.
Нам отпущено мало судьбой!
Что ж мы время теряем, безлико
Заполняя пространство собой
И не слыша осеннего крика.

Златые рясны слов

Как словеса, роса...

Душа

Вбирает солнышка метели.
День, простынёю зашурша,
Глаза открыл и встал с постели.
И я за ним.
– Привет!
– Привет! –
Щебечет ласточка под крышей.
Ей вторит пожилой сосед,
Курносый и, как солнце, рыжий:
– Привет, Иваныч, как дела?
– Ищу слова, коль ты об этом.
Их много в ауре села
Особенно весной и летом.
Обычно подшофе, сосед
Блуждал в ответах и вопросах,
А тут сказал: «Я видел след
От слов, купающихся в росах,
Когда ходил косить траву,

Одеяну в золотые рясы, –
С тех пор и плачу, и зову,
Да всё, Иваныч, всё напрасно».
– Они – живые, – я ему
Заметил-обронил, – и с ними
Дано увидеться тому,
Кто, поклонившись, шапку снимет.
Ты не снимал!
– Зато я рот
Разинул так, что не закрою...

Воистину, велик народ,
Сказавший про себя такое.

Рюкзак с грехами за спиной

...У каждого бестиарий за душой –
Рюкзак с грехами за спиною.
У многих он пугающе большой
Да и завязан не струною.
И ты, читатель, грешен – нет святых...
Святые – те же грешники: причина
Их святости в преодоленье лих
В самом себе.

Душевная кручина –
За прегрешенья кара и за мысль
Дурную, превратившую однажды
Энергию интеллектуальных мышц
В инстинкты, утоляющие жажду.
Всё дело в осуждении пучин
Порочности и в постоянстве акций
Анализа истоков и причин
Подобных отклонений-девиаций.

И автор грешен: слово иногда,
Опережая мысль, скакало мыслью
По веткам дней – и падали года
В глухую землю, напуганные высью.

Белое марево

– Господи! – руки черёмухи
Вскинулись, как у людей:
По небу мечутся всполохи
Стаями лебедей.
Да и сама она выглядит
Юной невестой.

Фата,

Будто от грусти заиндевел,
Свешивается с куста
Чуть не до полу, не до земли...
В воздухе нежности всклень,
Как от проснувшейся озими
Возле пустых деревень.
Вылито белое марево
В поле, на речку, на луг.
Всё – хорошо!

Нет лишь главного –

Слова не слышно вокруг.

Дыхание мая

Как у девушки, мая дыхание
Глубоко и волнуемо.

День

Светел, будто пришёл со свидания
И о груди не ведаёт дел.

Лист смородины чист до сияния,
Лист ольховый – до детской слезы...
Солнце нежится вне расписания
На листочках ожившей лозы.
Даль открыта до самого-самого...
Не конца, ибо нету конца.
Небеса, словно росписи храмовы,
Наполняют любовью сердца.
Всё в цвету, и душа, как на празднике...
Реют голуби в небе,

 плывёт

Голова, опьянев от радости,
И поёт, как попало, без нот.

Любопытный аист

Стоит над речкой густо
Седой туман стеной
И ждёт, когда капуста
Завьётся лист резной.
И невдомёк туману:
На берегу реки
Девчонка ждёт Ивана,
Мнёт шали уголки.
– Привет, родной Ванюша...
– Привет, любовь моя...
Обрадовались души,
Соединив края.
А любопытный аист
С высокого сука
Глядит, как вьётся завязь
Капустного вилка.

Работа – форма сознания

Чуть поработал и уже устал,
Но не работать ещё хуже:
Ноет-скрипит каждый сустав,
А сосуды уже и уже.
Так что работай, Иван, пока
Держит молоток и стамеску
Мозолистая твоя рука,
Собирающая скамейку.
Работай! Ты, как никто,
Знаешь: работа – форма сознания
Человека, восходящего на плато,
Чтобы сказать «До свидания!»

В уголках растерявшихся губ

Тяжела ты, ноша печали!
Тянут плечи к земле, а глаза
Потускнели, наверно, узнали
То, что знать по-любому нельзя.
Кружит голубь в прозрачном небе,
Сшитом вечностью голубой...
Вот такую прозрачность мне бы
В отношеньях с самим собой.
Но куда там!

 В себе разобраться

Тяжелее, чем в жизни страны,
Несмотря на корректность и рацию
В поведенье и чувство вины.
Цепенеет печали усталость
В уголках растерявшихся губ.

Что осталось?

Да самая малость –
Расчесать растрепавшийся чуб.

Единица измерения боли

День – это не столько
единица измерения времени,
Сколько единица измерения боли
Неизвестного рода-племени,
Но известной по реплике роли.
День состоит не из часов – из терний,
Из суммы дел и поступков, из пауз,
Из пертурбаций, простите за термин,
Наполняющих ветром парус.
Это они днём и ночью,
Стимулируя интуицию и наитие,
Заставляют людей воочью
Переживать радость открытия.
В том числе и боли как отрезка, этапа
Жизни в её проявлении...

– Это кто там идёт, косолапя?
– Внуки нового поколения.

Я устал быть человеком

Так случилось – у меня устали ноги и ногти,
и моя кожа и моя тень устали.
Так случилось – я устал быть человеком.
Пабло Неруда: Walking Around (На прогулке).

Трудно быть человеком
И бороться с жестоким веком,
Как Дон Кихот с ветряной мельницей, –
Устаёшь: еле плетутся ноги
По дрожащей от ног дороге,
Набитой людьми, как окурками пепельница.

Век пинает тебя сапогом железным,
Словно ты – предмет бесполезный,
Лежащий в одиночестве на обочине.
Он – палач и искусен в охоте и травле
Человека, барахтающегося в трале,
Которым век прореживает вотчину.

Он окрасил зарю человеческой кровью
И придвинул к её изголовью
Сервировочный столик на трёх колёсиках...
Стол заставлен тарелками, но без пищи:
Пусть человек пищу сам ищет
На семи ветрах и заросших просеках.

Век перестал быть правдивым и добрым,
Он усилил жестокость повадками кобры
И отказом от чести, как от сдохшей лошади.
Вся в кровавых подтёках, мораль умирает,
Выброшенная вместе с хламом в сараи,
Приютившиеся недалеко от площади.

Он на совесть установил свой ценник,
Ему не жалко на это денег,
Потому что и деньги в мешках устали
Лежать без движения, мёртвым грузом,
И смотреть на человека с пузом,
Разминающего суставы.

Так что рано говорить про усталость,
Если это не запоздалая старость,
Напомнившая нехоти о возрасте,
О времени собирать камни,
О необходимости закрывать на ночь ставни
И – отдельно от перечисленного – о хворости.

Духом не падай, когда мозг выедаётся думой
Быстрее, чем лесной обед – пумой,
Сопротивляйся жестокости обстоятельства.
Человек сделан из материала самого прочного,
И, хотя не сосчитать в нём порочного, –
Он единственный, у кого есть обязательства.

Обязательство жить, когда жить не хочется,
Когда ждёшь, скоро ли всё закончится,
Не начавшись. Не обольщайся перспективой,
Оставайся собой, когда требуют перемены,
Не предавай (отвратителен факт измены)
И не поворачивайся спиной к коллективу.

Он ещё может обороняться, если захочет.
– Ха-ха-ха!.. – век надменно хохочет,
Опрокинувшись на спину и задрав ноги...
Ему весело, а тебе грустно, неможется,
Не убывают бессонные ночи, а множатся...
Чёрною грудой стыннут они на пороге.

Монолог

– Сморщились уста деревни,
Сгнили зубы, волос сед, –
Говорил в пылу доверья,
Булькая, земляк – сосед.
– В ней теперь одни старухи
Берегут былую честь
На перинах, но без пуха:
Пух давно истёрся весь.
Стой покрепче на копытцах –
Будет горше и больней:
Русь берёзового ситца
Умерла в потугах дней –
Быть похожими на Запад
Поведеньем и в быту...
Ох, и больно было падать
С высоты да в темноту...
Пётр налил ещё с напёрсток,
Посмотрел на свет, втянул,
Взял из блюдца ягод горстку
И сказал, как будто пнул:
– Ты хотя и знаешь много,
Но не всё – у деревень
Отпилили оба рога
И укоротили тень
Выше плеч, поверху шеи...
И теперь у бедных вид
Развороченной траншеи,
Где земля ещё горит.
Ты, Иваныч, тоже лишний...
– Погоди...
– Чего годить?
Никаким властям Всевышний

Не помог любовь родить...
Ты не хочешь? Тут осталось
По граммурке... Выпьем за
Укороченную старость
И истекшие глаза.
Ты всегда гордился правдой:
Вон она – в кустах лежит,
В прах избитая кувалдой
Лицемерия и лжи.
И бутылку с сожаленьем
Выставляя на просвет,
Подытожил: «Поколенья
Нового в деревне нет».

Всё познаётся в сравнении

Длинная песня не означает, что она лучше.
Не всегда толстая книга – роман.
И свобода бывает неволи пуще,
Истина – горше, слаще – обман.
Строгий вид не всегда предвещает суровость,
А седина – благородство.

Увы,

Но и слух не означает хорошую новость,
Скорее, измазанную дёгтем молвы.
Всё познаётся в сравнении.

Опыт,

Свой и чужой, учит людей
Не доверять, если вкрадчив шёпот
И громогласен пафос идей.
Всё в настоящем значительно проще:
Сердце отторгнет иль примет посыл
Песен любви из рябиновой рощи,
Крика смертельного голых осин.

Верь не словам, прозвучающим красиво
(Правде красавица только вредна),
А молчаливости высохшей ивы,
Пьющей печали со дна.

Заключённые в скобки

Мы родились услышать друг друга,
Но – не слышим.

Из-за имиджа

Мы боимся ступить за пределы круга,
Очерченного самими же.
Так и живём в немоте глухого,
Словно в ушах серные пробки,
Чувствуя себя серёжкой ольховой,
Заключённой в скобки.

Повеса и хулиган

О, Александр, ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

С. Есенин

Но это внешне, а по сути,
Они – галерные рабы,
В любое время долгих суток
Не сходят с ямбовой тропы
И ищут Слово.

Остальное –

Издержки тяжкого труда,
Попытки двигаться не строем,
А иногда и не туда.
Они, как все, живут в рассрочку,
Им хочется познать греха,

Чтоб выверить стопу и строчку
Раскрепощённого стиха.
О, эта лёгкость плит словесных,
Послушность звуковых рядов
В земных пространствах и небесных,
В теснинах сёл и городов!
В инкоре света и мажора,
В борьбе с изменчивой судьбой
Не рвутся нити разговора
С тех пор со мною и с тобой.
Забудутся дуэли, драки,
Картёжный долг, похмельный звон,
Любовный флирт, разводы-браки,
Непонимание сторон.
Останется любовь народа,
Литых стихов живая плоть...
Их жаждут как живого плода,
Их хочет слышать сам Господь.



Олег АЛЁШИН

Мотивы

Стихи

* * *

Сентиментальный мрамор Бартолини
Люблю за мудрую стыдливость линий.
О! Сколько лет воспитывал я вкус
И чувства, но, преодолев искус,
Теперь люблюсь телом обнажённым,
Резцом к молитве тихой пробуждённым.
О чём ты просишь, дева, небеса?
А может, хочешь вспомнить голоса
Подружек-нимф, застигнутых звучаньем
Весёлой флейты с терпким возлияньем
Хмельного Вакха сумрачным богам?
Не ты ли там рассеянно к ногам
Киприды обронила маргаритки,
А с ними и беспечную улыбку...
Но может быть, среди чужих снегов,
Забуть не можешь милых берегов
Венеции, где лев святого Марка
Хранит под лапами стихов тетрадку?
Как знать? Но может, воздыхаешь ты
О том, кто отколол твои персты?

* * *

Мой герб увенчан мирным тирсом, что увит
Плющом и спелой гроздью винограда.
Французский щит украсил танец трёх харит
В аллеях романтического сада,
Где прячется от суеты пустынный грот –
Приют моей отшельнической лиры,
И непрочитанных томов старинный род
В моём гербе, и ладаны Зефира,
Как ароматы свежесрезанных цветов,
Почти неуловимы, словно счастье.
В моём гербе прогулка с тростью средь зонтов –
Предвестников осеннего ненастья,
Когда стучат библейские дожди в окно
И мокнут геральдические гривы
Двух спящих львов. Увы, узнать мне не дано,
Что снится им средь лилий и крапивы.

* * *

Рим не внушает страх, но тайный трепет.
Он голоден всегда, как в Колизее львы,
Не потому ль стоит священный лепет
Как будто на закланье согнанной толпы.
Его богам теперь нужна не жертва,
А тихое пристанище глухих садов,
Где с беломраморной руки Деметры
Зефир сдувает пепел синих лепестков.
Ночные очертания развалин
В неоновой подсветке, но ещё мертвей
Мне кажется покой исповедален
Галантно-равнодушных к времени церквей.
Молитва здесь с восторгом попеременно,
Но Пантеон – не место для мирских скорбей.

В нём Рафаэля бюст. В его усмешке
Причуды Ренессанса и печаль детей.
Но где моя улыбка Возрожденья
С беспечной мудростью фракийского вина?
А может, на зиму до пробужденье,
Как Нимфа, в ящик заколочена она?

* * *

Осенний день. Почти безлюдно в парке.
Прогулка двух скучающих друзей.
Что им осталось? Неужели палкой
Печально ворошить листву? Милей
Сидеть у шумно-ржавого фонтана
И ощущать последнее тепло,
Как те цветы в пыли самообмана,
Пока позёмкой их не замело.
И снег наполнит здешние вазоны
Нездешним блеском анненских лилей.
Они в ладонях дольчивой Мадонны
Неизъяснимо кажутся теплей.

* * *

Не спит давно стареющий мой Пан.
Беспечно пьян бездельник козлоногий.
Но нет...
Забросил он в кусты тимпан
Лишь потому, что ряд отверстий строгий
Негромкой флейты радует его,
Как шум листов молодого винограда.
Он в первый раз заплакал от того,
Что этой песни никому не надо.

* * *

Хочу вернуться в Царское Село,
Но ради праздного скитанья.
Пока ещё по-летнему тепло,
Иного нет во мне желанья,
Как разыскать беспечный уголок,
Где наступает вечер синий;
Сплету лебяжьему пруду венки
Из шороха старинных лилий.
Увы, уж нет тех чёрных лебедей,
Воспевших царственную Леду.
С холодным мрамором в тени аллеи
Продолжу тихую беседу
О том, что пригубил в седые дни
Источник бронзовой Пьеретты.
Её озябшие к утру ступни
Моей рукой теперь согреты.

Музей

Старинный дом, отвыкший от уюта,
Семейные портреты – длинный ряд.
Что может быть печальнее приюта,
В котором не живут, а лишь скорбят
Каминные часы, что понапрасну
На чай зовут домашних в летний сад.
Смотрю в окно, где безучастно
Идёт с утра неспешный снегопад.

* * *

Сегодня ветка белого жасмина
Несмело просится в открытое окно.
Ей хочется коснуться клавиатура
И нежно пробудить «Беседу муз» Рамо.
Но радует меня не шёпот складок
Оживших в танце целомудренных туник,
Мне почему-то шелест листьев сладок
В заброшенных садах, где некогда возник
Фонтан, который заглушал молчанье
Меланхолических мусатовских мадонн,
Но призрачное их существованье
Немыслимо без беломраморных колонн.

* * *

Забывшая роза. Февраль и скамья.
Подёрнуты тленьем бутона края.
Но лучше ль увянуть тишком в хрустале
На прибранном с вечера чайном столе?
Не знаю. Но кто-то, не ведая, может, того,
Оставил цветок не от мира сего.

По мотивам картин Бенуа

Прогулка стареющего короля.
Но стала природа ему неподвластна:
Свалились дожди на конец февраля.
Лишь бронзовый мальчик шалит безучастно.
Его забавляют намокший парик.
Вуали на лицах, узор на манжете...
И этот чуть странный сутулый старик,
Спешащий укрыться в ближайшем боскете.

И мыслит проказник окликнуть его,
Но вдруг передумал, играя цветами
На камне, не помня уже ничего,
Взлеянный лёгкими летними снами.

* * *

Открой окно. Сегодня как-то душно.
Не ощутить минувших сонных сквозняков.
Но прикоснись к клавиру простодушно,
Напоминая время томных вечеров,
Когда приятно было ожиданье
Непредсказуемых и мимолётных встреч,
Когда листвы стыдливое касанье
Взывало зябкость неприкрытых женских плеч.
Когда ещё сирень цвела несмело,
Стесняясь отраженья своего в пруду,
Но с каждым днём она сильнее бледнела
В печально-светлом гобеленовом саду.



Валерий АРШАНСКИЙ

Нечётный путь

Рассказ

Сестре Шуре

Старый двор поначалу замирает от неожиданности, а затем гулко ахает от восхищения. Ещё бы! Озарённая ослепительным летним солнцем баба Дуся ровно в полдень картинно появляется в проёме скособоченной створки щелястых ворот. Перешагнув сбитый порожек, переносит следом за собой тяжёлый клеёнчатый баул. Щепотью, в сборку приподнимает повыше щиколоток неизменную свою тёмно-синюю ряднину, чтобы не мешала нагнуться. И в поясном поклоне, махнув по земле пятернёй, как веником, – исполать тебе! – сорванным мушкетёрским голосом извещает:

– Драстуйтэ, соседи! Обеззяна прыхала!

Такое явление Христа народу – очень хороший признак весёлого воскресенья. А потому ответный гул голосов дружно приветствует виновницу торжества – свою среди своих таких же простых людей, любителей хлеба, зрелищ и поклонников таланта бабы Дуси... Тёти Дуси... Евдокии Ивановны... Кто здесь только и как не называет эту коренастую кремезную женщину с неправильными чертами морщинистого лица – проводницу дальних пассажирских поездов, именуемых ещё курьерскими. А что касается некоторой странности её словесных оборотов, то удивляться не приходится. Во-первых, пошу-

тить, схохмить, от души народ потешить – это для тётки Дуси всене-ременное удовольствие и большая радость. (Кто знает, может, в ней, не будь ничего детства, великая комическая актриса не хуже Раневской умерла?). Во-вторых... В этом тихом лесостепном краю, точнее, в посёлке Мелбугор, что сползает улицами, переулками и огородами к южному берегу Дона, до ближайших украинских селений – хутора Стецковки, а там и Юнаковки, Басов, Сыроватки, Боромли Верхней и Нижней, Краснополя – рукой подать. Что говорится, полногтя по карте. И потому на причудливом певучем суржике – крепко заваренном русско-хохлацком словесном кулеше – местный люд ровно столько, сколько помнит себя, изъясняется, не испытывая никаких неудобств, и дома, и в школе, и на рынке, и в больнице...

Это для приезжего москвича или питерца смешно, когда он слышит от местных, что собака здесь, оказывается, не лает, не гавкает, не брешет, а «скавчить». Бельё не отмокает, а киснет. Булыжник не камень, а «гелик» (не путать с «гелендвагеном!»), пассатижи – «обценьки», ступеньки крыльца – «ганцы», крыжовник – аргус. Про картошку не говорят, что она сварена в мундире, а говорят «бараболя влупень», народ здесь не ходит, а «чапает»... Нужны ли ещё примеры того, как некогда побратавшиеся наследники украинцев – запорожских казаков и российского новгород-северского воинства чукаво «балакають»? Не нравится? Ну что же. В каждом селе есть свои чудачки, где лучше, где хуже, только всё равно по-своему причёсанные...

Дружно раскинув руки в стороны, как пропеллеры, с воробыным писком летят навстречу бабе Дусе самые мелкие граждане Мелбугра. Их шумная возня, толкотня и грай не утихнут до тех пор, пока все птенцы до единого не будут оделены жамочками, пряничками, маковыми коврижечками – привычными сладкими гостинцами, извлечёнными проводницей из кармашков, клочков и закоулочков необъятной клетчатой сумищи – исторического атрибута прежних скупщиков-перекупщиков, звавшихся челноками. Ими же в те достопамятные времена под какой-то плацкартной полкой тётки Дусинога вагона и забытого. Но не пропадать ведь добру!

– Валяй, Информбюро, рассказывай, что на белом свете деется? – с трудом пересиливая глухой утробный кашель (одного лёгкого нет, удалили, и со вторым, видать, не всё ладно), отрывает курчавую голову от шахматной доски худющий, как дрель, обладатель желтоватого, почти воскового лица Вадим Каменчук. Любимец покойного гроссмейстера Крогиуса, с кем он, любитель, состоял в переписке, высылая маэстро такие заковыристые этюды и задачи, которые не могли раскусить с первого захода и признанные «гроссы»... Только это когда было? Ещё до отсидки за растрату, которую любезно подсунули ему, недотёпе, ушлые торгаши с овощебазы... Полез Вадим от денежной безнадёги товароведом в то логово, где с улыбочкой и на тот свет отправят, и сожрут – рот не оботрут. В итоге бандюгам достались немалые гроши за вагон «списанного» винограда, а худым Вадькиным плечам трёхлетнее «гостевание» у кума, потом – пустая хата, жинкой брошенная, истрёпанная меховая кацавейка на вешалке – грей свои лёгкие и в жару, чтоб не знобило, да поездки в областной тубдиспансер к врачу-пульмонологу на поддувку. Иначе совсем хана...

– Вадик, та шо нам от тех соседей-злыдней ждять? Теперь они друг с другом воюют, – обречённо машет рукой Евдокия Ивановна, незаметно для других подсовывая шахматисту на колени, обтянутые линиялым спортивным трико, загодя припасённый кулёк смуглой краснодарской черешни и такой же кулёк желтоватых, малость с зеленцой жердёл, выменянных у знакомой ростовской товарки прямо на перроне по бартеру (баш на баш) – ведро за ведро чёрной мелбугровской смородины.

Мальцом Вадька (Евдокия Ивановна не забыла) хорошие стихи сочинял, доси одно в памяти её задержалось, не уплыло: «А у нас на родине жук жужжит в смородине»...

Вадим благодарно кивает соседке, стараясь так же незаметно переложить оба пакетика в карманы полосатой больничной пижамы, принакрытой старенькой толстовкой-безрукавкой.

– Соседи, соседи... На кой кий сдались они тебе, те соседи? – угрюмо бормочет вечный партнёр Вадима по шахматам, депутат райсовета Блинер Яков Аронович, лысый ловелас и в свои шесть десятков с

хвостиком. – Хай они хоть перегрызут там друг друга, бычки неблагодарные, – с силой клацает он по кнопкам шахматных часов, играя в блиц-пятиминутку...

Вадим, уклоняясь от спора с дворовым пустобрёхом, лишь слабо улыбается, неопределённо поводит густыми бровями и пожимает плечами, мимикой отвечая участливо качающей ему головой Евдокии Ивановне: «Да ничего, тётя Дуся, прорвёмся...». Скорее бы только она отошла от стола, чтобы не видела, какими сгустками мокроты отплёвывается после затяжного кашля выросший на её руках Вадька. Которому только она одна из всего их двора на два десятка семей письмишки посылала и посылочки отправляла в ту мордовскую колонию, куда загребел на целых три года этот составитель изящных шахматных этюдов и остроумных шахматных задач...

– Ой! Тётечка Дусечка! – вызвав снисходительную усмешку Якова Ароновича, издали кричит проводнице звезда эстрады Любовь Щеглова, заученно делая напояженные губки гузочкой для смачного поцелуя и по-дамски вскидывая холёные, не тронутые загаром руки.

В школьные годы Любкин ровесник Вадик Каменчук то брэнчал по вечерам на гитаре под её окнами разные мотивы, приглашая одноклассницу на свидания («Хвастать, милая, не стану, знаю сам, что говорю, с неба звёздочку достану и на память подарю...»), то, хватанув с дружками стакан-другой вермута или «Червоного мицного» («червивку»), орал под её же форточкой: «Люба, слезь с дуба, гад буду...» Дальше из уст отрока лилось нечто совершенно невообразимое, неприличное. Увоенное, наверное, всё на тех же вечерних внешкольных дворовых уроках под водительством старого красноногого кролиководы по кличке Волоокий. Про которого что только ни говорили; вроде и дезертиром он был в войну, и предателем, а кое-кто добавлял, что полицаем, за что и отсидел десяточку в Магадане... Сам Волоокий, кроме как с юнцами-пацанами к вящему неудовольствию их родителей, ни с кем не общался... Только – приходится повторяться – с подростками и белошёрстными да серо-шёрстными (одни на шкурки и пух, другие на мясо) кролями – великанами в клетках. У которых

глаза всегда налиты такой же сочной алой краской, как нос Волоокого. «Кто в клетке зачат, тот по клетке плачет»...

– Тётечка Дусечка! – трижды почмокав воздух вокруг подпечённых солнцем и ветром, посечённых морщинками щёк проводницы, Любовь Николаевна Щеглова, как и положено заведующей поселковым ДК «Космос» – вся в мареве поддельных духов «Шанель», вплотную приникает к лицу соседки, желая нашептать ей в ушную раковину нечто сугубо дамское, интимное, сокровенное... О чём может догадываться разве что усиленно изображающий сейчас глубокое раздумье над партией Яков Аронович – густо заросший жёстким чёрным волосом пузан в майке с широкими, надёжно поддерживающими брюхо-бурдюк шлейками.

– Я это... – вскользь простреливает бугристый затылок Ароновича чем-то чуток смущённая юношеская пассия Вадьки Каменчука. – Я, Дусечка, посудку там всю твою перемыла, постельку заправила, простыночку я приносила свою... Ты это... – опять пролетают трассирующие пули мимолётного взора по касательной к Ароновичу, – ты ключики свои заberi под дерюжечкой, а конвертик лежит на этажерочке...

Возмущённый взбрык негодующей «Дусечки» – какой ещё конвертик? – Любовь Николаевна нежно гасит тесным прижатием соседки к груди и всё тем же томным шёпотом: «Да не мои это денежки, его... А уж при его-то доходах...» – одними губами поводит в сторону невозмутимого Ароновича Любушка-голубушка... – В общем, возьми и купи, пожалуйста, мультисок Анечке, она после школы – ну да, дневное пребывание, у тебя пусть останется, заночует... Я ей говорила, она знает... Витька мой в командировке, до среды. Дусечка, чао! Пока!!!

Артистичной походкой – узкая талия, нога от бедра, высокая грудь вперёд, зелёная чалма-косынка, едва прикрывающая густую копну тёмных волос, вьётся по ветру, туго чувствуют себя под узкой красной юбкой полные бедра и округлые колени – в итальянских зеркальных очках пересекает двор по диагонали истинная Баядерка, Юдифь из «Песни песней», она же Медея – Любовь Щеглова. Дама в самом расцвете сил и женской красоты, очарованием своим вызывающая

у одних мужчин вполне понятный прилив неистового желания быть с ней рядом, у других пароксизмы неутолённой страсти, у третьих спазмы зависти к тем, кто, в отличие от них, немощных, может... Что там говорить. Красотка!

Дооолго, очень долго смотрит ей вслед затуманенным взором получивший мат за просрочку времени, но нисколько не расстроенный этим обстоятельством Яков Аронович Блинер. Очень искусный в своё время закройщик, мастер пошива верхней дамской одежды и демисезонных пальто из накрывшегося в перестройку медным тазом ателье «Заря».

* * *

– Дед, слышь, дед! – отрывает Якова Ароновича, пересевшего за стол доминошников, гнусавый голос внука – Яшки. Сильно косящего обоими глазами толстогубого пузанчика-семиклассника, статью своей, походкой, манерой пускать пузыри слюны изо рта в минуты спора удивительно напоминающего патриарха семьи Блинеров – активного депутата райсовета.

– Что, счастье моё, что у тебя случилось, шее мазл мой дорогой? – бодро откликается на трубный горн внука готовящий триумфальную концовку в «морского» Яков Аронович, крепко сжимая в потных ладонях два дупеля – шестёрочный и пусто-пусто. Будет сейчас финал оптимистической трагедии этим босякам, братьям-бульдозеристам из соседнего подъезда, затеявшим игру с самими гроссмейстерами – Блинером и Каменчуком! – улыбается про себя бывший закройщик из Торжка. – Говори, Яша, я тебя слушаю.

– Слышь, дед, я жрать хочу!

– Так в чём дело, Яшенька? – тут же откликается добрый дедушка. – Возьми батончик в хлебнице, намажь маслом из холодильника, и присыпь сахарком. Я приду – будем обедать...

Всегда подозрительно косящееся на род людской и заходящее солнце толстогубое «счастье» исчезает на какое-то время за дверным пологом из плотной шторы, закрывающим доступ в жилище злым мухам. Но и пяти минут не проходит, как этот разбойник с лукавым

ликом Савелия Крамарова появляется вновь. И душераздирающим криком «ДЕЕД!» оглашает и свой, и соседний дворы. Горластому внуку почему-то кажется, что без такого отчаянного вопля гроссфатер его не услышит. Понятное дело, внук абсолютно не прав.

Да, после пары камней, выставленных этими не такими уж дуралями-братьями, положение в змеящейся ленте костяшек заметно изменилось. И теперь уже «гроссмейстерам» надо думать, что сделать, чтобы самим не попасть в чудную... М-да... Этот стон у них песней зовётся...

– Яша, ты что хочешь? – сух и официален голос деда.

– Нашёл я булку и масло. А дальше что?

«Вроде ж и не дебил, а задаёт такие вопросы», – недоумевающе переглядываются братья-бульдозеристы из аварийно-восстановительного поезда, которым даже в киоск за сигаретами выход со двора запрещён без разрешения бригадира, постоянно держащего телефонную связь со своим отрядом. А вдруг, не дай Бог, авария, сход локомотива или вагонов с рельсов? Каждая секунда дорога!

– Так возьми мой нож и намажь масло, – поворачивает не очень-то довольное лицо к внуку дедушка. И вновь утыкается взглядом в проблематичную концовку при «шесть-пусто», когда у каждого из партнёров остаётся по паре костяшек на руках...

– А ножа со штопором нету! – миг спустя злорадно выкрикивает с верхотуры деревянной лестницы Яшка, у которого один глаз на Кавказ, а другой на Север. – Ты его вчера вечером с собой брал, когда шёл к тёте Любе...

Обомлевший двор замирает в ожидании развязки: что теперь-то будет? Гром? Гроза? Молния?

Но нужно знать старого закройщика, обшивавшего и самых капризных дам из горкома и горисполкома...

– Яшенька! – спокойно оборачивает обнажённый торс (только загривок стал малиновым) дедушка к внуку. – Если нет в доме ножичка, намажь, пожалуйста, масло своим поцем!

От хохота обитателей двора дрожат ступени на лестнице, скрипит жостью крытая крыша на Щегловской голубятне, и даже вывешенное

на просушку старым пьяницей Волооким исподнее бельё на скрученной узлами верёвке и то, кажется, подрагивает от смеха. Ну, Аронович, ну, бес, ну, скажет, так скажет, чтоб он здоров был!

* * *

И в кого только уродилась Анечка такой рукодельницей? Ты посмотри: на участке пришкольном полдня отработала – и копали детки там что-то такое с учительницей, и сажали чего-то, и поливали... А к бабе Дусе пришла – не жалуется и не хнычет, сразу же понеслась помогать ей по дому. Мусорное ведро бегом вынесла, полы притёрла, мебель на место расставила, теперь давай, бабуль, я тебе волосы покрашу. Парикмахер так не обработает все проборчики до единого, как Анечка. И это – пятиклассница!

Вместе они потом славно поужинали, насмеялись над Анечкиными школьными историями – девчоночке и порассказать-то их некому: папа по неделям в разъездах своих, как бурильщик артскважин, а домой приезжает – или на голубятне торчит, как мальчишка, или дыры в сараюшке да погребу латает. Мамуле тоже некогда: в клубе каждый день репетиции, смотри, фестивали... Или с этим вечно полуголым – как ему только не стыдно так ходить – Яковом Ароновичем выкройки да ткани у Щегловых дома, пока папы нет, допоздна обсуждают, то и дело на неё, Аню, поглядывая, не пора ли, мол, детка, тебе на боковую? А то она не понимает такие взгляды...

Набегавшись за день, в охотку наплескавшись под тёпленьким душем, светловолосая голубоглазая девочка – вот тоже вопрос – родители-то оба темноволосые, черноглазые, а она? Ну, ладно. Что тут копать... Уставшая Анечка спит сейчас в горнице бабы Дуси на лучшей в её доме – пуховой – перинке. Спит сном праведника, тихо посапывая и улыбаясь во сне чему-то своему, ей одной понятному, ей одной приятному. Полюбовавшись румяньким личиком ангелочка, баба Дуся прикрывает ноги Анечки поверх одеяла ещё и старенькой своей форменной шинелкой, доставшейся ей в наследство от мамы – тоже проводницы, только войсковых эшелонов, тихонько сгоняет с кровати заупрямившегося Барсика,

старого лежебоку, всегда готового разделить ночлег на перине с кем угодно и когда угодно. И на цыпочках, крадучись пробирается в свой закуток к зеркалу расчесать перед сном сохранившие прежнюю густоту, но утратившие некогда каштановый цвет, теперь уж словно посыпанные крупной серой солью коротко стриженные волосы.

Сверху над овальным зеркалом смотрит мимо неё, в пространство затянутый в морской бушлат Юрашка. Как он там именовался-то в письмах с флота – старшина второй статьи третьего года службы? Стал ему роковым тот год, когда сутками напролёт выло скорбные песни и марши радио, прерываясь только для извещений о затонувшей подводной лодке, с которой не удалось спастись никому. Вот и не зарекайся. Вот и не строй никогда планы счастливой семейной жизни, как строили они в том шалаше на правом берегу Дона, когда Юрке дали аж полтора месяца отпуска. Достроились... Кто знает теперь, где, на каком дне морском покоится тот бушлат Юрочкин... И кто знает, жива ли, нет мама его Татьяна Владимировна, в тот же месяц продавшая за бесценок свою квартиру Волоокому и укатившая отсюда куда глаза глядят. Говорили, к сестре, в Кострому, что ли, или в Калугу... О внученьке родной, Ирочке, так и не узнала. А Иринка всегда, как приезжает сюда, на Мелбугор, интересуется бабушкой Таней, пыталась даже разыскать её там, в Москве своей, через какое-то адресное бюро, где всё про всех знают. Вот неизвестно только, нашла ли? Надо будет не забыть, как приедет доченька проведать мать, – спросить...

Дрёма после длинного дня, когда раннее утро с медным пятакм восходящего солнца пришлось встречать ещё на колёсах, а с обеда до позднего вечера кружиться в хороводе неотложных домашних дел – стирка, уборка, готовка, штопка, кормёжка Анечки – одолевает неотвратимо, накатывает, как морская волна. Никуда от неё не деться. Да тут ещё вначале робким детским лепетом, а затем уверенными оркестровыми кастаньетами зашумел-забарабанил по оцинкованному жёлобу, свесам, крыльцу, а следом по козырьку над входной дверью обильный летний дождь. И вскоре принялся в голове уставшей донельзя проводницы монотонно стучать-перестукивать – щёлк-

пощёлк-перещёлк – привычный говор вагонных колёс со скрежетом невидимых путевых стрелок. Понеслась перед глазами сутемь дальних дорог, серая пелена лесов, перелесков, осиновых и берёзовых посадок с пролысынами полей и большаков, где ровно на один миг воровски блымнет и тут же погаснет то ли огонёк автомобильной фары, то ли маячок шгламбаума у переезда, то ли чей-то костерок обочь низкорослого ольшаника, на поляне...

Огромное-преогромное оно, государство российское. В какую сторону света по нему ни кати – везде сотни километров не распыханных полей, давно ждущих раскорчёвки садов, лесов, пустошей, повсюду осиротевшая земля, где могли бы вырасти сказочные города, элитные дворцы, скоростные автострады. Но кому оно всё нужно при нашем-то несметном земном богатстве? Разве что мечтателям-японцам, что ни год страдающим от очередного стихийного бедствия, землетрясения или цунами...

Вагон то плавно плывёт по бархатному рельсовому пути, недавно, видимо, перестеленному на продолжительном расстоянии, то ревёт, рыдает и плачет на том позабытом перегоне, где никогда не прокатится ни один правительственный состав... А пассажиры, безмятежно вверив свои души и багаж машинистам локомотива да толстой тёте-проводнице, к странностям речи которой сразу не привыкнешь, спокойно спят. Хотя некоторые вон беспокойно ворочаются, всхрапывают и даже просыпаются, чтобы опять тут же смежить очи и окунуться вновь в жарковатое, липковатое марево поездного забвения, далёкое от домашнего уюта. Иные, сонно покачиваясь, встают и направляются враскачку по неотложным делам – кто в тамбур перекурить, кто к титану за кипяточком, кто в приплясывающий от тряски туалет. Есть и такие, которые никуда не идут, а усевшись поудобнее, примостившись в уголочке на нижней полке, пристально всматриваются в незашторенные окна, пытаясь рассмотреть что-то за толстым двойным стеклом, хотя спроси их вот так, напрямую, он им нужен, тот залитый дождями уличный пейзаж, где темь – хоть глаз коли? «И я вам не отвечу»...

Особая категория поездной братии – полуночники, шатуны, люди, которые не заснут в вагоне нигде и никогда, будь то шикарный комсостав Москва-Одесса, либо лихо мчащий «Сапсан», что уж говорить о провинциальных тихоходах – Воронеж-Киев или Тамбов-Новороссийск с их чих-пых остановками у каждого столба... Зато в таких вагонах и среди такого плацкартного сословия, как нигде и ни у кого, рождается лучшая в мире атмосфера поездного братства, полного доверия, предельной откровенности. И разговоры там ведутся такие, которые под самым глубоким шофе не расскажешь ни свату, ни брату, ни куме, ни куму, ни закадычному другу, ни подруженьке... Правит бал извечный закон дороги, который превыше даже вердиктов Верховного Суда: ещё час-другой – и всё, пожелав друг другу счастливого пути, пассажиры расстанутся, чтобы не встретиться больше в жизни никогда, ни на каком перепутье, ни на каком перекрёстке, но с благодарностью сохраняя в памяти тот душевный порыв, ту историю, которую доверил тебе случайный попутчик, ставший на время самым близким, самым кровным твоим родственником.

* * *

– Всю блокаду я в Ленинграде вынес. Было во мне тридцать кило, веришь? Да, кожа да кости. Да, завод Сталина, снаряды. Кто укладывался у станка в перерыв вздремнуть, а мы с дружкой по цеху шлялись, окурки собирали, хоть на одну папироску. Газетку мокрую найдёшь, высушишь, потягиваешь... А что? На двадцать таких же шкетов две концентратные пачки гороха, триста грамм хлеба пополам с лебедой или с опилками, кружку хвои растопишь – кусочек сахара только облизнуть, он тебе даден на две недели... В общаге спишь не раздеваясь, не то примёрзнешь к сетке... Вот тебе и 42-й... Потом на минный заградитель «Марти» взяли, сначала склады охраняли на Ханко, потом ставили мины у финских берегов, обстреливали Пушкин, Вороново крыло. Ну, как обстреливали: пять минут беглый огонь – и скорее домой, на базу, в док, иначе фриц нас самоих накроет... Прорубь для населения на Неве держали, все ж там стари-

ки квёлые, полуживые, еле ходят, нет у них сил переступить, перейти канавку, а вода нужна... Гроб их мать, фашистов!!!!

* * *

– Да я с девяти лет с пчёлками, от дядьки науки этой научился. Директором совхоза стал – меня трижды судить хотели, было дело, и с партии хотели попереть, а я им показатели – вот они, таких показателей по всей губернии накося – выкуси. Понял, нет? Пчёлки-то у меня не традиционные. А потому. Я кавказскую пчелу на гречиху нашу не привозил, наоборот, сам туды к ним ездил, пасеку возил и в горную Кабарду, и в долины Нальчика... Задницу никому не лизал. А чудак я такой был: всем своим специалистам первым делом жильё, вторым делом телефоны поставил, хоть ты где днём будь, то не моё дело, а вечером в пять часов планёрка – отчитайся за результат. И ты мне горбатого к стенке не вылепишь, раскушу враз и выгоню с треском. Лучше сразу сам покайся, я на первый раз прощу. Наливай! Если б не та практикантка, мерифметика... Всю жизнь мне она сломала... Эх!

* * *

– Да что вы, милая, вы же воцерковлённый человек – и такие рассуждения? Как раз и ошибается тот, кто считает, что пост этот – лишь воздержание от пищи. Истинный пост, матушка, есть удаление от зла, обуздание языка, а он распущен сейчас у многих человек сверх всякой меры, это отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступлений, это я вам как священнослужитель говорю. Пост – это уничтожение смерти и освобождение от гнева, вот как надо его понимать. Чаше приходите в храм, что-то я среди прихожан вас редко вижу...

* * *

– А вы сами в их школьную столовую давно заглядывали? То-то и оно. Со своим родительским комитетом и загляните. Воруят повара напропалую, ничего не боятся. Я раз зашла, попробовала. Там котле-

ты – ливер, сухари да лист капустный, а супчик, вообще, смерть Наполеона, один хрящ да рыбки косточки плавают... И деточек наших этим пойлом потчуют... Я поварихе так и сказала, нехай моя слеза будет первая, а твоя вторая – отольётся тебе за воровство-то...

* * *

– Гуляли мы с внучкой в прошлую субботу за мостом, есть там такая чудная поляночка для туристов. Смотрю, что это: стоит аккуратенькая поленница в мой рост, в ней чурочки лежат напиленные, сверху плёночкой всё укрыто и клапан картонный прикручен. Читаю, а на нём написано: «Мужики, это вам на костёр. А вы нам накиньте по сотенке на телефон: трудились! Санёк. Серый». И два номера их телефонов. Ну как? Вот вам и совесть не утраченная!

* * *

– Муж ваш спит, мы ему не помешаем? Да я тоже полуночница. Чайку? Хоть и вредно на ночь, но давайте! Татьяна Владимировна меня звать. Мария Васильевна? Очень приятно. Нет, не домой, погостить еду. Не знаю только, как примут... Сложная история. Я в том посёлке и родилась, и выросла. Дочь поднимала. А у соседней нашей девочка, студентка пединститута, в такую историю попала... Сошлась с преподавателем вуза, всё от всех скрывала, пока не пришла пора рожать. А отец её – ну это сущий деспот, Ванька Каин. Забойщик скота на мясокомбинате, можете себе представить... И доченьку свою измордовал он смертным боем, выгнал, куда глаза глядят. Она, бедняжка, родила чуть ли не на пороге больницы девчоночку. Девчоночке и десяти дней не исполнилось, а мамочка эта пишет отказное на ребёночка и исчезает совершенно. Где, что, как – никаких следов и никаких концов... А девочка – ангелочек, глазки голубенькие, ручки пухленькие, как ниточками перевитые, кроха совсем, а улыбочивая невозможно какая...

Что делать? Ребёнок-то растёт, ему родители нужны. И тут моя доченька проявляет чудеса героизма. У неё-то самой с муженьком никак это самое дело не ладится, хотя прошло семь лет, как они в браке,

впору уж разводиться – не даёт им Бог ребёночка и всё тут. Тогда Любаша моя и решается на такой подвиг, причём голубятнику своему заявила: с тобой или без тебя, а эта девочка будет в моём доме! Тому куда деваться, согласен, мол, действуем!

Мы ничего, не громко разговариваем? Ваш супруг крепко спит... Ну-ну...

Растёт у них лапуля год за годом умничкой-разумничкой, всё же гены того биологического папы – профессора или доцента, кто уж он там был – сказываются. И Витя – зятёк-то – про голубей и дружок своих позабыл. Скажет, бывало, Анечка, я мандарины хочу, а она, действительно, как-то с простудой лежала, мандаринчики захотела, – Витенька среди ночи к продавщице на Мелбутор бегал, умолял на коленях лавку открыть... Притащил мандарины! Сам, как ребёнок, радовался.

Но у нас же как, без ложки дёгтя нигде не бывает. Возьми да бухни какой-то доброхот в Анечкином классе, а твоя мама, мол, тебе не родная, и ты у них приёмная... Что-то такое злой мальчик от своих папаши да мамыши прослышал и ей выложил. Анечка еле-еле домой приплелась, слезами вся заливается, спрашивает, мама, это правда? Люба не знает, что и сказать, не готова была, думала, позже всё как-то само собой откроется, образуется, а оно, видишь, раньше срока-то известие выскочило... Утешает она доченьку, как может, наветы, мол, это, сплетни, дурной сказ да чёрный слаз... А ребёнок глазки на неё поднимает (Люба говорила, прям снопы света брызнули на неё в тот момент, как с иконы) и говорит: «Мама, а вот если бы тебе сказали – постриги косы или дочку потеряй, ты бы что выбрала?» Представляете, девочке девять лет и так рассуждает... Люба перед киотом на коврик стала, говорит, Анечка, доченька моя, вот, перед святыми образами клянусь, если мне скажут ходи всю жизнь лысая, только чтобы ты была живая и здоровая, я и секунды раздумывать не буду, тут же сама наголо постригусь...

Анечка наутро альбом с фотокарточками в ранец взяла, в свой класс потащила: «Вот, смотрите, смотрите, это я в коляске, это папа со мной, а вот мама, видите, видите»... Потом был школьный кон-

церт в честь Восьмого марта. Анечка – такая нарядная вся, с бантиками, сияющая – вышла на сцену, Любочке улыбнулась, да как запела «Ридна маты моя»... Ой, что в зале творилось... Где тут мой носовой платочек лежал...

Ну, мне скоро выходить, Мария Васильевна... Спасибо вам, дорогая, так мы поприятельствовали с вами, что я и дороги не заметила... Счастливо вам добратся...

* * *

– Граждане пассажиры! Скорый поезд сообщением Москва-Воронеж прибывает на нечётный путь второй платформы. Будьте осторожны. Повторяю...

Подхватившись на тесном диванчике, Евдокия Ивановна вскидывается в полуобморочном состоянии: да как же это она проспала конечную остановку? В жизни такого не было... Ищет суетливо и не может найти «патронташ» свой брезентовый с тремя «светофорными» флажками... А юбка где, а китель?..

И обмякает. И переводит сбитое дыхание. И укоризненно качает сама себе головой. А перед ней на домотканом половичке, дерюжке, в её, бабы Дуси, форменном прикиде – китель с галунами да фуражка с лакированным козырьком – стоит, сложив у рта ладошки рупором, и хохочет «вокзальное радио» – проказница Анечка. То самое видение из путаного сна...

– Анютка! Ой, Анютка, ну ты меня и напугала! Ну ты и артистка, – то запахивая, то распахивая ворот ночной сорочки, посмеивается над недавним своим страхом Евдокия Ивановна, разделяя закатыстый девчоночий смех... – Как же ты изобразила тут всё... Анют, а бабушка твоя что, правда, приехала?

– Какая бабушка? – солнечными бликами полны синеющие глазки Анечки. – Ты моя бабушка, какая есть ещё?

– Ну да, ну да, приснилось мне тут такое, – досадливо машет рукой баба Дуся...

– Вот! Сама мне говорила, не надо плохие сны запоминать, – назидательно грозит пальчиком Анечка. – Я, например, теперь никог-

да сны не запоминаю. И Настя, что со мной за одной партой сидит, тоже... И Кристина... Вставай, бабушка, подъём! Кто мне вчера гречки обещал зажарить?..

– Всё, Анют, всё, иду умываться и на кухню. А то, правда, снам верить, так и дела не делать. А нам с тобой надо быстренько завтрак приготовить, сейчас мама твоя придёт...

Евдокия Ивановна бодренько топает босыми ногами по дерюжке. Но, вспомнив вдруг что-то, приостанавливается: «Анютк, бисова ты дытына! Откуда ты про нечётный путь-то знаешь? Я же никогда о нём не говорила»...

Вместо ответа Анечка, шаловливо нацепив на кончик носа бабы Дусины очки, быстро-быстро листает какую-то книжицу, лежавшую на прикроватной тумбочке, а найдя нужную страницу, торжественно подаёт наставнице: «Знакомьтесь, пожалуйста: «Вагоны и парки железных дорог». Её, бабы Дуси, давным-давно позабытый учебник...

«Поезда нечётного направления идут по 1 пути, чётного – по 11 пути. Нечётные пути следуют по убыванию километров, чётные – по возрастанию. Если вы хорошо знаете географию своей местности, то по движению поездов (в определённые стороны света) поймёте без светофоров где какой путь. Попробуйте...»

Где у кого и какой лежит путь? Как его найти? Легко сказать, попробуйте...



Михаил БЕЛЫХ

Симфонический оркестр Михаила Зельдина

Исторический очерк

В прошлом году исполнилось 100 лет, как в старосветском Козлове (с 1932 года – Мичуринск) была создана музыкальная школа, преобразованная в 1933 году в музыкальное училище. Однако ещё за год до памятного 1919-го в нашем городе по инициативе талантливого музыканта Михаила Зельдина (кстати, отца народного артиста СССР Владимира Зельдина), служившего капельмейстером расквартированного у нас с 1910-го по 1914 год 39-го Томского пехотного полка, открылась Козловская народная консерватория. Безусловно, столь масштабное начинание не возникает на пустом месте: предтечей консерватории стало музыкальное общество, инициатором появления которого также стал Михаил Евгеньевич.

«Творить не покладая рук»

Впервые военный капельмейстер выступил со своей инициативой со страниц местной прессы в мае 1917 года. В тот раз, находясь на подъёме революционных настроений, когда, по мнению музыканта, нужно было «созидать, творить и работать не покладая рук», он обратился к горожанам с просьбой о содействии по организации духового оркестра.

«Что оркестр хороший нужен Козлову – в этом сомневаться не следует, а в дальнейшем он будет даже необходим, когда увидят его культурное значение, – писал Михаил Евгеньевич. – Трудно организовать его: нужны большая любовь к делу, энергия и настойчивость в работе, а главное – сочувствие и материальная поддержка». По мнению талантливого музыканта, содержать полноценный струнный симфонический оркестр городскому самоуправлению было бы не под силу, поэтому он предлагал организовать его из служащих торговых городских предприятий (до 50 человек), а их хозяев просить оказать материальную поддержку на приобретение инструментов и инвентаря.

«Льщу себя надеждой, что моё предложение найдёт отклик и сочувствие в обществе», – завершал своё обращение к горожанам Михаил Зельдин. Судя по всему, обращение музыканта возымело должное действие. Уже через несколько дней в местной прессе он опубликовал благодарность горожанам за поддержку.

Кстати, по словам маэстро, именно читатели местной прессы предложили ему создать «Музыкальный союз города Козлова» – прообраз будущего музыкального общества.

Однако в тот раз от принятия каких-либо решений Михаил Евгеньевич воздержался, поскольку убывал в действующую армию, а все организационные вопросы благоволил адресовать своим компаньонам – Б.А. Полянскому и А.А. Сазыкину.

Здоровое удовольствие

Вскоре в кругах местной интеллигенции развернулась дискуссия о форме будущего общественного объединения. Одни предлагали создать музыкальное общество, другие – музыкальный союз. Сходились же все в одном: новая общественная структура должна стать инициатором создания городского духового оркестра и хора, а также содействовать музыкальному образованию населения. Предполагалось, что появившееся в Козлове «Музыкальное общество» будет оказывать положительное влияние на

развитие эстетического чувства граждан, доставляя им здоровое и недорогое удовольствие, тем самым отвлекая от пьянства. По мнению наиболее просвещённых горожан, новая общественная организация могла привести к уменьшению (если не к полному исчезновению) хулиганствующих музыкантов-гармонистов, шатавшихся в то время толпами по улицам и оравших безобразные песни.

Как следует из документов, учреждение музыкального общества в нашем городе состоялось 11 июня 1917 года. Участие в первом собрании приняло около полусотни человек, при этом некоторые из них занимались музыкой и вокалом профессионально. Судя по всему, именно они и составили основу будущей общественной организации, а также правления. Среди них нам памяты фамилии дирижёра М.Е. Зельдина, пианистки А.Е. Хвощинской, альтиста Сазонова, регента Белякова, сочувствующего обществу купца Б.С. Полянского, члена Союза кредитных товариществ А.А. Сазыкина, члена городской управы Белякова. Председателем правления избрали А.А. Сазыкина, казначеем – Б.С. Полянского.

Ещё одним начинанием Михаила Евгеньевича стало создание струнного и духового оркестра из числа железнодорожников. На призыв музыканта откликнулось около сотни человек, главным образом из числа рабочих железнодорожных мастерских. Примечательно, что среди них было немало тех, кто владел нотной грамотой.

«Если у господ железнодорожников проявится настоящая любовь к искусству, то из этого скромного оркестра впоследствии образуется настоящий симфонический оркестр, который станет гордостью служащих железнодорожного узла. Симфонический оркестр из рабочих в России – небывалое явление!» – констатировала местная пресса тех лет.

В июле того же года в железнодорожном оркестровом кружке, организованном М.Е. Зельдиным, начались занятия по теории. Одновременно маэстро вёл переговоры с московскими фирмами по приобретению инструментов, приглашал через местную прессу всех

желающих записаться в недавно созданное музыкальное общество, а также обучаться пению на бесплатной основе.

Первым публичным выступлением «Козловского оркестрово-хорового общества» стал совместный концерт хора и симфонического оркестра местного отдела «Всероссийского союза оркестрантов», состоявшийся 31 августа 1917 года в Театре разумных развлечений. В качестве солистов были приглашены свободный художник Мария Ильинична Сноп (рояль), а также музыканты М. Кауфман (виолончель) и Л. Кауфман (скрипка). Примечательно, что и хором, и оркестром дирижировал сам маэстро.

Лирический тенор и меццо-сопрано

Судя по всему, собрать необходимые средства для приобретения музыкальных инструментов Михаилу Евгеньевичу так и не удалось. Подтверждение этому мы встречаем в одной из опубликованных заметок. В ней председатель «Оркестрового и хорового общества» М.Е. Зельдин просит выдать ему 6000 рублей пособия на покупку инструментов с обязательством «заиграть эту сумму в городском саду». На этот раз Михаил Евгеньевич делает ставку на учащуюся ремесленной мастерской и приходских училищ. Именно из учащейся молодёжи он пытается создать ещё один оркестр. А что же городская Дума? Местное самоуправление, не имея в распоряжении необходимой суммы, отказать в пособии на столь благое дело не решилось. Зато постановило назначить специальную комиссию для изыскания средств.

Очередной концерт симфонического оркестра местного отдела «Всероссийского союза оркестрантов» под управлением маэстро прозвучал под сводами Казённой женской гимназии (ныне средняя школа № 18 города Мичуринска) 24 ноября 1917 года. На этот раз инициаторами его проведения стал родительский комитет учебного заведения старого города. Специально по такому поводу Михаил Евгеньевич пригласил в Козлов лирического тенора, солиста Государственного Большого театра Иосифа Бобровича и обладательницу

меццо-сопрано, выпускницу Петроградской консерватории Викторию Зимбалеvскую.

По откликам местной прессы, тот концерт имел успех. Вскоре было объявлено ещё об одном выступлении. По прогнозам сведущей публики, очередной концерт должен был стать намного интереснее предыдущего: во-первых, его состав увеличивался вдвое, а во-вторых, в программу вечера вошла неоконченная симфония Шуберта...





Анатолий ГОНЧАР

Варька

Рассказ

Начиналось всё как обычно.

– Дочка, ложись спать, завтра рано вставать – на стрельбище едем, – это мой папашка, он у меня в спецуре служит, и как стрельбы, так меня за собой таскает. Бзик у него – считает, что мне это в жизни пригодится. Ага, сейчас. Я в универ поступать собираюсь, а не в его любимую «бурсу». Впрочем, про военный институт он даже не заикается. А вот натаскивает меня по полной – зарядка каждый день, бег пять раз в неделю, плавание, само собой. Думала, он меня в какие-нибудь единоборства отдаст, но нет. Папашка считает – рукопашка на войне не главное, а вот бегать, прыгать и скакать – это да. А ещё ползать. Но это он меня на полигоне гоняет. Как у них в части стрельбы, у меня в школе выходной. Учителя уже и не ругаются за пропуски. Ну, почти не ругаются, учусь-то я хорошо. Вот и завтра мы на полигон с самого со сра... тьфу ты, это я от папашки нахваталась, в общем, спозаранку мы на полигон покатым. Он там самый главный, так что мне свободное направление выделяет – и всё, амба, полная экипировка – и в путь. Он мне даже настоящую разгрузку купил, а в ней на стрельбах двенадцать магазинов с патронами, тринадцатый в

автомате. И было бы не обидно, если бы всё самой расстрелять, а то только один магазин, остальные для веса. Слава Богу хоть бронжилет одевать не заставляет, говорит: мы в разведку в бронжилетах не ходим, а для веса, говорит, рюкзак есть. Ага, точно, про рюкзак то я и забыла, в рюкзаке у меня паёк, горелка, кружка, ещё аптечка с фигой всякой и две полторашки с водой. Я как-то воду из бутылок вылила, так папашка такую пургу поднял, аж жуть. Говорит: ты бы лучше паёк выбросила. Ага, сейчас, разбежалась, фигошки, паёк я и сама съем, а воду и из-под крана налить можно. А он мне: всё должно быть приближено к боевой обстановке. Да на фиго мне это?

– Варечка, ложись спать, – это опять он. Варей меня назвали, вот уж имечко придумали – Варвара Краса Длинная коса, так в школе и дразнятся. Точнее, дразнились, пока я нос одному шутнику не расквасила – всё-таки в папиной физухе и кое-какие плюсы имеются. – Варя вставать рано.

– Пап, да не хочу я ни на какие стрельбы... – завожу я свою привычную волюнку, хотя знаю – бесполезно всё это.

– Не хочу, не хочу, не захвачу. Есть такое слово – надо, – смеётся, ладно шут с ним, сейчас ещё полчаса в инете посижу и лягу. А утром, может, он проспит и про меня второпях забудет?

Стук в дверь, как грохот барабанов. Не забыл про меня папашка. Забудет он, как же. Но мечтать не вредно, вредно не мечтать – это его поговорка.

– Дочка, подъём.

– Встаю, встаю.

Черед тридцать пять минут катим на полигон. Спать охота – мочи нет. Хочешь-не хочешь разрезаешься. Эха, ха, ха, ха, ха...

– Я тебе говорил – спать ложись? Ничего, сейчас на полосу препятствий выйдешь, сон как рукой снимет.

Вроде папашка подбадривает, а звучит словно угроза. Впрочем, угроза это и есть, точно на полосу запустит. Да и чёрт с ним, первый раз что ли? Жаль, схалювить не удастся, папашка время засекает будет, не уложусь, придётся по новой бежать. Жуть.

Нет, на полосу я так и не попала. Он меня прямо на огневой рубеж привёз, на пункте получения боеприпасов получил тринадцать магазинов, ещё и гранату взял.

– Варвара, – прозвучало почти торжественно, – сегодня будешь гранату метать, – смеётся. Метать значит, ага? Я уже мечу... икру. Настоящую гранату ещё ни разу не бросала. Не, теорию меня папашка давно вызубрить заставил, и макетов я нашвырялась досыта, ну это тех, что с учебными запалами. А тут боевая, а ну как уроню или куда не туда брошу? И точно знаю – папашка сам со мной на рубеж пойдёт, а от этого ещё сильнее волнуюсь. Ах, чёрт, за своими мыслями чуть команду не прозвала. Ну всё, побежала, пятьдесят метров бегом. Потом ещё пятьдесят метров ползком, а потом стрельба в движении... И десяти шагов сделать не успела, что за чёрт? Земля закружилась. То ли ноги подкосились, то ли я куда-то провалилась и падаю. И почему темно? А вот и свет. Станный какой-то, будто сквозь зелень прорывается. Так и есть, зелень... Лес кругом. Я что, на коленях стою? Что за бред? Вот только жуткий вой, идущий из глубины чащи, слишком страшен, чтобы усомниться в его реальности. Да и коленная чашечка болит не хило. Не сон – точно. А лес... лес у нас в километрах пяти от полигона начинается. На северо-востоке. Значит, мне на юго-запад? Точно.

Так, солнце слева чуть в спину и вперёд. Плюс-минус не считается, не до азимутов всяких, мне бы главное из леса выбраться да разобраться, как это меня так угораздило. И папы нигде не видно. Чертовщина какая-то. Не могла же в лес сама притопать? Или могла? Может быть, это папашка марш-бросок устроил, а я башкой ударилась? Не иначе именно так. С чего бы я тогда сознание потеряла и память отшибло? Странно, что голова не болит. А вой приближается, неужели волки? Бежать мне от них, что ли? Да ну нафик. Конечно, животных я люблю, но не тех же, кто за мной гонится. Или они не гонятся, а случайно в мою сторону бегут? Посижу, подожду. Но затвор на всякий случай передёрну, папашка говорит: готовься к худшему, а лучшее мимо не проскочит. Передёрнула и положила оружие на колени. Только это меня и спасло.

Когда из-за деревьев выскочили воюющие зверюги, ствол автомата оказался направлен в их сторону. Спускной крючок я потянула, не раздумывая. Грохнуло – будь здоров. Визг попавших под пули тварей ударил по ушам ещё сильнее. Автомат сам собой взлетел прикладом к плечу, и дальше стреляла исключительно прицельно. Благо испугаться толком не успела. Все пять нёсшихся ко мне страхолюдин попадали и забились в агонии. Почему страхолюдин? Потому как они ими и были. Не волки, не медведи, а чёрт-те что. Здоровые, грязно-чёрные, горбатые, длинные костлявые ноги, вытянутые морды с торчавшими наружу клыками. Маленькие красные глазки. Страшно, но особого впечатления они на меня поначалу не произвели, мало ли каких мутантов породил местный полигон, а вот когда твари начали развеиваться в чёрную пыль, меня проняло по-настоящему. Мутацией подобное не объяснить. Заколотило меня, как в лихорадке, но поменять трясущимися руками магазин и передёрнуть затвор я не забыла. Едва щёлкнул, вставая на место, предохранитель, как вдалеке раздались новые завывания. Вскинув автомат за спину, я на не слишком послушных ногах побежала в сторону полигона.

И вот уже бегу полчаса, не меньше. Только-только очередную стаю покрошила, появилась следующая. Их тут что, клонируют, что ли?

Впереди что-то блеснуло.

– Вода? Ручей? Откуда здесь ручей? Ни ручьёв, ни ручейков вокруг полигона никогда не существовало. Что за нафик? Ладно, с этим потом разберусь. Но вода – это хорошо, пробежусь по ручью, звери, глядишь, и отстанут.

– Ох ты, зараза, вода-то ледяная, – всё, бегу, только брызги во все стороны, – ай, блин, – подвернув ступню, шлёпнулась прямо в воду, – Больно-то как. Булыжник чёртов. Скользкий гад. Ой. Болит... И холодно. Надо вставать. Ай.

Автомат на шею – и на четвереньках к берегу. Теперь встать. Чёрт, чёрт, чёрт. На левую ногу не наступить. На одной ноге далеко не упрыгаешь. Хорошо хоть берег не крутой. С горем пополам до зарослей низкорослого кустарника добралась. Залезу поглубже, затаюсь, может, не заметят?

Зря надеялась – подвывания уже совсем рядом, и не напролом прут, а окружают, со всех сторон подступают, слышу, как хрустят ломающиеся ветки, и что самое поганое, я этих тварей не вижу – всё кустарник загораживает.

«Дура набитая, надо было на открытую местность выбираться, тогда бы я хоть покрошить их могла. А сейчас куда палить? Окружили. Начну в одну сторону стрелять, они с другой набросятся. А стану веером стволом водить, надолго ли у меня патронов хватит? Мамочка дорогая, как страшно. Колотит, аж зубы стучат, и не понять, то ли от холода, то ли от страха, то ли от того и другого. Что за невезуха? Не подверни ногу, сейчас бы напролом рванула. А так... А может, они меня не тронут? Может, побоятся. Ах, тварь...

Палец сам рванул спусковой крючок, высунувшуюся из куста зверюгу снесло очередью. Шорох сзади. С разворота длинная очередь за спину. Забыв про боль, вскочила на ноги. Две оскаленные морды совсем рядом... Не успеваю. Автомат клацает затвором. Готовый вырваться крик застревает в горле. Всё, хандец, – мелькает мысль, глаза ослепляет вспышка света, сознание тает. Я умираю?

Темноту я не помню. Очнувшись, понимаю: лежу. Сквозь закрытые веки пробивается свет. Я правда умерла? Открыть глаза страшно. Не открыть? Сколько же можно так пролежать? Сбоку приходит ощущение тепла, как от костра. Но это точно не костёр – ни тебе запаха дыма, ни треска сучьев. Открыть глаза, посмотреть? Руки вытянуты вдоль тела, под пальцами, похоже, сухая земля. А автомат? Где автомат? Что со мной случилось? Упала от страха в обморок? «Кисейная барышня», – как говорит мой папа. Точно, барышня, она и есть. В обморок грохнулась. А ведь ничего, кроме щиколотки, не болит. Тишина. А где те зверюги? Странно, почему они меня не порвали? Ушли? Может, приняли за мёртвую? Говорят: если рядом медведь, надо притвориться мёртвым, и он тебя не тронет. Правда или нет, не знаю. Я бы не рискнула. Так что же случилось? Помню, был яркий свет. Может, я всё-таки умерла? Говорят, когда умирают, впереди всегда яркий свет и тоннель. Тоннеля не было. Открыть глаза или не открыть? Страшно. И не открыть, а вдруг твари только на минутку отошли и

сейчас вернуться? Надо открыть глаза и найти автомат. Без автомата... куда мне без автомата. А может, не было никаких страхолюдин? Всё только приснилось, или были обычные волки, а всё остальное со страху померещилось? Ладно, надо открывать глаза, считаю до трёх:

– Раз, два, три...

Во блин, поляна, я лежу на какой-то тряпке, сбоку костёр-не костёр, что-то светлое мерцает и отдаёт тепло, чуть поодаль сидит пацан лет шестнадцати и вертит в руках мой автомат. Да он же в нём ни черта не соображает! Вон как стволом себе в грудь тычет. Идиот! А если в нём ещё патроны остались?

– Эй ты, – пацан обернулся, а он ничего, симпатичный, – положи чужое. На землю положи.

Удивительно – послушался с первого раза, не пришлось даже повторять. Послушался, положил автомат и взял в руки до того оставленный в сторону посох.

Мне бы встать и забрать ствол сразу, но вот смогу ли я подняться, вопрос. Щиколотка-то переставать болеть и не думала.

Пацан будто угадал мои мысли:

– Можешь вставать, не бойся, подлечил я твою ногу, – с радушной улыбкой сообщил он, – ещё поболит немного, а так здоровее здоровой.

Я мысленно хмыкнула: «Ишь, подлечил он, тоже мне доктор Пилюшкин нашёлся», но встать всё же попробовала. И впрямь щиколотка хоть и болит, но вполне терпимо. «Подлечил он, ага, так я и поверила, поди боль сама прошла».

– Ты кто? – без обиняков спросила я, хотя стоило сперва узнать, откуда он тут взялся и куда делись столь «полюбившиеся» мне зверушки. Если они, конечно, были. Мало ли что привиделось.

– Я? – он будто бы удивился. – А то ты не знаешь?!

– И откуда я, интересно, могу тебя знать? Ты что, на «Фабрике» подвизался?

– На фабрике? – брови пацана взлетели вверх. – Причём здесь фабричные? У них своя территория, у нас своя. Мы в дела друг друга не вмешиваемся.

На мой вопрос он не ответил. Или не понял. Странно. Может, не хочет отвечать? Пусть тогда хотя бы кликуху свою назовёт.

– А как тебя звать-то?

– Ты точно не знаешь?

– Придурок. Конечно, нет. Знала бы – не спрашивала.

Пацан некоторое время смотрел на меня. Затем, сделав важное лицо, выдал:

– Я Хранитель.

Опсь. Вот и понимай, как хочешь. Толкинист? Да и фик с ним. Лишь бы не окончательно съехавший.

– Слушай, тут до полигона далеко?

– До чего? – выглядел пацан непритворно удивлённым.

– До полигона? – переспросила я.

Пацан аж рот разинул:

– А это кто?

Не выдержав, я рывкнула:

– Ты что, придурок?

Пацан аж подскочил.

– Да как ты смеешь? – взъярился он.

Мне ничего иного не оставалось, как пойти на попятную (с придурками лучше не конфликтовать).

– Ладно, ладно, не кипятись, – я примирительно подняла вверх руки. Мне бы к автомату подойти, а там уж мы поговорим.

– А ты-то, кто ты такая? – всё его радушие будто волной смыло. Я же попыталась улыбнуться.

– Варя, – сказала и непонятно к чему добавила, – мой папа – заместитель командира части.

– Папа твой заместитель чьих-то частей? – Пацан, кажется, опять ничего не понял. Как с луны свалился. Точно больной.

Я улыбнулась как можно ласковей:

– Не заместитель, а заместитель командира части по бою.

Пацан впал в ступор.

– Твой папа – маг?

Теперь уже прифегела я.

– В смысле? Почему? – и тут же озарение, пацан же в игрушки заигрался. – Нет, папа простой человек, – заверила я, этого чокнутого ролевика. А как иначе? Он же у них тут Хранитель, и кто его знает, какие у него отношения с магами.

– А как же он тогда в бою телесные части у воинов замещает?

Вот угораздило. Про волков я от него точно ничего не узнаю. Лучше промолчать. Хорошо хоть до автомата дошла, сейчас нагнусь, подниму, и станет легче.

– Не смей, – потребовал пацан. Я аж вздрогнула от его голоса.

– Это моё, – я не собиралась оставлять кому бы то ни было боевое оружие.

– Не смей, – повторил он.

– Это почему же?

– Тёмная волшба, я видел, как он изрыгал огонь и грохот. Но... – на секунду пацан замолк, – я не вижу в тебе следов зла. Где ты это взяла? – нога пацана коснулась лежавшего на земле автомата. И как мне теперь выкручиваться? В самом деле, не драться же с этим олухом?! Ладушки, с помешанными на эльфах будем действовать соответственно.

– Я белая ведьма, – сообщила я. Получилось весьма торжественно. – Мне подвластны силы дня и ночи, чёрная волшба не вырвется без моего приказа! – и тут же совсем мягко. – Я заберу это? Хорошо?

Пацан некоторое время раздумывал, затем, медленно поведя взором, осмотрел меня с ног до головы и благосклонно кивнул:

– Забирай. Ведьма. Белая.

Сказал он это так, словно сомневался в каждом слове. Будто видел меня насквозь, будто я была прозрачнее воздуха. Видел и не верил сказанному ни на грамм. Да и шут с ним.

Я не стала медлить, нагнулась, подняла автомат, щёлкнула предохранителем. Теперь можно идти, только куда? Пацан ведь так ничего путного и не сказал.

– Пойдём со мной, – неожиданно предложил он. Хотела спросить – куда, да какого чёрта? Его спрашивать – себя не уважать. Пусть ведёт, приведёт к своей компании, а там хоть один адекват да найдётся. У него и уточню.

– Веди, – разрешила я, сопроводив слово поистине королевским жестом.

Хранитель чёртвов ничего не сказал, только как-то странно на меня покосился и двинулся в путь. Я отправилась следом. А что мне ещё оставалось?

Теперь, когда за спиной не слышалось того страшного подвывания, я наконец-то могла заняться разглядыванием окрестностей. То, что меня занесло чёрт-те знает куда, поняла сразу. Местность вокруг полигона я знаю довольно неплохо, и не было там ни высоких холмов, ни виднеющихся далеко на горизонте горных хребтов, ни торчавшей из развалин каких-то промышленных построек трубы. А ещё этот ручей. И главное: на сон происходящее совершенно не походило.

– Где я? – сорвалось с моих губ.

– Ты не знаешь?

Он меня разозлил.

– Да, не знаю, – рявкнула я. Что-что, а командирский голос я уже выработала. – И как здесь оказалась, не помню. Доволен?

– То-то я смотрю, ты какая-то... – пацан замялся. – Не в себе, в общем.

– Сам ты не в себе. Так скажешь, где я, или нет?

– Так это же очевидно.

Блин, он меня достал.

– Где я нахожусь? – едва ли не по слогам повторила я свой вопрос.

– Само собой в Борее. Здесь все люди живут. Ты что, головой приложилась, не помнишь ничего?

Мне не оставалось ничего иного, как кивнуть.

– Тогда понятно. Значит так: чашу, из которой ты вышла, Чернолесьем кличут.

– Чернолесьем? – я обернулась, привычно отмечая направление.

– Угу. Тебе здорово повезло, что пограничный ручей пересекла. В чащобу я бы не сунулся. Там с волкодлаками не справиться даже мне. Порвут. Сила у них там, а у меня здесь.

Я чуть было не сказала вслух: придурок, но в последний миг промолчала, а пацан продолжал:

– Фабрику видишь? – он повёл рукой влево, тыкая пальцем в уже виденные мной развалины. – Это промышленная зона гномов. А вершины на горизонте? – взмах руки вправо.

– Горы?

Пацан кивнул:

– Царство эльфов. Уроды, что ни год на нас набег делают. Одну, другую деревню вырежут, а потом мы им как накостыляем, они к себе и уберутся. Как раз вчера все наши на отражение набега ушли. Поди к завтрашнему дню вернутся, а меня здесь за Хранителя оставили.

Я с трудом подавила усмешку:

– Значит, ты временно... хранительствуешь?

– Угу, – слегка сконфуженно признался он, – должен же кто-то за границей приглядывать.

– А что за ней приглядывать, когда эльфы на другой стороне света?

Пацан слегка задумался:

– Нууу, это... ну тебя вот спас. И вообще. Гномы ведь тоже к войне готовятся.

– С вами?

– Нет, почему с нами? – удивился пацан. – Мы им не враги. Они с эльфами враждуют.

– А вам-то что?

– Ты, дева, кажется, не только головой ударилась, но и зрение потеряла.

– Это почему же?

– Ты что, не видишь?

Я пожалала плечами. Пацан вздохнул и занудил совсем как моя бабушка:

– Как они к эльфам попадут? Им сначала надо нас сокрушить.

– А зачем сокрушать? Вы их пропустите, и пусть они в своё удовольствие друг с другом метелятся, – предложила я. Но пацан меня тут же спустил с небес на землю.

– Пропустить? Ты совсем рехнулась, – взъярился он. – Они ж как только в Борею войдут, сразу грабить примутся.

– И что же тогда делать? – спросила я и тут же почувствовала, что краснею от собственного идиотизма – пацан своим энтузиазмом до того заразил, что начала принимать их ролевой мир едва ли не за правду.

– К обороне готовиться, – заявил он, – что ещё остаётся? – и, слегка замедлив шаг: А ты, кстати, из какого рода будешь, не вспомнила?

Я отрицательно качнула головой.

– Вообще ничего? Ладно, не беда, белые ведьмы у нас только близ Сенного урочища да у Ильмень-озера живут. Отведу тебя к ним, пусть сами с тобой разбираются. Заодно мозги вправят, чтобы по Чернолесью не шастала.

В этот момент мы поднялись на небольшой холм. В каком-то километре от нас полыхало зарево. Пылала юго-восточная окраина небольшого селения.

– О, Громовержец! – воскликнул пацан и, не говоря больше ни слова, бросился вниз по склону. Я за ним. Догнать получилось довольно легко – в его длиннополой мантии много не набегашь.

– Пожар? – крикнула я, принаравливаясь к ритму бегущего мальчишки.

– Гномы, – выдохнул он, и только тут я заметила и мечущиеся по селу людские фигурки, и стройной вереницей вытекающие со стороны фабрики ряды закованных в броню воинов. Сталь под утренним солнцем так и блистала.

– Твари вероломные, – просипел мальчишка, на ходу поудобнее перехватывая свою дубину, ах да, не дубину – посох. Он что, с «гномами» драться собрался? Их вон сколько. И ежу понятно, как только Люди на «эльфов» ушли, «гномы» атаку и организовали. Да ещё как бы он с «эльфами» за спиной Людей не сговорился. Ох, чую, и достанется людшкам по первое число. Пока те сообразят, что к чему, пока обратно дотопают, гномы у них половину территории оттяпают. И ещё неизвестно, как по правилам, обратно отдадут или нет? Я в азарте даже о своих проблемах забыла, да чёрт с ними. Сейчас ролевики в войнушку наиграются, устанут, меня, глядишь, кто-нибудь до полигона и под-

бросит. А пацан-то весь раскраснелся, хрипит от натуги, а не останавливается, будто всерьёз всё. Как бы кондратия не словил.

– Остановись, хорошо! – кричу я, а он ни малейшего внимания. И чёрт с ним. А эти ролевики взаправду всё делают, дома – как настоящие. Красивые, бревенчатые. Даже жалко, если всё пожгут. Цирк да и только. Сколько средств вложено... Реализм им нужен. Вон уже завывания доносятся – бабы голосят. Никогда бы не подумала, что кто-то простых крестьян играть захочет. Может, они жребий тянут? Папа говорит: люди с жиру бесятся, только и всего.

Ха, мечи звенят. Крестьяне крестьянами, а всё же кто-то за оружие взялся. Да куда такую мощь сломить – «гномы» колонной шеренг в десять идут и длинше самой деревни вытянулись. Судя по всему, в поселение лишь арьергард вошёл или разведчики какие, а то бы уже всех защитников положили. Большая часть жителей меж тем к другой окраине села рванула, да не тут-то было – село-то окружили. В убегающих полетели стрелы. Наверное, попали – некоторые попадали. Воплей стало больше. И охота им глотку так рвать? Ох уж этот реализм. Пацан наконец остановился и принялся раскручивать над головой свою палку, а как раскрутил, с неё сорвался широкий веер зелёных лучей и в толпу «гномов» влетел. Звон – как от удара кувалдой по железной бочке. Наступающие так и повалились. Человек пятнадцать, не меньше. Вот это спецэффекты, вот это, я понимаю, реализм. А через секунду по нам такими же лучами жажнули, только цвет другой, фиолетовый. Красиво. Пацан вращающейся палкой, как щитом, прикрылся – только искрами малиновыми в разные стороны брызнуло. А в том месте, откуда по нам вдарили, чёрное облако взвилось. Пацан даже улыбку из себя выдавил, но она тут же погасла. По нам стрелы полетели. Пацан прикрылся щитом, попятился. А толпа «гномов» к селянам рванула. Вот блин, и впрямь, как гномы, селянам до пояса, и где они столько карликов набрали? Или это ребятишки бороды нацепили? А это что за спецэффекты такие – под ударами «гномьих» алебард у одной женщины отлетела голова, а малого так и вовсе надвое располосовали. А Хранитель хренов под градом стрел стоит ни жив ни мёртв, бледен, как мел, и одно древко у него из плеча

торчит. Что за хрень? Не успела я додумать, в нашу сторону вновь полетели фиолетовые лучи. Пацан вновь попятился, едва не упал.

– Ведьма! Сделай же что-нибудь, ведьма! Сделай! – закричал он.

Что я должна сделать? Влезть в их странную ролевою игру? Но как? Да и зачем? На плече у пацана начало расползаться красное пятно. Чёрт, шутки у них дурацкие.

Тут из-за дворов выбежала собака, будто споткнувшись, перекатилась через голову и неподвижно застыла. Из-под лопатки у неё торчала длинная оперённая стрела. А собаку-то за что? Собака-то не могла притворяться. Её убили. Мысль ужасала. Нет, это всё спецэффекты, всё спецэффекты. Я бросила взгляд на пацана, он смотрел в мою сторону, и в глазах стояла мольба. Со стороны села крики только усилились. С громким плачем взлетел над толпой «гномов» грудной ребёнок и умолк, напоровшись на подставленные пики. С ухватом бросившаяся на супостата женщина рухнула под ударом топора. Что происходит? Это всё спецэффекты... это игра. Всего лишь игра.

– Сделай же что-нибудь, ты же белая... – прохрипел пацан, оседая на землю.

Я шлёпнула себя ладонью по лицу, машинально пригладила давно вставшие дыбом волосы. Что происходит? Ну не может быть это правдой, ну не может. А если может? А если нет? У меня же настоящее оружие, не игрушечное, не спецэффекты, а в стволе настоящие пули. Я вновь посмотрела на пацана – его бьёт дрожь, кровь из плеча дотянулась до пояса, в бедре ещё одна стрела и такое же тёмное пятно. Я оцепенела, не зная, как поступить. Очередной крик вывел меня из ступора, на этот раз вскричал гном – ему под кирасу ударила оказавшаяся в руках худого старика рогатина.

Я приняла решение. И плевать. Несколько раз вздохнула и распласталась на земле. Всё как учили. Предохранитель скользнул вниз на одиночный огонь. Как там папа говорил? Выбрать самую важную цель – вот он, гад, стоит позади своих латников и отдаёт указания. Теперь задержать дыхание, мягко потянуть спуск.

За криками, звоном металла, треском горящих зданий грохота я не слышала. Только повалился на землю выцепленный мной гном. На-

ступающие мгновенно ступевались. А я перевела огонь на лучников. Десять секунд – и оставшиеся в живых попятиться, обнажив для моего прицела прятавшегося за их спинами шамана. Выстрел – и выставленный им щит разлетелся вдребезги, и осколками негодяю снесло полголовы. Обошедшие село захватчики бросились наутёк, а я перенесла огонь на основные колонны наступающих, благо триста-четыре метра для АКа не расстояние. Вначале они бросились в атаку, но когда потери перевалили за несколько десятков, нарушив строй, ломанулись к границе. Не знаю, как другие, но я не столь благородна, чтобы не стрелять в спину, – выстрелы продолжали звучать и дальше. Остановилась, лишь расстреляв четвёртый магазин. Проводила взглядом удирающих гномов, огляделась по сторонам, пацан Хранитель валялся в беспомощности. Тут донёсся топот копыт и из-за холма показалась конница. Я кинула взгляд на всадников, желая лишь убедиться, что это люди, и кинулась к мальчишке. Он оказался жив. Смертельных ран не было, но он потерял много крови. Быстро скинув рюкзак, я схватила аптечку, достала гемостоп, ИПП, недолго думая, выдернула первую стрелу и быстро обработала рану. Так же поступила со второй. Всё это время мимо меня мчались закованные в броню всадники. Где-то далеко звенели клинки, ударявшиеся о щиты и шеломы бегущего противника. А я сидела и размышляла о том, куда меня занесло и смогу ли я вернуться обратно. А если не смогу? То что мне делать? А что остаётся – наверное, просто жить. Вот только папа и мама будут сильно переживать. А может, в той, другой реальности осталась моя копия? Хотелось плакать, и я заплакала, даже не пытаюсь скрыть своих слёз.

Вдруг всё вокруг потемнело, а когда тьма начала рассеиваться, я увидела стоявшего рядом отца.

– Ну и цирк ты устроила! Распуляла все патроны, издырявила мишени. Теперь новые вешать. Что за причуда такая? – строгим голосом выговаривал он, а в глазах мелькали весёлые искорки.

– Папа! – я, выпустив из рук горячий автомат, бросилась ему на шею...



Михаил ГРИШИН

Зубная фея

Рассказы

Всемогущий интернет

Макар Кружилин и раньше телевизором особо не интересовался. А с тех пор как внук подарил ему свой старенький ноутбук, совсем его забросил.

Вот покойная старуха, Царствие ей Небесное, та была большая любительница вечерами просиживать у телевизора. Насмотрится, бывало, своих долгоиграющих сериалов, а потом выйдет на улицу и давай с другими старухами сплетничать про чужую жизнь: кто кого оставил да на ком женился, изменил, а то и на преступление пошёл из-за ревности. Слушать противно! Другое дело интернет. Много чего интересного там можно найти.

Кружилин в свои семьдесят три года был ещё стариком крепким, нечего зря Бога гневить. Когда другие при нём жаловались на пенсию, Макар лишь посмеивался: раньше надо было думать, теперь-то

чего скулить. Сам он получал пенсию хорошую, всю жизнь на железной дороге машинистом трудился, и квартира в двухэтажном доме досталась заслуженно. Но и сегодня Макар на лаврах не почивал, хоть имел на то полное право, а подрабатывал дворником. Сказать по правде, это занятие он и за работу не считал, так – баловство одно.

Макар обожал подниматься до восхода солнца, когда заря едва занималась и первые розовые лучи касались верха водонапорной башни. Свежий воздух приятно охлаждал тело, разморённое в тёплой постели. И был воздух какой-то особенный, упругий, вдыхаешь и прямо чувствуешь, как заряжаешься здоровьем.

На узловой станции привычно гудели электровозы, тепловозы, гремели сцепками вагоны, которые спускали с горки, формируя составы. Макар безошибочно мог определить любой поезд: по стуку колёсных пар, по гудку, по работе мощного двигателя. Вот с весёлым перестуком на стыках пробежал пассажирский. Следом, особо не утруждаясь, прошеествовал грузовой, который с лёгким пыхтеньем тянул платформы с техникой. А этому трудяге досталось по полной: натужно рыча, он едва тащил за собой тяжёлые цистерны с нефтью и битумом. Порожняк определялся ещё на подходе к станции по звонкой болтанке.

Солнце ещё не успевало повсюду распространить свой медовый цвет, а у нового дворника на участке уже сияло первозданной чистотой: любо-дорого глядеть. В такие минуты Макар радовался, как ребёнок: у людей дома всякое может случиться, от этого никто не заговорён. А выйдут они на улицу, оглядятся вокруг, и на душе станет светлее.

Управившись с делами, Кружилин шёл домой, к своему интернету.

Дома он первым делом садился завтракать. Завтракал Макар плотно, чтобы потом не отвлекаться на такую ерунду, как еда.

Убрав за собой посуду, старик начинал священнодействовать, тут у него был целый ритуал, который он соблюдал неукоснительно. Тщательно мыл руки с хозяйственным мылом, тёр губкой заскорузлую кожу с въевшимся в неё машинным маслом – в пору хоть наждаком скрести. Потом возвращался на кухню, где в последние дни проводил большую часть времени, расстилал белую скатерть, раскладывал

ноутбук и с благоговением садился за стол. Однажды он поймал себя на мысли, что хотел даже перекреститься. Ухмыльнувшись в седые усы, Макар тогда сокрушённо качнул головой и с замиранием сердца открыл ноутбук.

В интернете у него имелась своя социальная страница, которую зарегистрировал заботливый внук. Кружилин каждый день на неё заглядывал, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. И однажды ему удивительно повезло: увидел свою первую любовь, фотографию которой простодушно выложила внучка. Даже в столь преклонном возрасте Нина выглядела достойно: чёрные с проседью гладкие волосы, тёмные с поволокой глаза, ещё не успевшие выцвести, и, конечно, её очаровательная улыбка, которую он не мог забыть до сих пор.

Макар вспомнил, как первый раз поцеловал Нину у реки, где они прогуливались под луной. Зажмурился для храбрости, он не удержался на крутом берегу, свалился в воду: и смех и грех. А потом на его беду в село приехал Ванька Костылин – симпатяга и балагур, любитель брэнчать на гитаре и петь под Высоцкого блатные песни. Макар же в парнях на слова был довольно скуп, всё больше угрюмо молчал, отчего и прослыл на деревне бирюком. Вот и сманил балабол Ванька его ненаглядную. Сам виноват.

Макар вдруг принялся лихорадочно щёлкать «мышкой», пристально разглядывая другие фотографии. Но сколько ни листал, даже и намёка на Ванькино присутствие не обнаружил. Тогда он решил, что соперник скорострительно умер, как и его Любаша, и сердце царапнула подленькая радость. Макар понимал, что это грех, но поделаться с собой ничего не мог. Он вскочил с табурета, опрокинув его на пол, и в волнении заходил по кухне. Мысли сбивались, будто вскачь неслись ретивые кони: «вдова... пригласить к себе погостить... пускай хоть на старости поживёт... надо обязательно поехать... женюсь... старая любовь не ржавеет...»

Пригородный «дизель» остановился на затрапезной станции, одноэтажное здание которой сохранилось ещё с дореволюционных времён. От шпал остро пахло разогретым креозотом.

Сойдя на дощатый перрон, Макар помахал знакомым машинистам, пожелав им доброго пути. Огляделся и не спеша направился в сторону пыльной площади, примыкавшей к небольшому парку. Разделял их высокий облупленный постамент с дедушкой Лениным наверху, покрытый бронзовой краской. Отсюда до усадьбы Нины по расчётам Макара было не более трёх километров.

Макар был приодет по-праздничному: шерстяной костюм не маркого коричневого цвета, который выбирала ещё Любаша, светлая фетровая шляпа с загнутыми по моде полями, чёрные туфли. В руке он с достоинством нёс выдавший виды портфель из кожзаменителя, где лежали гостинцы: бутылка хорошего дорогого коньяка и рассыпчатое печенье, которое Нина в девках очень любила. Увидев клумбу, Макар вспомнил, что не купил цветов. На его счастье людей поблизости не было, и он торопливо надёргал небольшой букетик весёленьких цветочков, которые тотчас спрятал в портфель от греха подальше.

Чем ближе подходил к дому Кружилин, тем острее понимал, какими долгими были эти годы разлуки. Предстоящая встреча с некогда любимой женщиной волновала его, пожалуй, даже больше, чем первое свидание.

Он остановился у калитки, поверх ограды оглядел ухоженный палисадник, где бело-розовой дымкой цвели яблони. От них исходил тонкий сладковатый аромат.

Нину он увидел на пороге, по всему видно та убиралась по дому, домывала пол. Почувствовав пристальный взгляд с улицы, она разогнула затёкшую спину, из-под ладони взглянула на старика и сразу его узнала.

– Макар, никак ты? – Нина была рада неожиданной встрече. – Ты заходи, Макар.

У Кружилина запершило в горле, неловко кашлянув в кулак, вошёл в ограду.

– Здравствуй, Нина! – хрипло пробормотал он.

– Здравствуй, Макарушка! – улыбнулась старуха, продолжая растерянно держать в руках тряпку.

Под её откровенно любопытным взглядом Макар почувствовал неловкость, мысленно костеря себя за пижонского вида шляпу.

– Ой, чего это я стою? – спохватилась Нина, спешно вытерла руки о фартук и тотчас скрылась в доме. Вышла уже в нарядном платье и с запотевшим кувшином. – Макар, попей с дороги холодного кваску. Свойский.

Кружилин трясущимися от волнения руками достал из портфеля цветы.

– Это тебе.

Нина поднесла слегка увядший букетик к лицу, задумчиво произнесла:

– Солнцем пахнет.

Макар жадно сделал несколько глотков из кувшина. Вкусный и ледяной напиток быстро охладил нутро, в голове прояснилось, и старик подумал о том, что настало самое время сделать предложение.

– О, Макарка! – вдруг услышал он весёлый мужской голос. – Какими судьбами! По делу али как?

Макар от неожиданности даже поперхнулся, увидев входящего в калитку живого Ваньку. Рядом он вёл велосипед с прикрепленными к раме удочками, на руле висел кулан с трепыхающимися красными карасями, чешуя которых золотом горела на солнце.

– Сейчас нам Нинок рыбки быстренько сварганит, – громогласно объявил Ванька. – Посидим друженько, за жизнь поговорим! Давненько не виделись!

Скоро они сидели под яблонями за столом. Выпили по первой. Нина, пригубив коньяку за встречу, пристроилась неподалёку чистить рыбу. Сноровисто работая ножом, она с улыбкой поглядывала в их сторону, прислушиваясь к оживлённому разговору. Потом старики выпили по второй, а Нина ушла в дом готовить рыбу, наказав:

– Вы уж тут как-нибудь без меня продолжайте. Скоро вернусь, не скучайте, мальчишки!

Бегло взглянув на скромный букетик, на скорую руку пристроенный в пол-литровую банку, Иван как бы невзначай поинтересовался:

– А скажи мне, пожалуйста, Макарка, чего это ты вдруг вздумал цветы чужой бабе дарить?

Кружилин, не ожидавший услышать подобного вопроса, сходу дать внятного ответа не смог и заметно смутился.

– Да ты никак свататься приехал? – осенило Ваньку, и он даже привстал со скамейки. – При живом-то муже?!

– Я думал, ты уже давно помер, – стал оправдываться Макар. – Чего ж она одна будет свой вдовый век куковать? А у меня хорошая квартира, опять-таки достаток.

– Ты что же это, гад, похоронил меня уже? – разозлился Иван. – Ты смотри, что творишь?! Женой моей захотел попользоваться!

Когда хозяйка вышла из дома с горячей сковородкой, где шкворчали жареные карасики, распространяя окрест аппетитный запах, сцепившиеся старики катались по траве, громко кряхтя и матерясь. Нина выронила сковороду, схватила мокрую тряпку, которую недавно повесила сушить, и принялась ловко охаживать драчунов.

– Вот я вас, дураков! Совсем из ума выжили! Ни стыда, ни совести!

Соперники, наконец, расцепились, тяжело дыша, поднялись, не глядя друг на друга. Макар взял свой портфель, молча направился к калитке.

Ванька поддел ногой валявшуюся в траве шляпу, зло крикнул:

– Не забудь забрать свой паршивый чепчик! Жених хренов! – и ушёл в дом.

Макар на ходу подхватил измятую шляпу, водрузил на голову и размашисто зашагал на станцию. Оторванный рукав пиджака болтался, будто подбитое крыло у птицы.

– Всё из-за этого грёбаного интернета, – хмуро бормотал старик. – Будь он неладен.

Оставшись одна, Нина прижала ладони к лицу и, сокрушённо качая головой, с улыбкой произнесла:

– Это ж надо, чего удумали! Да я не помню, чтобы из-за меня парни в молодости дрались. А тут целое побоище устроили. И кто? Ста-ри-ки!

Алкаш несчастный

– Чтобы ноги твоей в доме не было, алкаш несчастный! – кричала жена Тоська на всю улицу. – Пропойца! Это надо ж так налакаться, чтобы несмышлёные ребятишки на тачке привезли?! Изувер! Паразит! Дорвался до пойла, как поросё до корыта. Да пропади ты пропадом!

– Тось, ну ты чё? – неумело оправдывался её муж Васька по прозвищу Торопыга. Он босиком стоял перед крыльцом, в растерянности переминаясь с ноги на ногу: низкорослый, но крепко сбитый мужичок в майке-алкоголичке. – Мы ж не просто так пили, а по делу.

– Ты не чокай, Торопыжка хренов! – бушевала Тоська, худощавая бабёнка лет сорока. – Хоть бы о Ленке подумал, прежде чем за стакан браться! Как ей теперь людям в глаза смотреть, когда родной отец отпетый забуддыга?! Девка на выданье, а тут такое позорище!

Она схватила грязный сапог, в котором её «забуддыга» и ещё один «деятель» вчера тайком продали машину навоза дачникам, и со всей силы швырнула в его сторону.

– Сапог-то тут при чём? – всерьёз обиделся Торопыга, поднял и прямо на босую ногу надел. – Кинь другой.

– Я тебе кину, – грозно заявила Тоська, – так кину, что ты у меня ср...ть смешаешься!

Тогда Васька сердито снял сапог, надел его на кол в ограде и, заложив руки за спину, босиком отправился известным маршрутом – на другой конец улицы к престарелой матери.

– Иди, иди! – разорялась Тоська вслед. – Давно ты на её нервах не играл. Поди уже соскучилась по своему долдону. Матери привет!

Старуха Марфа жила отдельно. Сколько сын со снохой ни уговаривали к ним перебраться, она оставалась неприступной.

– Туточки я родилась, туточки и умру, – упрямылась старуха и жалостливо сморкалась в несвежий платок, как будто её принуждали насильно.

– Как знаешь, мамань, – сдался Васька. – Наше дело предложить.

Марфа, насколько хватало сил, привычно вела свой небольшой огородик, держала козу Маньку, да ещё умудрялась подсобить семей-

ству непутёвого сына деньгами. Пенсия у неё была хоть и небольшая, зато стабильная. Работу в деревне днём с огнём не сыщешь, оттого мужики всё больше мотались на заработки в столицу. А Ваську разве пошлешь? Без женского пригляда обязательно сопьётся, да и сгинет в чужом краю. А у него, что ни говори, а двое детишек: десятиклассница Ленка и бабкина слабость любимица Маруська, которая перешла в четвёртый класс.

Появление во дворе великовозрастного сынка в столь затрапезном виде старуха встретила буднично, только горестно вздохнула и бессильно опустила на порог.

– Эх, Васька, Васька, совести у тебя ни на грош, – завела она привычную «песнь». – Сдохнешь ведь, как собака, где-нибудь под забором. Кто бы тебя надоумил бы горемыку. Да видно, такой человек ещё не родился. Уж на что отец Иннокентий считается прозорливым, да и тот не смог тебя на ум наставить.

В позапрошлом году Васька с матерью ездили за двести километров в мужской монастырь. В богоугодном заведении обретался престарелый монах, о котором шла молва, что лечит от алкоголизма и всякой бесовщины. Долго он что-то наедине втолковывал Ваське, а потом рассердился и стукнул его по лбу посохом. Видно, мозги у горького пьяницы настолько задубели от алкоголя, что даже богоугодному человеку не под силу было вправить.

– Что я, монах что ль, каждый день читать молитвы, – резонно возразил Васька, – как поп советовал?

– Это бес в тебе говорит.

– Мамань, ну ты тоже скажешь? – обиделся Васька.

– Ты морду-то свою пропитую не вороти, – упрекнула Марфа. – Как дальше жить-то думаешь?

– Как-нибудь проживу, – буркнул Васька.

– Оно и видно, что как-нибудь, – со вздохом произнесла мать. – А надо достойно, чтобы себе в радость и людям.

– Тоже мне взяли моду учить, – проворчал Торопыга. – Даже эта твоя столетняя Параня, которая надьсь меня заговаривала, и та туда же. Врёт она всё, притворяется, что сызмальства знает заклинания

на это дело... – Васька звучно щёлкнул пальцем по своему кадыку. – А ты ей за враньё аж тыщу отвалила! Не жирно ей будет?

– Так она же для тебя, дурня, старалась! – всплеснула руками мать, потом скорбно сложила сухонькие ладошки на груди. – А ты её поносишь.

– Никого я не поношу, – с досадой ответил Васька, которому до колик в животе осточертело выслушивать от разных умников постоянные нравоучения. – Ты, мамань, лучше дай мне какую-нибудь обувку, пойду сарай почию.

Марфа охотно кивнула на старые разбитые ботинки у порога, с чувством перекрестилась:

– Слава богу, хоть какое-то занятие себе нашёл!

Молча сунув босые ноги в отслужившую срок обувь, Васька с хмурым видом отправился заниматься хозяйственными делами. Только он свернул за угол сарая, как на соседнем участке раздвинулись зелёные стебли подсолнухов, и оттуда высунулась растрёпанная голова друга детства Левонтия.

– Эй, Торопыга, – змеем зашипел он и призывно махнул рукой. – Иди сюда, у меня самогон есть.

Васька оглянулся и мигом юркнул в жёлтые пропахшие солнцем подсолнухи.

Проснулся Торопыга на сене в собственном сарае, который днём собирался ремонтировать. Сквозь зияющую брешь в крыше точила блёклый свет далёкая луна.

Голова была, словно чугунная, и раскальвалась с похмелья. А тут ещё вспомнил о словах своего дружка, когда они пили в огороде самогон, закусывая огурцами и помидорами прямо с грядок. Захмелевший Левонтий и надоумил, что Тоська, мол, нашла себе хахалю, вот и лается каждый день, чтобы отвадить Ваську от дома. А пока он гостует у родной матери, она любезничает да вовсю куврыкается с тем хахалем в кровати, посмеиваясь над недогадливым муженьком.

– Курва! – прохрипел Торопыга, выиграла ревность: – Не бывать такому!

Он тяжело поднялся, нащупал у простенка вилы и по росистой траве задами направился к своему дому. В прохудившихся ботинках хлопала вода, только Ваське было не до этого.

– Щас вы у меня не так запоёте, голубки, – бормотал он и крепче сжимал отполированный трудовыми мозолями черенок вил, которые в скором времени должны были стать орудием убийства.

На месте Васька перелез через ограду и затаился возле веранды. Ждать пришлось на удивление недолго: в саду зашевелились смородиновые кусты, показалась тёмная мужская фигура, которая крадучись двинулась к окну, где открывались створки.

«Всё предусмотрел, сволочь, – зло подумал Торопыга. – Но ничего, щас ты у меня кровью умоешься. А потом и с Тоськой разберусь».

Васька выставил перед собой вилы и кинулся к незнакомцу. Но тот не стал дожидаться расправы, а ловко сиганул обратно в смородиновые кусты, Васька за ним. Чувствуя, что не догонит, Торопыга метнул вслед улепётывающему любовнику вилы. Мужик предусмотрительно упал на руки, и острые зубья глубоко вошли в землю возле головы. Васька подбежал, прижал его коленом к грядке и хрипло пообещал:

– Всё, жучара, отжил ты своё на белом свете.

– Дядь Вась, – внезапно взмолился любовник, – за что?

– Герка, ты что ль? – Торопыга угадал по голосу соседского парня, который дружил с его Ленкой.

– Кто ж ещё!

– Гера-а, – неожиданно раздался неподалёку взволнованный голос самой Ленки, – ты где?

– Меня не было, – скороговоркой предупредил Васька и тотчас растворился в ночи, не забыв прихватить с собой улику не состоявшегося преступления.

В очередной раз Торопыга проснулся от чувствительного тычка в бок старческим сухим кулачком.

– Васька, вставай, – склонилась над ним мать, – поедем в областной центр кодироваться.

– Куда-а? – несказанно удивился Торопыга и сел на сене, вытаращив на неё глаза. Но мать, судя по всему, не шутила, уже с утра была

приодета по-праздничному: белый платок, зелёная тёплая кофта, тёмная юбка и чёрные мужские ботинки. – Это с какого перепугу?

– Сказать, – язвительно поинтересовалась Марфа, – или сам догадаешься?

– Нечего тут гадать, – хмуро произнёс Васька, вспомнив напуганного до смерти Герку, который теперь проболтался Ленке, она нябедничала матери, а та свекрови. – Сарафанное радио в действии.

– Собирайся, – вновь повторила старушка и твёрдо поджала морщинистые губы, что однозначно говорило как о решённом деле, не подлежащем обсуждению.

Васька от вина хоть и не просыхал, но мать бесконечно уважал, и чтобы обидеть её плохими словами и уж тем более поднять на неё руку, такого за ним никогда не водилось.

– Щас, мамань, – неохотно согласился он, решив как можно скорее закончить с этим безнадёжным делом. – Оденусь.

В частной наркологической клинике их встретили, как родных. Хорошенькая медсестра в коротеньком белом халатике доверительно сообщила о том, что они приняли правильное решение, обратившись в одну из лучших клиник в стране.

– Семён Семёнович замечательный нарколог, специалист своего дела, кандидат медицинских наук, – мило щебетала она. – Который год практикует за границей. Не переживайте, он обязательно вылечит вашего сына от пагубного пристрастия.

Васька с хмурым видом стоял рядом, с нетерпением ждал, когда комедия закончится и можно будет вернуться домой и похмелиться.

– Бабушка, вы на сколько лет намерены кодировать сына? На десять? Это вам обойдётся в скромненькую сумму, минутку... всего лишь двадцать пять тысяч рублей.

Мать суетливо извлекла из-за пазухи носовой платок, развязала тугий узел и, слюнявя заскорузлые пальцы, принялась отсчитывать мятые купюры, смешно шевеля губами.

– Как раз хватило, – с облегчением вздохнула Марфа и, скомкав пустой платок в кулачок, доверчиво произнесла: – На похороны копила, да чего уж теперь.

И вдруг Ваську такая злость на себя взяла, что аж навернулись слёзы. Он бесцеремонно стрёб со стойки купюры и сунул в свой карман.

– Мамань, – решительно заявил он, – пошли отсюда!

– Мужчина, – задыхнулась от возмущения медсестра, – верните деньги на место! Сейчас полицию вызову!

– Мамань, сам пить брошу! Если хоть раз возьму стакан, руки на себя наложу! – страшно поклялся Торопыга, не обращая внимания на медсестру. – Веришь?

У матери задрожали губы, заплакала:

– Верю, сынок.

Всякий раз, бывая в деревне, я вспоминаю эту удивительную историю. Глядя на добротный кирпичный дом под современной кровлей с пристройками, сразу понимаешь, что живёт здесь крепкий хозяин. Заматеревший Васька ходит гоголем в окружении многочисленных внуков, приучает с малолетства к труду, расплнела и расцвела Тоська. А вот старухе Бог не дал долго пожить в счастье, умерла от рака через год после той незабываемой поездки в город. Говорят, что все наши болезни от переживаний.

Зубная фея

У Серёги Кулеватова разболелся зуб. И ладно бы дело случилось днём, когда можно было по-быстрому смотаться на машине в районный центр в поликлинику. Уж там-то его бы в беде точно не оставили. Да, видно не судьба.

Серёга с вечера не находил себе места, держась за щёку, бродил по двору, как неприкаянный, – впору хоть самому на стену лезть. А в полночь, когда из-за облаков вышла полная луна и вокруг всё осветилось холодным фиолетовым светом, боль усилилась так, что он принялся убаюкивать пострадавший зуб, заунывно мыча, словно чукча-шаман.

Жена Ольга, до смерти перепугавшись, что супруг тронется умом из-за невыносимой боли, чего только не предлагала: Серёга и какие-

то непонятные зелёные таблетки глотал, и рот-то он полоскал отвратительной смесью, состоявшей из соды, нескольких капель йода и столовой ложки соли, и чеснок-то за щеку прикладывал. Всё как мёртвому припарка. На что уж Ольга прижимистая, а тут прямо проявила невероятную щедрость – налила полстакана водки и чуть ли не силком заставляла полоскать рот. В другое время Серёга не отказался бы и с удовольствием «сполоснул». А сейчас только отвратительно скривился и так зыркнул на жену, что она в момент исчезла с его глаз, затаившись в доме до лучших времён. И смех и грех.

Промучившись кое-как до утра, Серёга поехал в поликлинику на приём.

Зубным врачом там оказалась миловидная грудастая девица в белом коротком халатике, который сидел на ней до того туго, что того и гляди разойдётся по шву. От её спелого сочного будто наливное яблоко, вида у Серёги само собой перестал болеть зуб. Совсем-то он, конечно, не прошёл, просто потрясённый пациент временно забыл, что он вообще у него есть. Да что там зуб? Серёга сам лишился дара речи и только лупил глаза на это белоснежное чудо с рыжими волосами, трогательно выбившимися из-под медицинской шапочки. Потому и не сразу ответил, когда докторша его о чём-то спросила. И лишь когда она в очередной раз более громко повторила вопрос, Серёга в замешательстве торопливо разинул рот и указал туда заскорузлым от ежедневного труда пальцем, промывчав что-то нечленораздельное.

– Понятно! – невозмутимо ответила докторша. – Будем лечить.

Глядя на строгое лицо девицы, которое ей совсем не шло, Серёге захотелось чем-нибудь развеселить эту царевну Несмеяну, так сказать, блеснуть перед ней своим интеллектом. Испокон веков ведь всем известно, что девчат привлекают парни весёлые да остроумные. А тут как раз и удачный момент подвернулся: докторша нацепила марлевую маску, взяла пухлыми пальчиками с алыми ноготками свой «шанцевый» инструмент и уже намеревалась было пустить его в дело.

– Минуточку, – неожиданно сказал Серёга, загадочно глядя прямо в её большие красивые глаза, – на ум пришёл один смешной анекдот.

Пациент спрашивает в кабинете у стоматолога: «Доктор, а почему вы не вымыли руки перед лечением?» А врач ему на это и отвечает: «За-чем? Вы ведь всё равно их оближете».

Под маской не было видно выражения её лица, а вот глаза мгновенно округлились, брови изумлённо взметнулись вверх. Вот по этим-то признакам Серёга сразу и догадался, что поразил недоступную девицу в самое сердце.

– Могу ещё рассказать, – оживился он.

– Лучше помолчите, – сердито посоветовала докторша и так начала орудовать у него во рту этой штучкой, что острая боль пронзила до самого мозга. Какое уж тут развлечение, если вмиг отшибло память.

Пациент испуганно поджал мошонку, глаза у него сделались оловянными. Но в таком состоянии он находился недолго: прямо у его бледного лица неожиданно оказался нескромный вырез халата, за которым волнительно вздымалась шикарная грудь. От мысли, что при желании он может свободно её поцеловать, даже не приподнимаясь с места, и, должно быть, от аромата заграничного парфюма у Серёги приятно закружилась голова. Он с трудом сглотнул вдруг подступившую к горлу слюну.

– Не кушали, наверное? – въедливо поинтересовалась докторша и даже перестала сверлить зуб.

Серёга, не закрывая рта, нервно мотнул головой.

– Ох уж эти мне мужчины, – непонятно к чему проворчала докторша, повернулась к нему спиной, нагнулась и долго возилась у некоего приборчика.

Не сводя зачарованных глаз с её аппетитной попы, Серёга явственно почувствовал, как сердце в его тщедушной груди сдавило, потом его бросило в жар и кровь прильнула к лицу. Такого с ним ещё никогда не случалось. Он заёрзал в кресле.

– Да вы так не переживайте, – обнадёжила докторша, обернувшись, – это аспиратор, чтобы слюну отсасывать.

Кулеватов что-то промывчал в ответ, лишь бы не молчать. А то ещё подумает, что он обыкновенный трус, и так уже что-то нелюбопытно

ятное высказала. Внезапно Серёга вспомнил, как однажды на работе подвыпившие мужики болтали: мол, есть такие девицы, которые специально завлекают столь бесхитростным, но зато действенным способом приглянувшихся парней.

Серёга за всю совместную жизнь с Ольгой ещё ни разу ей не изменил. Хотя бывало всякое: и ругались почём зря, и чуть ли не до рукоприкладства дело доходило – уж больно она бестолковая и скаредная на деньги, – но чтобы изменить, нет, такого не было. В его забубённой головешке даже мыслей таких никогда не возникало. Но сегодня надо быть последним дураком, чтобы отказаться от такого удовольствия, когда докторша сама напрашивается. По одной её стати видно, что любвеобильна, как порох. Да и рассудить если здраво, то один раз вообще-то не считается изменой.

Пока Серёга так думал, докторша закончила работу и впервые открыто улыбнулась, сняв маску.

– Вот и всё. Стоило из-за этого нервничать.

– Спасибо, – промямлил Кулеватов, всё ещё находясь в противоречивых мыслях, и тихо вышел из кабинета.

Дома Серёга первым делом направился к клеткам, где содержались кролики. В былые времена они водились у него десятками. Теперь остались всего два: кроль да крольчиха, которая должна была со дня на день окотиться.

Дверь веранды была легкомысленно прикрыта на замочек – жене, должно быть, срочно понадобилось отлучиться к соседке или приспичило в туалет. Отсутствие благоверной было как нельзя кстати. Серёга рысью принёс из сарая мешок из-под картошки, воровато оглядываясь, сунул в него кроликов. Затем мешок с трепыхавшейся живностью забросил в багажник и торопливо выехал со двора, пока не появилась Ольга и не обнаружила пропажу.

В городе Кулеватов продал кроликов на рынке за полцены. Если честно, он особо и не торговался, сколько предложили, за столько и отдал. В другое время Серёга ни за какие коврижки бы не расстался со скотной крольчихой, которая уже на днях могла принести ему, почитай, целое семейство крольчат.

Но сегодня был случай особый. На вырученные деньги неожиданно разбогатевший Кулеватов отоварился в местном супермаркете, как «лондонский денди», размашисто оплатив покупку: шикарный букет чайных роз, дорогую бутылку заграничного вина в оплётке из виноградной лозы и коробку шоколадных конфет размером с чемодан.

Весь день перед Серёгиными оголодавшими глазами маячила очаровательная мордашка докторши. А теперь, когда между ними всё должно было уже скоро совершиться, он будто в яви вдруг увидел её пухлое обнажённое тело, мягкое и сдобное, как у девушки на известной картине «Обнажённая Даная», старая репродукция которой у него висела в простенке в спальне. Серёга мечтал, как завалится с докторшей в кровать, как умело приласкает жадное до любви её горячее тело, как проявит чудеса сноровки в исполнении сексуальных утех, что поражённая девица без разговора согласится стать его любовницей до скончания века. Вот что значит вовремя подсуетиться!

Сидя в машине, благодарный пациент дождался, когда докторша вышла из поликлиники. Он живо поплевал в ладони и перед зеркалом заднего вида быстро пригладил жёсткие волосы, топорщившиеся на голове, словно пружины от матраца.

– Вы? – очень удивилась девица, когда он неожиданно появился перед ней со своим джентльменским набором. При этом её брови высоко взметнулись, как тогда в зубном кабинете.

– Я, – широко заулыбался Серёга, сходу определив по уже известным признакам, что она сильно ему обрадовалась, и протянул цветы. – Мадемуазель, это вам.

– Да вы меня никак хотите соблазнить? – то ли догадалась, то ли в шутку поинтересовалась докторша.

«Надо ковать железо пока горячо», – быстро подумал Серёга и, желая закрепить наметившийся успех, весело признался: – Имею на вас виды. – Помолчал, глядя в её округлившиеся глаза, и добавил: – На сегодняшнюю ночь.

– Мужчина, – сказала, сердясь, девица, – не хамите!

Серёга ещё не понял, что его культурно отшили, протянул конфеты и доверительно произнёс:

– Вы не подумайте чего такого, я зла вам не сделаю.

– А вы нахал, однако! – с насмешкой обронила докторша, но коробку взяла.

Серёга решил, что если ещё немного поднажать, то аппетитная девица точно не устоит – сомлеет, как говорят у них в деревне.

– Я же видел, как вы утром передо мной задом крутили.

Что хотела ответить озадаченная докторша на его справедливые слова, он так и не успел узнать: возле них остановилась иномарка, из неё вышел полный мужчина с блестевшими на солнце залысинами, нарядно одетый в белую рубашку с дорогими запонками и с ярким красным галстуком.

– Что такое? – спросил он, окинув любопытным взглядом Серёгу.

– Презент от пациента, – торопливо объяснила докторша, кивнув на цветы и коробку в её руках.

Мужчина бесцеремонно взял у Серёги бутылку и, обращаясь к девице, сказал:

– Лена, поблагодари его и едем.

– Так вы замужем, что ль? – потерянно спросил Серёга. – А почему без кольца? У него вон есть.

– Вам-то, собственно, какое дело? – неожиданно, раздражаясь, спросил мужчина.

Серёга, конечно, мог бы ему пару раз съездить по его сытой физиономии, так сказать в порядке профилактики, да что от этого толку. Ещё и на пятнадцать суток загремишь. Ему было искренне жаль кроликов, потраченных денег, жену Ольгу, которая имела больше прав на цветы и коробку конфет. Сели бы с ней вечером за стол, хоть раз в жизни как нормальные люди распили вино, и впереди его точно ждала бы волшебная ночь.

– Ошибочка вышла, – угрюмо пробормотал Серёга и взял у него бутылку назад.

– Что за хамство? – возмутился мужчина.

Серёга сокрушённо махнул рукой и поплёлся к машине. Он не видел, как докторша неприязненно сморщила свой курносый носик,

словно вокруг неё всё провоняло от деревенского парня кроличьим запахом, только расслышал:

– Ненормальный какой-то!

Не доезжая дома, за околицей неудавшийся любовник остановился, пальцем вдавил внутрь пробку и прямо из горлышка жадно выхлестал вино. Пустую бутылку выбросил в окно.

Во дворе из-за клеток, где недавно находились кролики, выскочила раскосмаченная Ольга.

– Серёня, – заголосила она, словно по мёртвому, – кроли сбежали! Уж и не знаю, как они крючочек отворили? Я уже и двор обыскала, и вокруг всё, нигде нет! Люди нынче всякую совесть потеряли, как пить дать, поймают и сожрут. Чужим куском не подавятся! Небось уже съели? – всхлипнула она.

– Ага, – недобро усмехнулся Серёга, – зубная фея.

– Кто? – переспросила жена, звучно сморкаясь в платё на груди.

Серёга сделал вид, что не расслышал, и пошёл в дом. Губы у него дрожали, как бывает у мужчин, когда они из последних сил крепятся, чтобы не заплакать.

Приблудная собака

К нашему дому приблудилась бездомная собака. Изрядно исхудавшая, со свалывшейся рыжей шерстью, она увязалась за бабой Полей. Виновато заглядывая ей в глаза, дворняга уныло мела хвостом пыль, словно извиняясь за свой непрезентабельный вид.

– Ой ты господи! – всплеснула сухонькими ручонками сердобольная баба Поля, развернула газетный кулёчек и отсыпала под кустик сирени на лист лопуха куриных косточек. – Наказание ты моё. Откуда ж ты взялась-то, милая?

Бабе Поле восемьдесят пять, но на свои годы она не выглядит. И не потому, что время над ней не властно, а просто сохранилась так – прокопчилась и высохла на солнце, будто мелкий щурёнок. Я ни разу не видел, чтобы она сидела на лавочке, сложа руки, как другие пенсионеры, которые только и знали, что распускать сплет-

ни про соседей. Баба Поля обязательно занималась какими-никакими делами: подметала, цветы сажала, мусор убирала. Да мало ли других дел во дворе найдётся, было бы желание.

Лет двадцать назад старушку постигло глубокое горе – какие-то отморозки убили её единственную дочь, которая вечером возвращалась с работы. Баба Поля живёт совсем одна в своей старенькой двухкомнатной квартире. Последний раз здесь ремонт проводился так давно, что она и сама не помнит, когда это было. Теперь делать не для кого – дочь замужем не была и наследника не оставила.

Но на жизнь баба Поля не жалуется, деньжата у неё кое-какие водятся – пенсия да ещё надбавка за преклонный возраст. Только всё равно питается она довольно скудно, поддерживая лишь присутствие духа в своём немощном теле, будто ярая монашка. Она и одевается соответственно – разношенные ботинки, тёмная невзрачная юбка, коричневая вязаная кофта и непонятного цвета выцветший платок.

Основное занятие бабы Поли, как я понимаю, – чрезмерная забота обо всех окрестных бездомных кошках. На это уходит практически вся её пенсия, ну ещё на оплату ЖКХ. Всегда живая, но совсем не разговорчивая на людях, баба Поля только с ними и отводит душу.

Кошки специально подстерегают бабу Полю с гостинцами. Они сидят на деревьях, прячутся под кустами, в траве, внимательно наблюдая за открытой дверью подъезда. Сильно же они удивились, увидев, что какая-то приبلудившаяся собака нагло уплетает предназначенные для них вкусные косточки. Терпеть такое кошки были не намерены и тотчас с грозным видом выскочили из укрытия, намереваясь задать нахалке отменную взбучку.

– Как вам не совестно, – принялась стыдить их баба Поля, осуждающе покачивая головой. – Еды здесь всем хватит, а мало будет, ещё принесу.

Собака по-быстрому доела остатки, не надеясь на порядочность кошачьего общества, и жизнерадостно завильяла хвостом, как бы говоря – жизнь налаживается.

– Наелась, моя хорошая? – поинтересовалась баба Поля.

Поглядывая на добрую старушку весёлыми глазами, собака сытно облизнулась розовым язычком и благодарно улыбнулась.

– Вот и славно, – ответила баба Поля и ласково погладила её по голове.

Добродушная собачка во дворе сразу всем полюбилась: мелкие ребятишки играли с ней в догонялки, в кучу-малу, в пограничников. Груднички в колясках находились под её особым покровительством – лишь только какая-нибудь залётная кошка или собака появлялись рядом с непонятными намерениями, она вмиг кидалась на них и сердито ругалась до тех пор, пока расстроенные чужаки не убирались восвояси.

– Баб Поль, – однажды обратилась соседка Ксюша, молодая мама, чей трёхлетний малыш Валерик, страдающий ДЦП, особенно радовался смешной собачке, прямо закатывался от хохота, глядя на её выкрутасы на задних ногах, и тянулся погладить, – надо Шарика отвезти к ветеринару, чтобы какую-нибудь заразу от него вдруг не подхватить.

– Разве я против, – покладисто ответила баба Поля.

Пёсика с почестями посадили в такси, словно барина, и повезли в ветеринарную клинику. Там его обследовали, сделали соответствующие прививки и вынесли вердикт – здоров.

– Но всё-таки я вас слегка разочарую, – сказал с улыбкой пожилой ветеринар. – На самом деле это никакой не Шарик, как вы его тут величаете, а дама собственной персоной.

– Тогда назовём её Шаруня, – не расстроилась баба Поля и оживлённо добавила: – Подружкой нам будет.

Они с Ксюшей накупили в ветеринарной аптеке обеззараживающих шампуней, вернулись домой и тщательно выкупали собачку в ванне, которую любезно предоставила баба Поля. С того дня Шаруня поселилась в нашем пятиэтажном доме на законных основаниях. Место ей выделили в подъезде под лестницей, на мягком коврике. Собственно баба Поля могла и у себя поселить милую собачку, но она выше второго этажа категорично отказывалась подниматься.

Как впоследствии оказалось, оно и к лучшему: своих Шаруня в подъезд пропускала беспрепятственно, а вот с чужаками обходилась

довольно строго. Чуть заслышав незнакомые шаги, она настороженно приподнимала голову и внимательно наблюдала за дверью. Если человек входил с добрыми намерениями, собака опять клала голову на лапы и продолжала мирно посапывать. А вот разные сомнительные личности в виде любителей выпить в подъезде, зимой подымить сигаретой на ступеньках в тепле или, не дай бог, уколотся вызывали у Шаруни стойкое отвращение. Она мгновенно вскакивала, перекрывала собой вход на лестничную клетку и начинала грозно рычать, скаля клыки и глядя исподлобья на самозванцев. Как она их различала – непонятно. Но скоро умная собачка всех хулиганов отвадила шляться по чужим подъездам и «свинячить».

Жильцы нашего дома души не чаяли в Шаруне, дивясь её сообразительности, которая не у всякого человека встречается. Мы специально для неё собирали со стола разные косточки и при всяком удобном случае старались угостить чем-нибудь вкусненьким. Наша признательность не знала границ – Шаруня поправилась так, что стала похожа на толстую копчёную сардельку.

Но всё ж как мы ни старались угодить благодарной собачке, её главной привязанностью оставалась баба Поля – куда бы старушка ни шла, следом за ней хвостиком увязывалась Шаруня. А у бабы Поли, кроме верной собачки, на всём белом свете никого больше и не было. Эти двое понимали друг друга без слов – так бывает, если кого-то сильно любишь.

Как-то мы с женой на машине подъехали к дому. Прошёл ураган, повсюду валялись сучки и ветки от старых могучих тополей, которые росли неподалёку.

– Ты смотри, – удивлённо воскликнула жена, глядя широко распахнутыми глазами куда-то в сторону. – Это надо же!

Я проследил за её взглядом и от изумления потерял дар речи – такого мне ещё видеть не приходилось. Баба Поля подбирала с земли сучки и складывала их в одно место, при ней, как всегда, находилась Шаруня. Только она не бездельничала, а деловито брала ветки зубами и тоже сносила их в общую кучу. Ни собака, ни её хозяйка, занятые столь важными делами, не обратили на нас внимания.

Но оказалось, что даже у такой умной собачки нашлись недруги.

Однажды вернувшись с работы раньше обычного, я с удивлением застал во дворе странную картину: возле цветущей сирени толпились взрослые и ребятишки. Слышался надрывный плач. Предчувствуя нечто ужасное, я подошёл и заглянул через головы: на коленях стояла, горестно склонившись, баба Поля и нежно гладила трясущимися шершавыми руками голову лежащей на траве Шаруни. Собака тяжело дышала, вздымая сразу как-то ввалившимися боками, и жалобными глазами смотрела на хозяйку.

– Что случилось? – спросил я дрогнувшим голосом.

– Отравили, – тихо ответила баба Поля. На неё было страшно глядеть: загорелое лицо вдруг стало пепельным, выцветшие серые губы прыгали, не находя себе места, по морщинистым впалым щекам катились слёзы. Она беспомощно взглянула на меня и почти беззвучно прошелестела: – Как же так?

Шаруня оглядела собравшихся вокруг неё людей печальными глазами. И столько было в них боли, мольбы спасти её от надвигавшейся смерти, что даже взрослые, которые из последних сил крепились, заплакали. Что уж там говорить о ребятишках, которые прямо заревели. Так неутешительно было их горе.

А ещё я увидел в глазах безобидной собачки искреннее недоумение: за что с ней так безжалостно обошлись? Неужели она такое заслужила за свою верность?

Шаруня, прощаясь, в последний раз лизнула посиневшим языком руку своей хозяйки, у неё выкатилась мутная слезинка, будто у человека, и она умерла.

Собачку хоронили всем двором. В парке в укромном месте под зелёным кустиком выкопали глубокую могилу. Восьмилетний Валерик, неуверенно переставляя кривые ножки, трясясь худосочным тельцем, кое-как донёс сорванные с клумбы цветы и положил сверху на свежий холмик.

И такая меня ярость взяла, прямо не знаю, что сделал бы с теми отморожками. Назвать их людьми у меня язык не поворачивается.



Марина ГУСЕВА

Этюды

Чистый холст

Чистый холст, как первый выпавший снег, на который никак не решаешься ступить. Он завораживает своим молчанием. В нём есть глубина бесконечности и чёткая, спасительная ограниченность пространства. Как бодро и весело он отвечает на каждый удар кисти, как успокаивает и умиротворяет душу эта музыка.

Илья Машков, набирая учеников, не допускал их до живописи, пока они не проникнутся любовью к грунтованию холстов. Древний иконописец, прежде чем приступить к таинству создания образа, долго с молитвой и благоговением готовил доску.

К холсту нельзя подходить с мятущимся сердцем и разбросанными мыслями, к диалогу с ним надо готовиться, как к разговору с мудрым человеком, которого стыдно утомлять пустотой и скудостью суждений. Священный трепет перед чистым холстом знаком каждому художнику, ибо каждый знает, что ему предстоит долгий, порой мучительный путь, где редкие удачи будут казаться мимолётными солнечными зайчиками среди трудоёмких будней, волнений и тревог. Но вот уже сделан первый шаг, второй, третий...

О, если бы достичь такой высоты мастерства, которое уже не могло бы исказить твоё совершенство, чистый холст!

О творчестве

Как рождается картина? Неразгаданная, непостижимая тайна. К этой тайне можно только приблизиться сердцем и погружаться в неё постепенно, путём каждодневного труда, ошибок, разочарований и надежды, тесно связанной с верой. Профессия художника полна опасностей и искушений.

В этом мире, бездонном и таинственном океане жизни, он напоминает ловца жемчуга, который много раз опускается на глубину, чтобы достать драгоценную жемчужину. Как и ныряльщик, художник долго тренируется, ведь его рука должна быть послушным инструментом, выполняющим любое желание. Какое нужно выработать терпение, не позволяющее унывать и отчаиваться, когда долгое время попадаются пустые раковины, или среди сотни эскизов может оказаться лишь один, действительно достойный внимания. И, самое важное, перед погружением необходимо долго дышать чистым воздухом, кислородом, просить Божией благодати, напитаться ей, ведь в морской пучине могут таиться ядовитые хищники: страсти и пороки.

На Руси охотники за речным жемчугом перед выходом на промысел мылись в бане и исповедовались. Написанию иконы предшествуют пост и покаянная молитва. Единение с Богом – тот кислород, та живительная сила, которая охраняет творческого человека и наполняет всё его существо ни с чем не сравнимой радостью.

Радость творчества, как она ярко выражена в детях! Только они способны искренне восхищаться чужими произведениями и получать удовлетворение от своих, даже никем не признанных. «...Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное» (Мф. 18:3).

Художники, будьте, как дети! То, что дано было от рождения и потеряно, трудно, но можно собрать вновь. Искусству быть художником надо учиться всю жизнь.

Свобода творчества

Свободен ли художник в своём творчестве? Да. Должен ли он подчинять своё творчество чему-то и отвечать за него? Да. Есть ли в этом противоречие? Нет.

Ответственность художника так высока, что её приравнивают к ответственности судьи, выносящего приговор, и врача, сохраняющего или отнимающего наше здоровье. Действительно, от несправедливого приговора судьи страдают всё же единицы, хотя иногда единицы эти с нулями; руки врача приносят вред конкретному человеку или многим конкретным людям. Произведение искусства может убивать души тысячами в неограниченном времени и пространстве, причём степень этого воздействия или ослабевает, или возрастает в геометрической прогрессии благодаря определённым историческим обстоятельствам.

В Русском музее находятся два гениальных произведения: первое – «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи. Перед этой картиной люди стоят в глубоком молчании. Невозможно передать словами ту полноту чувств, которая возникает при созерцании бесконечного, глубокого ночного пространства, на ней изображённого. Сердце замирает перед величием Бога-Творца, перед целостностью и гармонией всего мироздания. Как легко дышится, кажется, всей грудью пьёшь живительный прохладный воздух. Сила таланта и художественного мастерства такова, что даже сейчас, когда краски от времени претерпели изменения, мы полны немого восхищения! Что же говорить о современниках Куинджи, воспринимавших это полотно как чудо, искавших за холстом лампочку, пытавшихся разгадать секрет изготовления необычных красок. Они светятся, и от этого свечения, действительно, нельзя оторваться, душа наполняется тихой радостью сопричастности к великому таинству жизни.

Перед другим уникальным явлением искусства, «Чёрным квадратом» Казимира Малевича, почти всегда беспокойно. Вполголоса ведутся споры. Часто слышатся фразы: «Шарлатанство! И я так смогу, возьму линейку, чёрную краску и...». В ответ – горячий ше-

пот: «Да ты попробуй, смоги, у тебя жизни не хватит сделать это!». Кто прав? Развитая интуиция подсказывает идти мимо, не останавливаясь, не всматриваясь в это даже из любопытства, ибо художник действительно талантлив. Квадрат не является квадратом, геометрической фигурой, символом нашей материальной реальности. Квадрат Малевича искажён с точностью до миллиметра, и цвет его не чёрный. Немалое время было потрачено на изготовление красок, способных при смешивании создать иллюзию бесконечности, но какой бесконечности? Этаким бесконечный тупик. Что может быть ужаснее?

Значит, всё-таки свобода у художника есть. Свобода выбора. И выбор этот более чем серьёзен – духовное движение вверх или вниз, к жизни или смерти.

Многие выдохнут с облегчением: «Как хорошо, что мы не художники!». Не расслабляйтесь! Опасность не всегда видима, как радиация. Вы, зрители, задумываетесь ли, куда направлен взгляд ваших глаз, кому отдано ваше сердце?

Осталось ответить на гул многочисленных голосов, раздающихся со всех сторон: «Уж нас это точно не касается. Мы не ходим на выставки, не читаем, не слушаем ваших рассуждений». Будьте осторожны! Вы в зоне особого риска! Незасеянное поле быстро зарастает сорняками, потом приходят вредители, захватывают это поле, и наступает духовное рабство.

Пленэр в Ждановке

Июль. Вечер. Пишу этюд на сельской улице. Вокруг полно зрителей: куры, две собаки, дети. Время от времени, тяжело ступая, проходит по своим делам наша хозяйка, баба Таня. Останавливается. Молча наблюдает. Вздыхает. Уходит.

Когда становится совсем темно, пьём чай на веранде, освещённой маленькой лампочкой, за окнами ни огонёчка, дома вокруг пустуют, и от этого кажется, что наш маленький корабль тихо дрейфует в космической бесконечности.

Баба Таня – человек обстоятельный и серьёзный. Утром ходили за грибами, она заставила выбросить все собранные волнушки, сказала, что этой дряни в их грибных местах не берут и варить их не позволит.

«Счастливая ты, – произносит она задумчиво, – выбрала труд лёгкий. Смотрю, с ребятами смеёшься, кисткой своей машешь». Я не спорю. Соглашаюсь. Груз той жизни, какую прожили эти простые люди, вряд ли кому-то из нас был бы по силам: война, тяжкая работа в колхозе за трудовни, домашнее хозяйство, дети, которые уже много лет глаз не кажут. Всё же осторожно замечаю: «Чтобы легко махать кисткой, надо долго учиться». Она заглядывает пытливо и внимательно в глаза и тоже не спорит, соглашается, качая крупной, совершенно белой головой.

Ночной попутчик

Собрались на выставку Марка Шагала в Москву спонтанно. После работы быстро договорились с билетами, завтрашние дела отложили на послезавтра. И поехали.

Начало пути прошло спокойно: быстро выпили чай, и после Мичуринска вагон постепенно угомонился и заснул. На какой-то очередной остановке громкий мужской голос с шумом искал своё место, потом возбуждённо рассказывал проводнице, как он чуть было не опоздал: машина, на которой ехали, сломалась, пришлось ловить попутку, бежал через пути и всё-таки успел в последнюю минуту. Все, кто проснулись, тихо порадовались за него и приготовились досматривать прерванные сны. Не тут-то было. Разместившись, пассажир тут же стал названивать по телефону какой-то Любе с пересказом только что слышанных нами событий, тут же обраставших некоторыми подробностями и интересными деталями, которых в первом варианте не наблюдалось. Соседи по купе начали возмущаться. Он быстро распрощался с Любой, стал извиняться, чем окончательно уже всех перебудил. Дальнейшие интерпретации своих приключений он уже сообщал очередному

абоненту совершенно жутким шёпотом, напоминая охрипшего экскурсовода, восторженно кричащего в микрофон. Мужчине с соседней полки, который отправился утихомиривать разговорчивого пассажира, пришлось выслушать историю ещё раз вместе со всеми нами, потому что опять был включён звук. Наконец-то прозвучали обнадёживающие слова: «Ну, всё! Всё! Спать пора!». И через три минуты раздался трубный храп, унять который уже не было никакой возможности.

В Москву прибыли совершенно разбитыми. Перрон встретил промозглой сыростью. Чуть подремали в зале ожидания до открытия. И вот она – «Третьяковка».

Выставка, как и ожидалось, оказалась грандиозной. Сразу разошлись, погрузились в другую реальность и в себя.

Отрезвил вдруг до боли знакомый голос: «Нет, ты посмотри, посмотри, здесь, за забором, ты это видел?». Вхожу в очередной зал, и что же? Наш ночной попутчик. В спортивном костюме, более чем оживлённый, просто ликующий. Схватил за рукав какого-то иностранца, гнёт его вниз, к левому углу картины, тот сначала близоручко щурится, потом распрямляется, хохочет, машет кому-то рукой, и вот уже их несколько, а в центре наш герой объясняет им что-то по-русски. Видно, они понимают, потому что бурно жестикулируют и улыбаются. У него опять звонит телефон, и до меня доносится: «Привет, Колян! Ты где? Бросай всё. Всё бросай, я сказал, и приезжай. А я, слышь, вчера думал, опоздаю...»





Сергей ДОРОВСКИХ

Их было трое

Рассказ

*Памяти моего прадеда
Якова Евсеевича Доровских*

Сентябрь радовал погожими днями. Осень словно готовилась, что Иван приедет домой. Потому и встречала, как могла, ласково, перед холодами отдавая последнее тепло. Иван приехал в отпуск вчера, времени у него не так много, и скоро нужно возвращаться на службу... но всё же он побудет дома, глотнёт наконец не чужого, а родного воздуха. Он прошёл войну, освобождал Европу. В редкие часы привалов родные места грезилась во сне. И после таких снов было тоскливо и горько, тянуло домой.

Он открыл глаза, не узнавая поначалу, где находится. Иван потянулся, привстал с панцирной кровати. Окно знакомо и тепло манило тёмно-багряными красками, Иван встал и подошёл к нему. Домотканый половик приятно покалывал босые ноги. Неужели он дома, стоит в одних кальсонах, зевает и почёсывает живот, располосованный до груди алым в рубцах шрамом...

«Словно праздник какой», – подумал Иван о красках сентября. Не раз с того дня, как ушёл на фронт, видел он осень, наблюдал её в разных городах и посёлках, но только теперь ей радовался.

Он прыгнул на панцирную кровать и замер, покачиваясь на пружинах. Ребячество, конечно, но ведь так часто представлял, что снова так сделает! Скрип, знакомый, домашний! Дотянулся до тумбочки, нащупал трофейный портсигар.

Иван будто помнил и не помнил день вчерашний, как прибыл на вокзал Воронежа, добрался до окраины и так удачно встретил полуторку, идущую в сторону Нижнедевицка. Его родное село Вязноватовка было по пути, недалеко от райцентра. И он ехал, узнавая по пути места. Выпрыгнув из кузова, прошёлся, размял ноги. С пригорка виднелась вся округа, и село с разбросанными по долине домиками лежало, как на картине. Если бы он умел рисовать, то писал бы картины только с этого места. Спуски, кусты душистой полыни, норки под камнями, а главное – белеющий, лежащий островками мел. Всё было знакомо...

Иван на кровати будто снова видел вчерашнюю дорогу. Как он, подняв сероватый, испещрённый белыми дырочками кусочек, вспоминал школьные годы. Когда-то в далёкой, будто не его жизни, в туманном детстве он был дежурным в классе и должен был принести к уроку мел... В их местах мел был повсюду, так что в тёплое время казалось, будто все взгорки усыпаны снегом. Нигде ничего подобного он не встретил, только на родине. Вчера он кусал подобранный кусочек, разжёвывал и глотал, словно сахар.

Ему дали отпуск! Пусть только теперь, к осени, хотя просился после Победы. Но ведь дали же! Как он этого ждал!

Иван уходил из родных мест мальчишкой, а вернулся возмужавшим офицером. Он даже и не представлял, узнают ли его в форме, с орденами и медалями, когда пойдёт по Вязноватовке. Четыре маленьких звезды блестели на каждом погоне, в них играло солнце.

Кого-то вчера встретил на сельской улице, помнил мутно. Да, было.

И вот утро... Неужели он дома?

«Да дома!.. Но словно погостить приехал», – усмехнулся он, закутив. С тумбочки неряшливо свисали ремни португали, он посмотрел на кобуру... В ушах зашумело от первых затяжек. Его форму и сапоги жена с вечера очистила, постирала, развесила-разложила у печи-голландки. А вот личное оружие его валялось небрежно, как сбросил и повалился лицом на кровать.

Пуская струйки дыма к потолку, Иван оглядывался, будто узнавал и не узнавал родной дом. Самовар, чугунный утюг, ходики. На гвозде висит шапка, сшитая из старого солдатского мундира времён империалистической войны. Отец, видать, так и ходит в ней в непогоду... Всё знакомо, вроде бы, и незнакомо при этом. Даже подумалось, что, может, приснилось и сон вот-вот растает, отменит его прибытие. Сейчас проснётся он по-новому, не здесь, а на службе, и всё исчезнет...

«Да нет, не приснилось», – подумал Иван и улыбнулся.

Он затушил окурок, потянулся, встал, покачиваясь, умыл лицо, шею, напился из рукомойника. Влага умягчила сушь во рту – вчера отец прямо с порога, обрадовавшись, предложил самогонки, и Иван на голодный желудок выпил железную кружку, налитую до краёв. Он велел отцу плеснуть ему именно так. Сказал гордо, что от стаканов давно отвык. Хотел перед ним показаться новым, заматерелым. А зачем? С недосыпа, с перевалок такое началось, что не остановить...

Помнил, как целовал жену, мать, они повисли на шее и пахли пьянщце, совсем уж близко и незнакомо одновременно, женским теплом и сладостью. Но лишь ступил сапогом в тепло, ноги стали ватными, и, закусив налитым в чашку варевом, что мать достала из печи, быстро уснул. Мутно помнил, как его несли. Мать с женой подняли шум: ругали отца, что, мол, сморил сына дурной сивухой. Но крики эти и осуждение были радостными, они кружились и таяли, как пух в жару. Стало душно, но и хорошо, радостно.

Да что же ещё было? Помнил, что жена Настя слегка толкала, гладила долго по плечу, волосам, говорила, что у них в доме событие важное намечается, и спать не будут, пусть шум и беготня его не тре-

вожат. Знали бы, какого шума и взрывов он наслушался, когда засыпал в землянках и окопах!

Вроде бы корова отелиться должна, или что-то... Так и уснул, слушающая причитания...

С рукомойника стучали по ведёрку капли. Холодная вода ободрила. И он по-армейски быстро, будто кто-то из командования мог войти, стал одеваться. Подошёл к зеркалу. По звёздам на погонах капитан, а по выправке генерал генералом! Но вот она, предательская седина, морщины на лице. И это... он? Да, он, крепкий, и всего-то ему тридцать три года... По сравнению с отцом – парень ещё совсем.

Но выглядел он всё же лет на сорок пять. И понимал, что годы войны закрутились, как бешеное колесо, и каждый из них стоил десятилетия. Иван видел, как старели за считанные дни. Видел, как сидели за ночь. И видел, как умирали на глазах, в секунду, за которую и не моргнёшь.

Нет, не об этом надо думать. Иван верил, что, приехав домой, родная земля поможет, научит, как уложить всё, что было, в какой-нибудь дальний сундук памяти, закрыть и выбросить ключ. Она сделает прошлое именно прошлым, как вёрсты пути, что остались позади и улеглись пылью дорог. Он отдохнёт, наберётся сил и вернётся к службе из отпуска новым, иным, сумевшим забыть. Но, стоя и глядя на себя, понимал: всё, что пережил, с ним навсегда. И родина, пусть тёплая и близкая, дом, жена, мать с отцом ничем уже не помогут.

Он снова сел на кровать, радости и след простыл. Иван приехал домой не тем, кем был. Ушёл одним, а вернулся... Так что же было вчера. Вспомни!

И вспомнил!

После отцовской кружки и маминого вкусного варева его немного перемкнуло. Немного ли? Он достал пистолет, стал кричать. На миг перед глазами вспомнился бой, словно видел опять огонь, реку Одер, мельницу на другом берегу, в которой засел снайпер... И он, побледнев, сжал в красной ладони ТТ, дуло колебалось, порой опасно чернея на родных. Он опрокинул стул, побежал в атаку и упал в дверях,

став непривычно мягким и слабым. Кто-то снял португую, раздел, лёг рядом. Ведь он снова шёл в атаку, или нет?

Нет.

Всё вчера смешалось, чёрт возьми. Тот самый страшный его бой, от которого остался длинный рубец на животе... он возвращался кошмаром снова и снова, и не всегда во сне.

Теперь Иван наконец вспомнил, как перепугал близких. А вдруг и дома он теперь один только потому, что все спрятались? И никто не рад, что он вернулся... таким? Чужим... Лишь слегка сохранившим облик сына и мужа?..

Иван обхватил голову и замер...

Дверь скрипнула, вбежала жена. Он даже испугался её и не поднимал лица.

– Вань! – сказала она. Но не испуганно, а с тихой просьбой. Может, он опять насочинял лишнего и вчера вовсе не дурачился, не выхватывал пистолет? Не было, дай бог, ничего этого, больного и пьяного.

Он посмотрел на неё.

«Утро только, а Настя уж в мыле, как лошадь, – подумал он. – Работает, а он валяется, мается от чего-то, как барчук».

– Вань, ты как... спал? – она поправила мокрый платок. – Ты прости, тут у нас... Корова это... А соседка-сорока, болтать любит, вот на хвосте и принесла, будто соль в магазин привезут! То ли правда, то ли брешет! Мы соли, считай, всю войну не видели. И дома её нет и в помине, сам понимаешь. Хоть из пота своего выпаривай!

И она наклонилась, поцеловала. Как-то виновато прошептала:

– Если надумаешь по селу пройтись, может, раздобудешь? Нам бы соли сейчас ох как!

Иван заулыбался, поняв её стеснение. Ей было неудобно. И перед ним, и особенно перед селом. Вчера только вернулся муж, какая радость! Все уж знают. Мало ведь к кому вернулись-то! А она его – за солью!

– Ну, это если получится у тебя, Вань. Там очередь уже с вечерних потёмков стоит, бабы передались ещё до полуночи. Я бы сама встала, да отелилась, наконец, наша Брыкуха, мы с отцом и не спали.

– Не бери в голову, – он поднялся.

– Да пойми, я бы сама за солью-то!

Вместо слов Иван прижал её, целовал жарко. Настя, всё тело её, грудь казались тёплыми, пахнущими молоком и домом. Она прижалась к нему, жарко отвечала на ласки.

Тикали ходики.

* * *

Без соли жизни нет, это понятно, думал Иван. Но если Настя и не попросила бы, он так и так отправился бы по селу. Его тянуло пови-дять, узнать, что да как, особенно про друзей. Трое их дружков было до войны. Он, Андрюха, да ещё третий по прозвищу Рыло. Лицом не вышел, потому и по имени никто не звал, и в глаза, и за глаза только так и звали. Добродушный был, весёлый парень.

Он шёл краем размытой дождями дороги. Его с визгом обогнали дети. Иван улыбнулся, подумал – спешат в школу. Но дело, похоже, было не в этом. Первой, часто оглядываясь, бежала девочка. Она на миг остановилась, посмотрела на его форму, португую с кобурой, и наполненные слезами глаза молили о защите. Она скомкала у груди серую из мешковины авоську и бросилась дальше, но разношенная обувь увязла в грязи, и она упала. Трое пареньков лет десяти обступили её, как долговязые щенки слабого котёнка, и ругались, били её дрожащее тельце. Иван побледнел и тут же вмешался, схватил одного за ворот.

– Вы что, изверги! – и, несмотря на то, что это были дети, крепко выругался.

– Дядь Вань, здрасти! – сказал тот, которого он схватил, тяжело дыша. От его вида кровь прильнула к лицу, даже захотелось ударить. Неужели он воевал ради того, чтобы дома видеть, как избивают девочку?

Мальчишка поднял испуганные, но полные уважения глаза, сбивчиво объяснял:

– Да мы это, того! Это Голушка! Она полицаева дочь! Мы её ненавидим!

– И правильно! – осмелился сказать ещё один.

– Прекратить, молчать! – выкрикнул он и помог девочке подняться. Мальчишки сбились в кучу, стоя в сторонке, поджали плечи, как воробьи перед бурей. – Идите отсюда, чтоб я вас больше не видел! К каждому домой зайду, и каждого отец выпорет! И чьи вы такие-то, а!

– У нас нет больше ни у кого отцов, дядь Вань, – сказал тихо один из ребят и заревел.

Девочка поднялась, обвила вокруг его ноги и тоже плакала. Иван, ничего не говоря, понёс её на руках в школу, вспоминая, как тоже ходил когда-то по этой дороге на занятия.

В школе встретил учителей, казалось, в какой-то не его, а далёкой или даже прошлой жизни они объясняли ему, как писать и читать. Только встреча радостной не была.

– Дети всё видели, пережили, – сказала учитель, выслушав Ивана.

– Она не виновата. Вы их что, оправдываете?

– Нет, мы им объясняем. Но изменить ничего не можем. Война закончилась, но не прошла. И не скоро пройдёт... для нас всех. И, к сожалению, для детей тоже. Они такие же участники войны.

Девочка кое-как очистила одежду и встала у окна, смотрела грустно, как ветер играет листьями клёна.

Ивану нечего было сказать, и он ушёл. Спросил только:

– Как её зовут?

– Валечка Головина.

«Головина. Знать, Голушка-отец в полицию подался», – мрачно подумал он. Жив ли или в лагере, неважно... Дочь теперь ответ несёт за него. Неправильно – да. Но и по-иному не получится.

Иван уходил, вспоминая лица ребят. Он тоже ненавидел фашизм и пособников его. Но понять и принять то, что увидел, не мог. Если такими стали дети, так изменился он, значит, весь мир искалечен войной? Мир не изменить, как не исцелить рубец, что идёт у Ивана от живота до груди.

И как дальше жить с этим?

* * *

– Иван, Ванюшка, а ну постой, куда так браво вышагиваешь! Аж пыль столбом стоит от твоих сапожищ! – услышал он голос, показавшийся знакомым. И только когда поднял угрюмые глаза, увидел старика в телогрейке и шапке-ушанке – он в любую пору, кроме жаркого лета, одевался так. Дед бежал, семеня ногами, от своего двора.

– Яков Евсеевич, здравствуй! – один вид дедушки, которого он знал с самого детства, на миг вернул ему настроение. – Рад видеть, что жив-здоров!

– Да вот, уж давно за восемь десятков годков, а бегаю! – он слегка обнял Ивана, как родного. – Ну рассказывай, как да что?

– Не спеши, всё расскажу. Ты лучше мне сам открой тайну: привезли соль или нет?

Яков Евсеевич смерил его игривым взглядом, усмехнулся в желтоватые усы. Ничего не сказал, а всё ж, видно было, подумал: жена послала Ваню за солью, зная, что фронтовику не откажут. А может быть, радовался тому, что и ему, как участнику империалистической, с таким добрым молодцем нет-нет, да отсыплют соли.

Они шли к центру села, солнце медленно поднималось.

– Вань, а вот говорят, что нам в центре села поставят какой-то репродуктор, навроде блюда огромного, говорить умеет. Будто бы в Москве сказали, а тут слышно. Правда, аль брешут?..

Очередь тянулась издалека. Иван здоровался со всеми, но шёл в стороне от длинной, как змея, вереницы баб и стариков. Ему отвечали, но слышалось также:

– Гляди-ка, и Евсеич увязался, хитрюга!

– Ему-то можно! – ответил кто-то.

– Это да, – сказал третий голос, Иван понял, что к старику хотя и относились с юмором, но и уважением. С улыбкой – потому что был он добрым и неунывающим, а вот с почтением? Не за возраст ведь и не за участие в империалистической?.. До войны-то иначе было.

– Так, бабоньки, хватит ругаться, видите, какого человека важного веду, посторонись! – сказал Яков Евсеевич и присвистнул, будто пастиух разгонял столпившихся неуклюжих коров.

Евсееч поднялся по бревенчатым скрипящим ступенькам, дёрнул ручку – дверь заперта.

– Ишь, разбежался, – раздался женский голос. – Не открыли ещё.

– Так мы и пришли к открытию-то, а вы ж поди за ночь друг другу все волосы повыдирали?

– Не смеяся, Евсееч, плохо это! – раздался обиженный голос.

– Да я всё понимаю. Не деритесь, нам же дружно надо держаться, такое пережили. Фашистов видели, мадьяр проклятых, а теперь что же, народ, давай из-за соли глотки своим вырывать?

Очередь пристыженно молчала, и в этот момент скрипнул засов на двери. Евсееч и Иван вошли первыми, это никто не обсуждал.

* * *

– Вам сколько? – спросила продавщица Маша, глядя на Ивана с уважением. Когда он уходил на фронт, ему было двадцать восемь, а ей всего шестнадцать. Он узнавал и не узнавал в молодой женщине былую девчущку. И снова подумал, что война быстро добавила годков всем, не только тем, кто смотрел ей в лицо с оружием в руках.

– Как всем, – ответил Иван.

– Держите, товарищ капитан! – она протянула кулёк, а Евсеечу насыпала в шапку.

– Да ладно, «товарищ капитан», будет тебе! – усмехнулся он. – А деду-то почему не в кульке?

– А это только для вас, у меня был просто кулёчек-то припасён. А так нет.

– Ну вот, какая я важная птица, осталось только хвост распушить! – и они рассмеялись.

– На всех-то хоть хватит соли? – спросил Иван.

– Не знаю, – развела руками Маша.

– Ты уж постарайся, отмерь всем по совести. В школе-то ведь по математике хорошо справлялась!

– Вот-вот! – добавил Евсееч. Он хотел надеть шапку, будто на миг забыл, что там соль. – Эх меня, старого!

Они уж было вышли, но Маша окликнула:

– Пойдите, пойдите! – она подошла к Ивану. Девушка была ниже его на голову и потому смотрела сверху вниз просящими глазами. – Вы ведь, наверное, к Андрюше зайдёте, к другу?

– Да, – сказал он. – Сейчас к нему и пойду.

– Я соврала вам, простите. Есть у меня... ещё один кулёчек, ему и тётё Вере передайте! Скажите, от Маши, хорошо?

– Да что он, инвалид что ли немощный, сам и придёт, брось. Или мы с ним зайдём позже. Его как фронтовика тоже без очереди обслужи, да и всё!

Евсееч и Маша переглянулись, девушка заплакала. Иван посмотрел на старика жгуче и вопросительно, а тот забрал у зарёванной продавщицы кулёк, протянул ему и сказал, вздохнув:

– Ты же к нему идёшь. Вот и передай, раз просят.

И вновь Иван зашагал так, что от ударов сапог едва не проломилась доска порога. Он не смотрел ни на кого, ускораясь. Он ничего не мог знать про Андрея, вчера не спросил у родителей и потому проклинал себя за сказанное.

Каким он увидит друга?

Знакомый дом, палисадник. Здесь они любили играть – Ванюша, Андрюша и Рыло. И смех и грех, но ведь их троючку только так и называли. Иван постучал, но не стал дожидаться, вошёл в сенцы.

Первым он увидел мать друга. Та осунулась, высохла, чёрные, как у синицы, глаза едва были видны из впалых глазниц. И лицо тёмное, скулы натянуты тёмной кожей.

– Тётя Вера, здравствуйте! Это я, Ваня, узнали? Где Андрюха, что с ним?

– Мама, кто там? – послышался знакомый голос.

Иван вбежал в комнату и увидел, как за накрытым обеденным столом в одной белой вытянутой майке сидит старый друг. Был он крепок, руки жилистые, на правом плече синела наколка в виде танка Т-34.

На миг их глаза сошлись, Иван не мог пошевелиться. Промелькнула мысль: да что за враки-то! Вот он, сидит за круглым столом, который укрыт белой, до самого пола скатертью. Он просиял:

– Ну что, не ждал?!

– Ванюха, родной ты мой! – выкрикнул Андрей. – Иди-ка обниму, рассмотрю тебя всего, дружище! Ну что, пехота, выпьем по одной? Мама, неси всё, что есть, сегодня пировать будем!

Они говорили сбивчиво, Иван на радостях переходил с одной темы на другую.

– А я, представляешь, Якова Евсеевича встретил, ох и весёлый он, будто года ему не помеха.

– Евсеич – человек! Я бы сказал, человечисше, – ответил Андрей. – Ты и не слышал, поди, про нашего-то Сусанина? Хотя когда тебе...

– А что?

Андрей рассказывал, что знал от других сельчан. Во время оккупации немцы сделали инвалидом дочь старика – Настю. Враги готовились отступить после битвы за Воронеж, терпели одно поражение за другим, было много раненых, которым требовалась для переливания кровь. Немецкие врачи, хотя можно ли их называть врачами, выкачали из Насти кровь – прямо шприцами. Она чудом выжила, но с тех пор не может ходить. В Вязноватовке у немцев стояла дальнобойная артиллерия, отвести её по основной дороге им было нельзя. Нужно было найти безопасный путь к станции Нижнедевицк.

– Вот Евсеич и пришёл к их командованию, поклонился, так, мол, и так, охотник он, хорошо знает местность. Готов помочь вывести за вознаграждение. В общем, пыли в глаза напустил, как умеет, у него этого не занимать. В городе он бы, верно, артистом мог стать, – продолжал Андрей. – Немцы ему карту показали, он им и прочертил путь. Прямоком... через торфяники в общем.

– Во даёт дед! – усмехнулся Иван.

– Но они ему говорят – пойдёшь с нами! Он ни в какую, но потом понял, что отказаться не удастся. Видно, тогда решение принял – погибать так погибать! А может, и нет, кто его разберёт. Вот и поехали они колонной, в сторону Поповского особняка он их повёл, а там от

родников и зимой толком не замерзает, сам знаешь, корка одна образуется. А орудия, говорю, у фашистов тяжёлые. Одна пушка у них, по рассказам, была огромная. Как же она, проклятая, называется? Берта, что ли. Шли тягачи, но их на самом подходе наши бомбардировщики и настигли. Немцы бросились вперёд, да по горло в жижу проваливались. А он под шумок, по знакомым тропинкам давай тикать, знай его. Только рассказывать об этом не любит, я больше со слов других знаю. «Что я, подвиг что ли какой совершил, бросьте! Это всё наши орлы-лётчики!» – говорит.

– Неправда, молодец он, – сказал Иван, поняв, наконец, почему к старику относились с зазором, но почтительно.

– А сын его Василий тоже с фронта пришёл. Снайпер, весь в отца-охотника. Пятьдесят немцев, говорят, ухандочил. То-то же!

Когда выпили по третьей, в голове зашумело, Андрей сказал:

– А ну-ка, пехота, подай-ка нам, танковым войскам, капусточки вон той!

– А ты чего, совсем уж обленился, тянётся лень!

– Да я, брат, – Андрей опустил вилку. На миг показалось, что накладка с танком на плече потемнела. – Я после Прохоровки уже не человек, а полчеловека всего.

Иван вскочил, отёрнул скатерть. Не было у Андрея обеих ног.

Они долго молчали, выпив несколько рюмок без тостов и возгласов. Иван, переживая увиденное, всё же обратил внимание – вся еда на столе пресная. И вспомнил про соль:

– Вот, в магазине был.

– Значит, не брешут, привезли всё-таки! – обрадовался Андрей. – Мам, посмотри, Ваня с собой настоящий праздник принёс!

И замолчал. Праздника никакого не было.

– Постой, а ты что же, свою отдаёшь, что ли?

– Нет, Маша просила передать. Она, – Иван на миг заколебался. Фронт научил его за миг разбираться в ситуации, в людях и говорить напрямую. – Она тебя любит, и крепко.

Андрей опёрся головой на ладонь, в помутневших пьяных глазах проступила влага.

– Не дури! Что душу-то мне бередишь, а? На кой я ей такой! Говорю, полчеловека ж всего осталось.

– А вот это ты не дури! «Полчеловека». И чтоб больше не слышал. Нужен, и всем нужен! Ты же до войны плотничал, как и твой отец, и дед. А в этом деле, как-никак, руки важнее. Так что сдюжишь. И семья будет, и детки, и я в помощь всегда рядом. И будет всё хорошо, как раньше. Рыло вот, кстати, третий наш дружок, втроём сладим. Он-то как? Только не говори, друг, плохого! Насмотрелся, наслушался за сегодня. Ведь не погубило Рыло-то наше мордатое?

Мать Андрея замерла, стоя поодаль у серванта. Она переглянулась с сыном. Тишина, лишь кот прошёлся под столом и тронул Ивана мягким хвостом.

– Не погубило Рыло, куда ему, – ответил Андрей и стал жевать корку хлеба, будто на этом разговор о третьем друге окончен.

– И что же? – Иван, когда злился, имел привычку: доставал из кобуры пистолет, клал на стол и смотрел на него. Вот и теперь он машинально вытащил ТТ, невольно задев со звоном тарелки.

Мать, увидев оружие, ушла на улицу, Андрей не реагировал, дышал спокойно и смотрел отстранённо, будто был в комнате один.

– Так что, скажешь, или нет? Может, я уж тогда пойду? – самогон ударил Ивану в голову с новой силой, и он становился иным человеком. Агрессивным и решительным.

– Сиди уж. Не видишь, что ли, говорить про то не хочу.

– А придётся!

– Остынь, Вань!

– А ты не подогревай! – он взял пистолет, хотел убрать в кобуру, но снова положил рядом с тарелками. – Так что Рыло-то?

– Да дезертировал он.

– Что?

– Что слышал. Припёрся в сорок втором домой, а тут ведь немцы с венграми были, и спокойно он себе жил.

– При фашистах? И где он теперь? Осудили его, расстреляли?

– Да здесь он, в Вязноватовке, где ж ему быть?

Иван вскочил.

– Сядь, наделаешь дел! Давай лучше выпьем! – было видно, что Андрей пожалел о том, что рассказал другу. Но его добродушие не помогло.

Иван без слов вскочил, пошёл к двери, но вмиг развернулся на каблуках.

В гневе он забыл пистолет.

* * *

«Рыло поганое, как человека обзовёшь, так он век и проживёт», – Иван вновь стучал сапогами по пыли. Он распугал стайку воробьёв, они поднялись с дороги, и, чиликая, разлетелись по ветвям.

«Дезертировал он!» – снова вспомнились слова Андрея, и жгли душу.

Он подошёл к знакомому дому, который за годы войны сильно просел и слегка наклонился, будто по нему, как по бессильному лежачему, настойчиво били и били коваными сапогами. Здесь жил тот, кого Иван когда-то считал другом и был готов постоять за него насмерть, если придётся. Вспомнилось, как мальчишками они играли вот здесь, в зарослях лозняка, представляя себя чапаевцами. А там, через дорогу в овраге, был коварный враг, превосходящий их в разы по численности. Беяки затихли до поры до времени, не зная, что ребята задумали атаковать первыми и сломить их неожиданным ударом. И они лежали на животах, прижавшись плечом к плечу, сжимали в руках длинные палки. И каждому представлялось, что на самом деле у них винтовки. Сначала перестрелка, а потом бросятся они врукопашную, в бою держась друг за друга.

«Дезертировал он!» – вновь хлестнуло, как жгучей крапивой.

Иван толкнул дверь, почуяв крепкий запах капусты и антоновки.

– Рыло, выходи давай, вываливайся!

На пороге показался человек, которого было не узнать. Может, дезертир живёт не у себя, прячется где-нибудь от стыда за селом в землянке? Незнакомец стоял босиком, в одних кальсонах, с полотенцем на плечах. Лицо обильно намылено – готовился, видать, бриться. Иван пригляделся – нет, он!

– Ну что, Рыло, всё рыло у тебя в пушку?

– Ваня, Ванюша, ты, что ли? – обрадовался было тот, но, увидев злые, с ядовито-красными прожилками глаза, а главное – руку, лежащую на кобуре, попятился. – Ты чего это?

– Это ты чего, Рыло? Давай-ка на свет выходи, сюда-сюда, на свет божий, чтоб он тебя сжёт-покарает! И как на духу выкладывай всю свою мерзость. Как с фронта драпал, когда Андрюхе ноги перебило, а меня контузило! Как ты бежал от врага, обделав штаны и дрожа, а потом смел в Вязноватовку прийти, жил тут припеваючи с теми, кто бил и насиловал сельчан! Ну, говори-говори? Или добавить больше нечего, всё ведь сказано?

– Да что ты, Ваня, кто тебе такое рассказал? – и он неуверенно хлопал его по плечу.

Иван ударил по руке.

– Хватит драться-то, мы в детстве-то никогда не дрались, не разлей вода ведь были!

– Детство вспомнил. Ещё и кривляешься? – уши Ивана покраснели. – На колени!

– Да ты что?

Иван ударил носком сапога по голени, Рыло ёкнул и повалился. Через миг ему в лоб упёрся ствол ТТ.

– Да подожди ты так, не надо! – Рыло говорил сбивчиво, плечи тряслись.

– Или ты начнёшь выкладывать, или!..

– Да не дезертир я, говорю же, не дезертир! Под Харьковом в окружение попал, ей-богу, чудом выйти смог, и куда мне. Одна дорога – до дома, не так уж далеко ведь! Ну посуди сам! Вот и пришёл. А тут немцы.

– Да что ты говоришь, немцы? И приняли они тебя со всем немецким радушием? Как своего? И ты не растерялся, жил себе припеваючи? Ну а потом, давай, ври-ври дальше!

– Да не вру я! Село наши быстро освободили, и я снова с войсками...

– О, да ты ещё, видать, и герой! Хватит брехать да извиваться, пора кончать. Мне всё ясно.

На плечо Ивана легла рука. Он опустил пистолет, обернулся.

– Ты чего это, Ваня, так расшумелся? Ты как тот репродуктор, только наоборот – тут сказал, а в Москве слышно! – он увидел сутулую фигуру Якова Евсеевича. Тот, как всегда, улыбался, но в глазах читалась тревога.

– А ничего, дедушка, – он вновь обернулся к замершему в страхе на коленях Рылу. Потом осмотрелся, нервно кидая взоры по двору. Сначала взглянул на старый, раскинувший ветви клён, а затем перевёл взгляд на припёртый к сараю пень.

– Так, встать! – скомандовал он. – Быстро кати этого поросёнка сюда! Уж больно этот пень на тебя похож!

– Это зачем? – Рыло тяжело поднялся, но выполнил требование. Повалив на попа чёрный, покрытый лишайником пенёк, кряхтел и волок его, как бочонок вина.

– А теперь стой здесь, и ни с места! – он вновь навёл на Рыло пистолет. – Шаг влево, шаг вправо, это понятно?

Иван ударом ноги сбил дверь сарая, она со скрипом провалилась внутрь, слетев с петель. Он долго что-то искал в потёмках. Наконец появился, наклонившись в узком низком проёме, и Рыло зажмурился – отражение солнца от звёзд на погонах обожгло глаза. Когда он снова посмотрел, Иван стоял рядом. От локтя до пальцев он намотал толстую пеньковую верёвку.

– Ты чего удумал, Вань? – вступился Евсеич. Он больше не улыбался. – Оставь ты, будет с него!

– Не оставлю! – Иван весь пылал, и старик только теперь понял всё, учуяв резкий запах самогона, настроенного на хрене. – Судить тебя буду, Рыльце в пушку, по законам военного времени!

– Ты что, Ваня, брось, нет войны больше, и не стало её законов, – Яков Евсеевич преградил ему путь. – С тебя за самосуд не только погоны снимут, а отправят на край Руси-матушки лес запасать.

– Да, Ваня! – вмешался Рыло.

– Замолчи! – прикрикнул Евсеич. Иван никогда не слышал такой резкости в голосе старика. – И не это главное даже, Ваня, далеко не это! Сам посуди, как дальше с этим жить сможешь?

– Буду жить, не беспокойся! – ответил спокойно Иван. – Не такое видел, и делать приходилось не такое. На фронте пойманных дезертиров расстреливал, и даже лиц и имён не помню. Душу не грызут, во сне не снятся.

– Не о том я, Ваня. Как дальше жить будешь с этим, говорю? Даже если и оправдаешься за свой суд. Как людям, как своим в глаза помотришь?

– А что? Он же дезертир?

– Да пусть так, хотя это и не так просто всё, но речь только о тебе идёт.

Рыло с надеждой смотрел на старика.

– Другое ты никак не поймёшь, главное не улавливаешь! Немцы, мадьяры тут были, такое натворили! Вешали, стреляли люд мирный. И тут ты пришёл, свой, капитан, победитель, гордость наша! И тоже, как они, да? Туда же?

Иван с трудом сглотнул слюну, промолчал. Обвёл глазами старика, Рыло и стал разматывать верёвку. Умело скрутил петлю, поднял глаза, оценивая, какая ветка будет надёжней. С презрением посмотрел на Рыло сверху вниз, тот сам упал на колени.

– Давай!

Рыло, покачиваясь, поднялся на ватных ногах, с надеждой посмотрел на старика как на единственного в мире человека, который ещё может всё исправить. Но тот вздохнул, покряхтел и отошёл в сторону. Рыло видел лишь его сутулые плечи. Евсеичу добавить больше было нечего.

– Я тебе сказал, давай! – Иван вновь достал ТТ.

Рыло встал на пенёк и тут же свалился, как набитый трухой мешок. Вновь с трудом поднялся. Прежде чем просунуть голову, дрожащей рукой собрал с лица мыльную пену, протёр ею верёвку.

– Вот так, молодец, помягче будет! – поддержал Иван.

– Ваня!.. Ваня, а помнишь, как мы в чапаевцев играли? Тут мы, нас трое, а там враги, их больше? А мы вместе!

Тот молчал.

– А помнишь, как на рыбалке ты ногу подвернул, и мы с Андрюшей тебя несли домой от самой мельницы. Ещё дымка такая была.

Тишина.

Рыло выдохнул, на миг перевёл взгляд на небо. Просунул голову в петлю.

– Думай, как хочешь. Но знай, всё-таки, не дезертир я! Про окружение под Харьковом я правду сказал! И всё правда. Мне нечего стыдиться, ну или... Да и ты бы на моём месте если б оказался...

– Я не на твоём месте! – Иван чуть отодвинул ногу, готовясь к удару, носок сапога расчертил землю. Пели птицы, пахло сентябрём – сладким запахом увядания, ухода в небытие всего, что росло и отжило свой год на земле.

– Вань, а Вань! – Рыло опустил глаза и заплакал. – А у меня селёдка есть! Хорошая, жирная такая! Отличная селёдка, Вань, – он всхлипнул. – И самогонка тоже есть, крепкая. Целая бутылка, правда. Пощади, а?

Иван замер. Евсеич повернулся к нему.

Подуло тёплым воздухом с запахом картофельной ботвы.

– Селёдка, говоришь? – Иван вновь замолчал. – И самогонка? Ладно, тащи сюда!

Старик усмехнулся.

– Правда? – Рыло не решался вытащить голову.

– Тащи, говорю, пока я не передумал!

Рыло попытался освободиться, он нервничал так, что мог сам соскочить с пенёка и затрепыхаться на верёвке. Наконец он сбросил удавку, спрыгнул и кинулся к двери. На пороге он рухнул, угодив лбом об косяк. Над бровью заалела кровь, однако он снова вскочил, скрылся, гремел посудой...

* * *

Иван и Яков Евсеевич вышли из проулка к центру села. Капитан расправил форму, оглядел себя – не испачкался ли, а то люди увидят, нехорошо. Он отряхнул галифе и на миг поднял глаза, присмотрелся вдаль. То ли самогон начал с дурным послевкусием выходить из него, отдавая нехорошим шумом в голове и маревом в глазах, то ли всё сильнее пригревающее солнце дурманило голову. Он посмотрел на

дорогу и в лёгкой дымке едва различил три далёкие фигуры. Двое ребята будто несли третьего, подхватив за плечи. Видать, бедолага подвернул ногу.

Ванечка, Андрюша... и Рыло...

Иван и старик прошли мимо сельмага. Очередь заметно поредела, но людей оставалось много. Маша, видимо, заметила их в окне, выбежала на порог.

– Товарищ капитан, а вы передали Андрею-то?

– Передал, Машенька, передал, и от него у меня тебе есть что в ответ передать! – он хитро улыбнулся. – Он кланяться велел и сказал, как магазин закроешь, чтобы в гости приходила. Будем все вместе хлеб-соль кушать. И селёдку заодно, вон она, у Евсеича!

– Правда, прямо так и сказал? – её лицо заалело от смущения и радости.

– А то! Мы вот пока посидим, поговорим за жизнь, но тебя как дорогую гостью будем ждать! А потом на танцы! – Иван сжимал бутылку самогонки подмышкой.

Она убежала в магазин, прячась от смущения. В очереди смеялись – у женщин теперь было, о чём поговорить в скучной, опостылевшей ещё с минувшего вечера очереди. Иван посмотрел на них с теплотой. Родные. Выстояли войну. И будут стоять всегда и столько, сколько потребуется.

Евсеич вздохнул:

– Про танцы ты зря, ну переборщил. Не смешно даже... Вань, может, и хватит тебе самогонки-то на сегодня? А то уж я с тобой побегал за утро, весь испариной покрылся, хоть, как в молодости, без шапки и телогрейки ходи.

– Это ничего, Сусанин! Это жизнь греет, жизнь! Новая. Совсем-совсем другая.

Он вновь посмотрел вдаль, пытаясь различить в дымке силуэты трёх мальчишек.

Их не было. Они ушли навсегда.



Валентина ДОРОЖКИНА

До рассвета несколько часов

Стихи

* * *

Была недавно так легка
Не вымученная строка,
Скакал воробушком хорей,
Чтоб завершить её скорей.

Листок блокнота трепетал –
Бумаге карандаш шептал
Давно забытые слова,
Произносимые едва:

«А счастье было так возможно...»
Движением неосторожным
Сломалось, за строкой спеша,
Сердечко у карандаша.

Душа не ведала обмана...
На первозданной белизне,
Ещё не видная вполне,
Уже кровоточила рана.

* * *

Снег окончательно растаял,
Земля вздохнула без оков.
И вновь взъерошенная стая
Полуголодных воробьёв

С куста на куст перелетает
И оглушительно щебечет.
Что слышно в этой звонкой речи,
Любой прохожий понимает.

И воздух свеж, и небо чисто,
Влекут неведомые дали.
И даже губы пессимиста
Подобием улыбки стали.

От зимнего встряхнувшись сна,
Он, сам себя не узнавая,
Взглянув опять на птичью стаю,
Тихонько выдохнет: «Весна!»

* * *

У вдохновенья нет отсрочки,
И музыке не дашь отбой...
А вены стихотворной строчки
Набухли кровью голубой.

Она пульсирует, живая,
И грудь теснит – грозит стрелой,
Как будто кто-то вызывает
На поединок роковой...

Слова не делятся на буквы,
У вдохновенья нет греха.
И строчки венами набухли
От напряжения стиха.

* * *

В душе моей – отметинка:
Молюсь теперь легко...
Чиста, прозрачна Сретенка,
И небо – высоко.

И с верой православною
Просторно – ввысь и вширь:
Там – церковь златоглавая,
А дальше – монастырь.

И так свободно дышится:
Ушёл из сердца страх.
Лампадки свет колышется,
И молится монах.

Светло в его обители,
Из окон – прежний вид...
И Храм Христа Спасителя
Нетронутый стоит.

Яблоня

Метели упали с разбега,
Сугробы-стога намели,
И ветки под тяжестью снега
Склонились до самой земли.

Зима моё тело сковала:
Стою, от мороза бела.
Но я никогда не стонала,
Весну терпеливо ждала.

Природа терпению учит,
Не сетую я на неё...
И вот первый солнечный лучик
Обрадовал тело моё...

Весна наступила, и снова
Такая вокруг благодать!
И, снежные сбросив оковы,
Я стала зелёной опять.

Теперь бы ветрам не поддаться –
Поможет небесный покров! –
Ах, если б ещё мне дожждаться
По осени дивных плодов!

Музыка и слово

Опять, словно с небес, стекает
Волшебных звуков акварель.
Что это? – скрипка ли рыдает,
Печалится ль виолончель?

И слышится Оттуда слово...
Кто для тебя его прорек?
Зерно золотое иль полова –
Тебе награда, человек?..

И, что бы мы ни говорили,
Как ни пытались рассуждать,
Подвластно только Высшей силе
Особым даром награждать,

Связать Божественными узами
Земную силу родников:
Один родник – рождение музыки,
Другой – рождение стихов.

* * *

На всей планете – снова битвы,
Не удивляемся уже...
Как я люблю часы молитвы!..
С благоговением в душе

Молюсь за дерзких и смиренных,
Прошу Всевышнего за них:
И за невинно убиенных,
И за оставшихся в живых.

Их не перевести на числа.
По мёртвым колокол звонит.
И в этих звуках – зёрна смысла:
Простит Господь иль не простит?

Всё, чем живём, дано нам свыше,
Мы не изменим ничего.
А Бог всё видит и всё слышит –
Грядет возмездие Его.

Но тело не подвластно грузу.
И можно всё перенести,
Когда стоишь лицом к Иисусу,
Не в силах взгляда отвести.

* * *

Когда кладь на спине –
Не до важности:
Тяжесть к тяжести –
Две тяжести...

Когда на ногах кандалы –
Не поднимешься в гору.
Кандалы не бывают малы –
Всегда впору...

Опоясали ложью –
Не развяжешься.
Попробовать можно,
Да измажешься.

Кладь на плечах,
Кровь на ногах...
Птичка на ветке,
А душа – в клетке.

* * *

Нет, эти годы вовсе не прошли –
Они стоят у моего порога,
Как молодые витязи. Их много,
Они растут цветами из земли.

Семидесятые... Счастливая пора:
Есть молодость – и ничего не надо.
Я влюблена, хожу по Ленинграду,
Не устаю – с утра и до утра.

О, как шаги по Невскому тихи...
И вот они совсем уже не слышны.
... Ахматова зовёт читать стихи,
Пить чай с вареньем
из тамбовской вишни.

* * *

Опять мне видится в туманном,
Давно забытом далеке:
Идёт любимый гостем званным
С букетом ландышей в руке.

И домик мой с дырявой крышей
Вдруг становился шире, выше.
И от щедрот родной земли
Деревья пышные цвели...

Да было ль это? Было, было!
Вот только жаль, что всё прошло:
Деревья выглядят уныло,
Дорогу к дому замело.

Окно подёрнуто туманом...
Но вижу, вижу вдалеке:
Идёт любимый гостем званым –
Седой и с посохом в руке.

* * *

Жизнь – то наказание, то подарок:
Сочетанье радостей и бед.
Только бы прожить её недаром,
Только бы оставить добрый след;

Не поддаваться суетному бремени,
Душу не задвинуть на засов...
У меня в запасе много времени –
До рассвета несколько часов.

Здания вдали, как горы, высятся,
В окнах не видать ни огонька.
Говорят, что ночью лучше мыслится,
Ночью создаётся на века.

Но иные могут быть мгновения:
Ужасом повеет тишина –
Ты один, один во всей Вселенной,
И судьба твоя предрешена.

И хоть стань пред нею на колени,
Не прибавит часа одного.
И не знаешь: много ещё времени
Или не осталось ничего...

* * *

Живём по разным городам,
От встреч до встреч – такие дали!
Но мы друг друга повстречали,
Теперь бы не расстаться нам.

Ты за меня ещё в ответе,
Пока тобою я дышу,
Пока твой адрес на конверте
Неравнодушно я пишу...

Что может быть для сердца слаще,
Чем ожидание письма?
Вчера был пуст почтовый ящик,
А я приехала сама.

Я за тебя ещё в ответе,
Пока твой каждый жест ловлю,
Пока тебя на целом свете
Так беззаветно я люблю...

Пора душевного недуга
Пройдёт. Но помнишь бы о том,
Что мы в ответе друг за друга,
Пока мы дышим и живём.

* * *

То соглашаюсь, то спору,
Героям даю имена...
Мой письменный стол –
 это поле,
Где всходят стихов семена.

Как с ними, однако, не просто!
Как эта наука сложна!
И для стихотворного роста
Большая работа нужна.

Здесь столько бывает осота!
И он забивает ростки.
И я, словно в поле, до пота
Выпальваю сорняки.

А мне говорили: так просто –
Бумагу бери и пиши.
Вернее: отсчитывай вёрсты,
Впрягайся плотней и паши...

Ни летом, ни хмурой зимою
Покоя себе не даю.
И снова крестьянкой простою
Чуть свет на работу встаю...



Елена ЗАЙЦЕВА

Акварели

Стихи

Заброшенный сад

В заброшенном саду белеют вишни.
Так трепетны и строги их наряды!
Ковёр травы в ногах седого сада
И тень полуразрушенной ограды –
Как расчерк приговора: «Сад здесь – лишний!»

– О, сад! Ты так раскрыл цветов ладони,
Легко и гордо держишь ветви-плечи,
Как будто бы судьбой не искалечен,
Среди руин и пепелища – вечен,
И ни одна беда тебя не тронет! –

Я говорила с ним – он не ответил.
Его душа теперь для всех закрыта,
И одиночество – его защита
От нового предательства... Забытый,
Он вновь цветёт, он тих и светел.

Хозяева давно ушли отсюда,
Но я его весенней песне рада.
Цветение заброшенного сада –
Как праздник, долгожданная награда
Ему – за стойкость, мне – за веру в чудо.

Небесные кобылицы

Кобыльи гривы-ковыли
В ночной степи ласкает ветер.
Табун небесных кобылиц
Уходит к солнцу на рассвете.

Но до рассвета далеко.
Резвятся кони, бег их звонок,
И пьёт кобылье молоко
Глазастый лунный жеребёнок.

Быстрее, быстрее... Летит табун,
Копыта бьют нетерпеливо.
Сиянием нездешних лун
Облиты шёлковые гривы.

Дорогой этой – не пройти,
Не уследить за вольным бегом.
По кромке Млечного Пути
Искрят копыта звёздным снегом.

Умчались кони – нет следа.
Ковром росистым степь укрыта.
И только поздняя звезда
Горит подковой позабытой.

* * *

Позови нас, Россия суровая,
Из далёких краёв позови,
Незнакомая, гордая, новая,
С неразбуженной силой в крови.

Наши судьбы случайностью меряны,
Мы сегодня тебе не нужны?
Чьи мы дети? Небрежно затеряны
На просторах ничейной страны...

Позови нас, Россия печальная,
Не моли, не кляни – позови.
Мы – частица твоя, хоть и дальняя,
Без судьбы, без тепла, без любви.

Река времени

Теченье времени – капризная река.
То льются неприметно дни и годы,
То бьются на камнях мгновенья-воды,
Тяжёлые мгновения-века.
Теченье времени – капризная река.

В её волнах находят свой конец
Флоты бумажных кораблей удачи.
Порою годы – ничего не значат,
Порою миг – убийца и творец...
В её волнах – и плаха, и венец.

Бабушкина икона

Там мокрица вдоль завалинки
Белой искоркой цвела...
Что спросить с девчонки маленькой,
Что в деревне не жила?
Мне из дальней дали помнятся:
Дров берёзовых дымок
Да в углу просторной горницы
Деревянный образок.
Сотворён не так, как водится,
Как другие образа:
Лик земной у Богородицы,
Да нездешние глаза.
Добрый дед мой, бабка Марфа ли –
Почему? – не угадать –
Мне икону Божьей Матери
Попросили передать.
Мне всё думалось: «Успеется.
Вот приеду – заберу».
Знать бы: пеплом дом развеется
На сибирском на ветру.
Опустевший и заброшенный,
Дом разобран по бревну.
Где же вы, мои хорошие,
Как я вам свой долг верну?
Оттого ли в жизни трещина,
Что в событий череде
Образ, бабушкой завещанный,
Затерялся Бог весть где?
То моя ль судьба исконная –
От беды к беде иной?..
Снятся мне глаза иконные
Неизбывною виной...

* * *

Давняя любовь моя – это горы,
Подпирающие купол небес.
Поздняя любовь моя – это Город,
Грустный Город на холодной Неве.

Были годы – как предвестники Града,
Града стольного, что в небо простёр
Шпили, купола, дворцы. Как в награду,
Этот город – отражение гор.

Мчусь по жизни то карьером, то рысью,
Только стоит оглянуться назад –
А душой моей владеют две выси –
Горы южные и северный Град.

* * *

Ну, право дело, живут же люди...
А ты без строчки и жив не будешь.
А ты, рыбаче, всё ждёшь улова:
Отыщешь слово, упустишь слово –
Пустые сети на берег тянешь.
Стихи – что дети. От них устанешь,
От них воскреснешь, без них заплачешь
И жизнь былую переиначишь.
И новых смыслов глоток отведав,
Поймёшь, где промах, а где победа.
Навеки изгнан из жизни тихой,
Узнаешь радость, узнаешь лихо
И будешь вечно за всё в ответе...
Ну что ты, право? Стихи – как дети.
Идут, как могут: от Бога – к Богу.
Тебя не спросят – найдут дорогу.

Ангел Любви

Его земной судьбой
Сама Любовь была.
На небо он с собой
Взял два её крыла.
И ангелом ночных,
Заплаканных небес
Спустился с вышины
В безумный этот лес.
В бездушный и без мер
Залгавшийся приют,
Где каждый первый – сер,
А каждый третий – лют,
Где злятся или пьют,
И сохнут от тоски,
И гибнущим в бою
Не подадут руки.
А он не так уж смел –
Его легко убить.
И всё, что он сумел, –
Он здесь остался жить.
В разрухе и пыли,
На кладбище надежд,
Среди больной земли,
Средь хамов и невежд.
Не думал он о том,
Он просто всех любил...
Что стало с ним потом,
И кто его убил?
За белый трепет крыл,
За свет печальных глаз...
А может, не убил?
А может, кто-то спас?

И понял, не дыша,
У края, у межи,
Что в нём жива душа
И дальше будет жить.
И в свой черёд с небес
Шагнул, как за порог,
В безумный этот лес...
И сделал всё, что мог...

* * *

Стихи – как продолжение тебя –
Не ищут одобренья посторонних.
Чужим желая угодить, не тронь их,
Не тронь, излишним рвением губя.

Стихи тебе измены не простят,
Уйдут – водой из грязного колодца.
Они уйдут – но что же остаётся
Тому, кто в их потере виноват?

Останутся лишь только пустота
И сиротливость горькая утраты,
И ночи, что проводишь до утра ты
Над белой безысходностью листа.

Художник

Покоряясь веленью рук,
Застывают в потоке лет
И открытого цвета – звук,
И глубокого звука – цвет.

Синий-синий, как си-бемоль,
Густо-красный, как ре-ми-ре.
Ясно-белый – что жизни соль,
Птичья трель на седой заре.
Может, чуда и вовсе нет?
Только чуткого сердца стук,
Только музыки яркий цвет,
Только цвета глубинный звук.

Акварели

Среднерусские пейзажи –
Поздней осени печаль.
Плачет роща о пропаже,
Уронив листву с плеча.
Акварели, акварели,
Яркой озими мазок.
Солнце в облачной постели
Дремлет, приоткрыв глазок.
Тонкий контур чёрной сажи,
Влажной кистью смыта даль.
Среднерусские пейзажи –
Поздней осени печаль.

Гроза

Жаркий день в конце июля –
Запах пыли, тени сосен.
Толстый шмель летит, как пуля.
Солнца пыл почти несносен.

И всё зреет там, в зените,
Выше туч – зародыш грома.
Молния блестящей нитью
Тучи шьёт над крышей дома.

Те, что сшиты, – с треском рвутся,
Тёплый дождик проливая.
Падая, из пыли блюдце
Лепит капля дождевая.

Дождь недолог. Эхо грома
Вдалеке басит устало.
Жаркий день. Июль. Истома.
Много солнца. Тени – мало.





Мария ЗНОБИЩЕВА

Ивовый прут

Стихи

Песенка о снеге

Снег – это смех
Тех,
кого мы любили.
Голос, дыхание, облачко пыли,
Род людской...

То, что находишь,
Всё прежнее бросив,
Стружка, которую
Крошит Иосиф
В плотницкой.

Снег – это детское счастье
Сквозь вату.
Милому миру – кивки и виваты,
Книксены.

Бунт против кукол,
И кухонь, и спален,
И подоконник, который завален
Книгами.

Снег – это свет,
Разделённый на части,
Рдяный снегирь в замирании счастья
Мёрзнущий.

Слёзы пространства,
Пробитого небом.
Поговори,
Помолчи со мной снегом –
Можно же?

Письмо

Получили письмо. Но никто распечатать конверт
Не решился с порога. Искали пинцет и перчатки.
Куличами и хлоркой повеяло в двери с площадки.
За две тысячи лет это был самый Чистый четверг.

Смысл в послании был. А иначе бы в каждый чертог
Не принёс почтальон-невидимка нездешние вести,
Не вручил бы перо – расписаться в положенном месте:
Вот под этой витой, золотой узловатой чертой.

И пока за окном, засыпая в обнимку с весной,
Затихали, как дети, мохнатые демоны страха,
Резче птичьего крика, светлей и внезапнее взмаха
Лист бумаги сиял и слезился, сквозя белизной.

Развернули, увидели: каждая строчка – пуста.
Четверговыми свечками теплились тонкие липы,
Сонно сглатывал город прошедшего дождика всхлипы –
Как микстуру, с серебряной ложечки, краешком рта.

* * *

В чистом поле, во сыром бору –
Май раскрыт помянником зелёным:
«Скажешь имя – может, не умру...»
А имён, как судеб, – миллионы.

Брат-терновник выпустил шипы,
Стонут сосны, и вздыхает ельник,
На зелёной кочке у тропы
Шелестит иссохший можжевельник:

«Хоть бы кто по имени назвал...
Не до слов, в герои я не метил:
Хлеб жевал и шутки шутовал,
И, как ты, зачем-то жил на свете...»

Нет в живых давно моей родни,
Так что эти холмики не трогай.
Помолчи, как можешь, помяни,
А потом ступай своей дорогой...»

Расплескав, как росы, голоса,
Мать-земля за них заговорила.
Все цветы – что в Пасху образа.
«Николай, Илья, Иван, Гаврила...»

...В городах – оркестры, ордена.
Здесь – весна. Бреду и, против правил,
Наугад роняю имена:
– Афанасий.
– Пётр.
– Георгий.
– Павел...

Ивовый прут

Лодка тычется в землю: «Хозяин, ты тут?»,
И песок из овражка течением вымыт.
Только тронь эту лодку – и все оживут:
Запоют, засмеются и вёсла поднимут.

По воде разойдётся таинственный круг.
У реки и повадка, и память иная –
Быстрых ног, узловатых натруженных рук:
«Я теку не для вас и о них вспоминаю».

Ивы склонятся ниже. Заблещет роса.
Земляничины луг припасёт до покоса.
Над рекой поплывут в тишине голоса.
И костлявый мальчонка с облупленным носом

Сломит тонкую ветку, чтоб выстругать лук,
Снимет клейкую кожицу, око прищурит, –
Да и бросит лозину, почуявши вдруг,
Как заветная щука в корнях балагурит.

...Только тронь эту ветку – и все оживут,
Будто нас, а не их провожают на тризне.
Оголённый до зелени ивовый прут.
Запах жизни.

Память Тамбовской Вандеи

В маленьком сельском музее –
Непродовольственный склад.
Редкие гости глазают
На кочергу и ухват.

«Память Тамбовской Вандеи» –
Буквы на белом красны.
Это герои-злодеи
Взглядом гвоздят со стены.

Женщина, местный хранитель,
Глянет и тихо вздохнёт:
«Что интересно – спросите,
Я ведь не экскурсовод».

«Правда, что прошлое – лечит?
И, если помнить, – о ком?»
...Вдруг передёрнулись плечи
Под разноцветным платком.

«Девочкой видела мама:
Взьелись – свои на своих,
Гнали прикладами в ямы
И хоронили, живых.

Их ли побьют – одинаков
С каждым расчёт у земли.
Долго у тех буераков
Красные травы росли.

Кто, за кого они были,
Мама не знает (мала),
Помнит, как деда убили,
Помнит: бежала, звала...

Я до сих пор холодею,
Мамины помня слова.
Память про эту Вандею
Тут в каждом доме жива.

И помолчит, запирая
Воспоминаний подвал:
«Надо бы вам до Шибряя,
Там ещё есть, кто видал».

...Разве когда-то понятно
Было, кто там, у руля?..
Памяти белые пятна.
Бурые пятна – земля.

Сбегает лето

Пора, пора бы стать степенней...
Из хоровода пышных свадеб
Сбегает лето по ступеням
Заброшенных степных усадеб.

Пока предвестьем невесёлым,
Треща, заходитя сорока,
Шумит каштановым подолом
По листьям, высохшим до срока.

Бежит, пути не разбирая,
Ловя лицом паучьи сетки,
На край потерянного рая –
К заросшей травами беседке,

Где если есть ещё беседы,
То только, может, – ветки с ветром,
Где у ракит макушки седы
Потусторонним странным светом, –

И там встаёт у переправы,
Над плёсом затхлым и угрюмым...
И слёзы яблоками в травы
Срываются с тяжёлым шумом.

На закате

Если это закат, то нужно ли выбираться?
Постелить бы постель, замкнуть железную дверь.
Для чего мы летим на свет, попадая в рабство
Неоконченных мыслей и неизбежных потерь?

Так смешны на закате планы на воскресенье:
Именины, крестины, свадьбы, торги, враги.
Так пронзительно лихорадочное веселье,
Но за ним (беги – не беги) не видно ни зги.

Мы живём на закате. Немыслимом. Небывалом.
Солнце стынет, и отражается сердце в нём.
Наши лица и руки окрашены ярко-алым,
Древнеримским, прощально-августовским огнём.

Источаются, тают свечи высокой лепки.
Мир живёт ожиданьем итоговых новостей.
И уже не так объятья влюблённых крепки,
И уже не так прозрачны глаза детей.

Только в детской руке влекущей всё та же сила.
Да, мы выйдем из дома. И нас ещё ждёт полёт!
Ты, душа, на закате рождённая, будь красивой
И возьми столько света, сколько в тебя войдёт.

У старой колокольни

Живая жизнь везде пускает корни.
Весенний свет согрел лесную хмарь.
Акация цветёт на колокольне,
Тяжёлый шмель гудит, как пономарь.

О красоте былой не беспокоясь,
Не тяготясь ни горем, ни виной,
Она стоит, разбитая по пояс,
У кладбища – вратами в мир иной.

Минувших дней безвестные герои,
Святые и грешившие постом, –
Там те лежат, кто эти стены строил,
А рядом – те, кто рушил их потом.

И ясно: умиранье неизбежно.
Куда бежать, когда приют – готов?
И я в свой час хочу вот так же нежно
Растаять среди сосен и цветов.



Зинаида КОРОЛЁВА

Как живётся тебе, ветеран?

Почти три года прошло с момента переезда в Дом ветеранов. Мы с сестрой серьёзно отнеслись к этому повороту жизненных событий, потому что сами уже не могли себя обслуживать... Так мы оказались в этом доме, где нас встретили замечательные люди. Поселили нас в двухместной комнате. Каким-то образом туда вместились и все наши богатства: десять коробок медицинской и пятнадцать коробок художественной литературы... Вот только заставить себя участвовать в общественной жизни Дома ветеранов я не смогла: как отрезало... И вот недавно я впервые выехала на день своего рождения на праздник майских именинников. Он удался на славу, такие праздники у нас проводятся ежемесячно и всегда радуют нас... Очень приятно, когда о тебе помнят, говорят тёплые слова... Сотрудники интерната – социальные работники, медперсонал – все внимательно к нам относятся, помогают в жизни...

Долюшка-доля

Рассказ

Приближался вечер. Солнце скрылось за лесом, но ещё продолжало светить, греть землю. Пробивавшиеся между высокими соснами лучи скользили по лицу Ольги Николаевны, но уже не обжигали его, как днём. С реки подул ветерок, шевельнул занавеску, растрепал седую прядь на голове. Она поправила единственно действующей рукой волнистые волосы, глубоко вздохнула. Сейчас бы спуститься вниз, пройти по лесу или, на худой конец, просто посидеть на скамейке возле парадки, почувствовать ногами, всем телом дыхание земли, движение воздуха, искупаться в живительном дуновении ветерка. Но вот уже два года ноги не подчиняются хозяйке. Она с трудом дотаскивала своё исхудавшее тело до окошка, усаживалась на старый, с высокими ножами стул и часами смотрела в окно. Ольга Николаевна знала уже каждую ветку на ближних деревьях, различала птиц – своих и чужих, знала в лицо весь обслуживающий персонал, проходивший мимо окна; знала ходячих обитателей этого дома, гуляющих по тропинке. Приметила она и редких посетителей и знала, к кому они приходят. Их можно было легко отличить от коренных обитателей по торопливой походке и полным сумкам. Они как будто бы спешили отдать дань и загладить вину за своё беспамятство.

Но каким радостным блеском светились глаза счастливых, провожавших потом своих родных или знакомых! Проводив, они не спешили домой к привезённым гостинцам, а ещё долго-долго смотрели вслед ушедшему автобусу, иногда делясь своей нежданной радостью с первым встречным на остановке. В таком эйфорийном состоянии они находились несколько дней, возбуждённо повторяя свой рассказ, а затем в их взгляде появлялась тоска, а потом и безразличие, которое и было постоянным спутником многих обитателей дома престарелых.

Жизнь не стояла на месте, она шла своим чередом: завтрак, обед, ужин, беседы с соседями в промежутках. Казалось бы, что ещё надо

человеку: крыша над головой есть, одет, несытно, но накормлен всё же. Но по тем тусклым, блуждающим, то внезапно вспыхивающим острым взглядам, по тем нервно теребящим что-либо рукам можно было понять, что в этих позабытых всеми душах ежеминутно проносятся целые бури чувств, воспоминаний о прошлой жизни.

Вот и Ольга Николаевна, провожая воскресный день, не хотела мириться с мыслью, что сын (в который раз!) не смог приехать к ней. Навалившаяся тоска придавила её к стулу, мысли метались, как испуганная воробьиная стая, терзали и без того измученную душу, оставляя следы-бороздки на её красивом лице.

С улицы донёлся плач ребёнка. Ольга Николаевна всем телом метнулась к окну и увидела, что мимо ограды проходила бабушка с уставшим внуком. Ольга Николаевна тяжело плюхнулась на стул, прикрыла рукой глаза.

– Ты чего маешься, голуба моя? – прошелестела соседка. – Дай угомон своим ногам, поди-к затекли все. Полежи маленько.

– Да не лежится мне, Ефимовна, – грустно ответила Ольга Николаевна. – Мысли дурные лезут.

– И-и, родимая, от мыслей никуда не денешься, покуда жив человек, мысли с ним.

– А зачем жить? Для чего мы живём?

– А ты, золотая моя, не торопись на тот свет, не зови Косую, она сама за тобой придёт, когда наступит срок. Ишь ты: для чего живём? – Соседка села на койке, причесала реденькие миткалевые волосы, взяла со стула белый платок, накинула на голову, долго уравнивала концы, завязала узел, тщательно расправила каждый кончик, а потом сердито посмотрела на Ольгу Николаевну, повторила: – Для чего живём... Родились, вот и живём. Да плохо ль жить-то? Я вот – крючок старый, ни травиночки родной на этом свете – и то жить хочу. А ты? Чуть не вдвое моложе меня, а туда же, поперёд забежать норовишь. Аль не интересно о сыне, о внуках узнать? Оно, знамо, если бы они ходили к тебе. Ну а ты представь, что в другом городе они, не могут приехать. Да не сверкай ты на меня глазищами, знаю, что себя не обманешь. И на край света мать

уехала бы, только б позвали. Да что поделаешь, нынче время суматошное, пириуд такой – матерей охаивают.

Ольга Николаевна вопросительно посмотрела на соседку.

– Вы о чём это, Ефимовна?

– Ну, это когда бабы мужиками правят, по радио так говорили.

– Ой, Ефимовна, вы своими словечками и мёртвого из могилы поднимете. Этот период называют матриархатом.

– Вот, вот, он самый. Не выговоришь никак, прямо язык сломаешь. А по-моему-то вернее получается. А вы всё по-учёному. А по моему разумению так: лучше попроще, да по совести. Тогда бы и в таких вот домах свободней стало. А то что же это такое? При живых детях старики в домах призрения, при живых родителях дети сироты.

– Вы мои мысли читаете.

– И, милая, в этом доме почитай все так думают, только не каждый говорит об этом. Всё больше молчат.

– Молчит каждый о своём.

– Это точно, молчит каждый о своём. – Ефимовна натянула стоптанные, размочаленные тапки на скрюченные ноги, взяла старую, согнутую, как и сама хозяйка, палку и стала медленно двигаться по комнате. Вот она остановилась рядом с Ольгой Николаевной и продолжила: – Когда молчишь, то чего только не придёт на ум. Я вот всё думаю: жила бы я в своей квартире, так дешевле обошлась государству, ежели б кто ухаживал за мной. А то вот обещали мне через два года взять на обслуживание. А их ещё надо прожить, эти годочки, они что-то длинные стали. А одной жить совсем немоготу. Ты вот возьми такую пустяковину: отросли ногти на ногах (они, паршивцы, так быстро растут), и не подрежу их никак, руки совсем ослабли. Прошу соседку: «Татьяна, откромсай ты мне их за ради Бога, мешают очень, обуться не могу». А она мне:

– Что ты, бабушка, я стесняюсь. Я даже мамке своей не подстригала. Вон пусть Славка подрежет, ему всё равно.

– Давай, бабуля, на бутылку, я тебе что хочешь отрежу, – хохочет тот.

– Твоя-то мать молодая была, – говорю Татьяне. – И то последний месяц я за ней ходила.

Ну что с неё взять, с цыпы. А Славке действительно всё одинаково: что ногти подрезать, что по голове стукнуть. Отца, мать забыл, безразличный стал, всю совесть водкой залил. А до свадьбы в рот ни капли не брал, стеснительный был. Всего его перевернула, перекрутила Татьяна. Да-а, мать её молодая ушла, а я вот задержалась на этом свете. Видать, за убитого мужа да умерших от голода детей живу. Вот и пришлось сюда идти. Уж немного остаётся: девятый десяток на спад пошел. А ты подумай, умирать-то совсем не хочется! Мне бы ещё годовиков пяток на своих ногах по земле потопать... А ты, Николаевна, о чём молчишь?

– Да всякая ерунда в голову лезет. Вот вашему характеру позавидовала.

– Нашла чему завидовать. Чем это твой характер хуже моего? У всех бы столько было доброты, глядишь, и горя поубавилось.

– Горе – оно, для равновесия что ли, бьёт сильнее по добрым. Может быть, чтобы испытать на прочность? Вот вы говорите: соседка – «Ципа». Не велика беда, если она одна такая. Но что-то сдвинулось в нашем сознании, переступили мы запретную черту, и стало их много. Сами родителей не признают и мужей коверкают. А того не хотят понять, что, насильно заставляя мужа забывать родителей, они обрекают себя на неуважение. И не только со стороны мужа, но и со стороны детей. Когда-никогда это прорвётся. Вот, считай, и пошла цепочка от такой Ципы. И заполняются горем да обидой дома престарелых, детдома. Невежество, бескультурье – оно как бумеранг: возвращается к нам и бьёт нас же самих. Жаль, что понимаем это слишком поздно. Жизнь назад не повернёшь, не переделаешь на новый лад. Дети – это не сберегательный банк, от них мы получаем ровно столько, сколько вложили. А проценты оплачивать нам приходится самим – своим здоровьем, бессонными ночами. Я не понимаю тех, кто утверждает, что тратит на воспитание ребёнка только семнадцать минут. Как это так?! Да вся жизнь родителей – это домашняя академия для ребёнка. Наше отношение к старшим, к работе, к нашему обществу, наконец, – всё это дети впитывают, как губка. Они перенимают всё от нас, даже ещё не родившись. И нашу любовь, наше безразличие и нашу злобу.

– Ты, Николаевна, не терзай себя понапрасну, не спеши выносить себе приговор. У тебя еще много дней-ночей впереди, всё успеешь перелопатить, осудить и себя, и других.

– Кто знает, у кого сколько их осталось, дней-то, – печально произнесла Ольга Николаевна, поглаживая левый бок.

Ночью она никак не могла уложить затёкшие за день ноги. Она ворочалась, крутилась с боку на бок, ища удобную позу. А мысли металась, будоражили душу, не давая уснуть.

Она пыталась докопаться до причины разрыва с сыном. Когда, какую она совершила ошибку? Может быть, началось всё до свадьбы, когда она настаивала на том, чтобы свадьбу справить у них в районе, в столовой? Для этого она многие годы собирала деньги. У неё и мысли не могло возникнуть, что сын куда-то уедет от неё. Но невестка с родителями настояли на своём: свадьба будет в собственном доме и жить они будут в нём. А Ольге Николаевне не хотелось отдавать сына в примаки. Пришлось ей уступить, хотя всё же настояла, что жить они будут у неё.

Так в чём же её вина?! Анализируя в тысячный раз день за днём, час за часом те полгода, которые они прожили вместе с невесткой, Ольга Николаевна пришла к выводу, что скандал, когда в запальчивости было сказано много лишнего, явился не причиной, а поводом для отъезда. А причина была в другом: невестка не хотела жить вдали от своей мамочки. А самое главное – мужа она считала послушным домашним рабом, а у раба не должно быть близких. Одним словом – матриархат.

Да и разрыв ли это? С какой радостью сын приезжал к ней, спешил поделиться всеми своими успехами, даже самыми маленькими. С какой любовью рассказывал о своих пациентах, о проведённых операциях, о своих детях. И столько ликования было в его глазах. Ему всегда не хватало времени всё рассказать, и он спешил: говорил, говорил, говорил. И какой грустью, обидой затягивались его глаза, когда она спрашивала его о жене. А какой болью наполнялось сердце матери, когда она видела, как меняется сын в худшую сторону: он становился раздражительным, грубым /это она улавливала из его рассказов/, а

его серые, со смешинками глаза заволакивались чёрной дымкой. Но с ней он оставался прежним: заботливым, нежным. Если бы они жили рядом! Тогда и не пришлось бы ей, как бездомной, жить в доме «презрения», по высказыванию Ефимовны. Хотя как знать. Вот сейчас и рядом, а он так редко бывает у неё. Уж не боится ли?!

А что, если её вина во всём? Не надо было вмешиваться в жизнь сына, пусть бы поступал по-своему. Но за годы его воспитания она привыкла все проблемы взваливать на свои плечи, потому и здесь не удержалась, считала естественным что-то ему посоветовать, подсказать. Можно же было решить все вопросы мирно, если бы её захотели понять, услышать.

А может быть, её главная ошибка в том, что решила родить сына?!

– Нет, нет! – всё закричало и воспротивилось в Ольге Николаевне. Она так зримо увидела маленькие, худенькие ручонки сына, что невольно протянула руку вперёд и села. Как она могла подумать такое? Как додумалась до такого абсурда?!

Она была готова вновь пройти по тому кругу пересудов и насмешек, слёз и отчаяния, радости и надежд. Пройти, чтобы увидеть такие дорогие, такие родные глаза сына, её защиты, её утешения.

А мысли её были уже далеко. Память возвращала её в тридцатилетнюю давность.

* * *

Ольга подошла к зеркалу и, увидев в нём своё отражение, осталась недовольна собой: лицо уставшее, вялое, глаза, как у бездомной собаки, – жалобные. Она усмехнулась, погрозила пальцем зеркалу и сказала, обращаясь к двойнику:

– Эй, подружка, хватит хандрить! Забыла, что тебе к Марии идти? А в гости, как известно, с прокисшим настроением не ходят. Так, делаем маленький макияж... и... мы преобразились...

Ольга ловко манипулировала с баночками туши, теней, помады. Лицо её преображалось, но этот яркий вид был непривычен для неё, так как она, кроме помады, никогда не пользовалась красками.

– Нет, так я похожа на загулявшую девицу. «Не пойдёт», – шутливо сказала Ольга и, зайдя в ванную, смыла всю краску, затем слегка провела помадой по губам, расчесала длинные каштановые волосы, надела плащ и, захватив ореховый торт, вышла на улицу.

Ольга редко к кому ходила в гости, потому что её одноклассники, сослуживцы по работе давно обзавелись семьями, у всех были свои заботы, радости. И только когда у кого случались неприятности или разлады в семье, они приходили к ней домой, плакались, жаловались на мужей, на свою несчастную долю. Она всех выслушивала, утешала, уверяла, что всё уладится. Успокоившись, подруги уходили и пропадали до следующего конфликта в семье. Иногда кто-нибудь говорил с завистью:

– Хорошо тебе: чистота, порядок, никаких забот.

Но с какой радостью она сменяла бы свою свободу на их семейные мытарства! И только Мария, с которой она познакомилась в доме отдыха, никогда не жаловалась, а просто приглашала Ольгу на чай. Вечера проходили в спорах о книгах, о фильмах. Но таких вечеров было мало – Мария с семьёй по выходным и в праздничные дни уезжали в деревню к родителям. А сегодня Олег – муж Марии, – приехал из отпуска и Ольга была приглашена на чай. Дверь открыл Олег и, увидев её, воскликнул:

– А вот и наша красавица пришла!

Он помог Ольге снять плащ. А её за руку теребил шестилетний Серёжка.

– Ну, быстрее, Оля, пойдём, покажу, что папка привёз.

– Сергей, марш бегом в спальню, не мешай взрослым, позже нахвалишься игрушками, – Олег с нарочитой серьёзностью подтолкнул сына к спальне, взял Ольгу под руку и повёл её в зал.

– Сейчас познакомлю со своим другом, я его на недельку затащил.

В комнате звучала музыка. Мария в новом нарядном платье танцевала с незнакомым мужчиной. Ольга посмотрела на него, их взгляды встретились, и её бедное сердечко ёкнуло, сжалось: ей нравились именно такие мужчины – стройные, подтянутые, сероглазые. Взгляд мужчины манил, привораживал. Но смотрел он на неё оценивающе, взглядом человека, избалованного вниманием женщин. Ольга смутилась, замкнулась, а Олег, не замечая этого, подвёл её к танцующим, весело сказал:

– Вот, Алексей, это та самая Олюшка, о которой я тебе говорил.

– Олег весь отпуск говорил о вас, пожалуй, даже больше, чем о Мари. Я понимаю его. Иметь такую жену-богиню – надо быть большим стратегом: чем меньше говоришь о ней, тем меньше привлекаешь постороннего внимания. – Алексей смотрел на Ольгу, снисходительно улыбаясь, а боковым зрением улавливал все движения Марии.

За столом Олег вдохновенно рассказывал об отдыхе, о том, как они познакомились с Алексеем.

– Вы представляете, девочки, заявляется ко мне в комнату морской офицер – франт: с кортиком, при эполетах. Но меня этим не проймёшь, я сам – бывший моряк. Так что мы быстро нашли общий язык. А вот девочки перед ним «падали».

– Да, видать, и ты там не скучал, – сердито сказала Мария, глядя на мужа, сидящего рядом с Ольгой.

– Да что ты, жёнушка, кому нужны такие охламоны? Там такие не котируются, – Олег весело смотрел на жену, бросившую косые взгляды на него и Ольгу. – Да что это мы загрустили? Веселиться надо! – Он подошёл к магнитофону и стал перебирать кассеты в коробке.

Ольга подумала: «Что это с Марией? Ревнует Олега ко мне? Тогда зачем приглашала?»

Зазвучала музыка. Алексей проворно встал, галантно раскланялся перед Марией и закружил её в танце, что-то шепча ей на ухо. Они рассмеялись и оба, разом, посмотрели на Ольгу. Она вспыхнула, взгляд заметался по комнате, ища лазейку, чтобы исчезнуть, испариться. Олег заметил её смущение, ещё ниже склонился над коробкой с кассетами, уши его покраснели, а лицо, наоборот, побледнело.

Улучив момент, когда Мария и Алексей повернулись к ней спиной, Ольга проскользнула в прихожую, сорвала плащ и выскочила на площадку. По лестнице и по улице вплоть до своего дома она бежала, будто за ней гнались. Вбежав в свою комнату, она зажгла свет, повесила плащ и остолбенела – плащ был мужской, более того – с погонами! Ольга в замешательстве смотрела на плащ, потом схватила его, метнулась к двери, но, представив насмешливый взгляд Алексея, остановилась. Она вернулась вновь, повесила

плащ, села и с удивлением смотрела на него. Это была первая мужская вещь в её доме...

Вдруг Ольге представилась большая красивая прихожая, в которой Алексей надевает плащ и тихонько утешает её:

– Олюшка, я через полгода вернусь, не скучай без меня. А орлам я приказал, чтобы хорошо себя вели, слушались свою маму, самую замечательную, лучшую из всех на планете.

– Эти орлы настоящими разбойниками стали. Ты поговорил бы с ними по-мужски, а то совсем от рук отбиваются. Возраст у них самый опасный – обязательно себя утвердить надо, вот только в чём, сами ещё не знают.

– А ты, радость моя, не перегибаешь? Мне кажется, ребята хорошие растут, любознательные, шустрые.

– Вот и беда в том, что слишком шустрые – они же к взрослым тянутся, а тебя годами нет. Вот ты говоришь, не скучай, а разве можно так? Иногда такая тоска накатит – день годом кажется. – Ольга стояла, прижавшись к мужу. Ей хотелось хотя бы немного задержать его.

– Милая моя морячка, ты должна привыкнуть. А насчёт тоски... Вам легче: вы на берегу, с вами дети, – Алексей ласково, нежно перебирал её волосы.

– Да без них-то совсем с ума сойти можно. Наверно, потому и распадаются семьи.

– Да нет, родная, распадаются семьи без любви. Ты и без детей стала бы ждать.

– Ты так уверен, Алёша?! – лукаво улыбнулась Ольга.

– Уверен. Больше, чем в себе...

...Зазвенел звонок. Ольга вздрогнула, недоумённо посмотрела вокруг: в прихожей горел свет, а в окна врывались резвые солнечные лучи. Вновь зазвенел звонок. Ольга открыла дверь и отшатнулась назад – на площадке стоял Алексей. Преодолев смущение, она пригласила его в квартиру.

Алексей перешагнул порог, поставил чемодан на пол и протянул Ольге её плащ.

– Вы по ошибке взяли мой плащ. – Алексей говорил тихим безликим голосом, не поднимая головы. Был он весь поникший, потухший, как закат перед пасмурным днём.

Ольга внутренне метнулась к нему навстречу, встревоженно предложила:

– Да вы проходите, посидите, я сейчас кофе сварю...

* * *

Вспоминая это, Ольга Николаевна спокойно улыбнулась. В самом деле, как это ей могло прийти в голову – не иметь сына, её Алёшки! Правда, первый год после его появления пришлось туго, много слёз пролила. Особенно когда надо было везти его в поликлинику. Это с одной-то рукой! Вторая, полупарализованная, была плохой помощницей. Дома где зубами поддержит, где как. А на людях?! Нелегко было на её мизерную зарплату растить сына. Но всё пережила. Зато сколько было радости, когда Алёшка стал лепетать, а затем и говорить! А какая она была гордая, когда он закончил институт!

Вырос сын добрым, совестливым. Те годы для неё были годами нормальной, полнокровной, счастливой жизни. Двадцать девять лет счастья.

– А сейчас?! – спросила себя Ольга Николаевна и тяжело вздохнула. «Но разве этого мало – знать, что после тебя осталась ветвь?!» – прозвучал внутренний голос.

Чего же ты хочешь, Ольга?!

Необычные фронтовые встречи

Рассказ

Почти рядом с дорогой стоял дом, как бы чуть-чуть отстранившись от других домов. Он выделялся тем, что был отделан резьбой наличников окон, дверей, фронтона.

Рядом за оградой был колодец. Так как возле него останавливался весь проезжавший транспорт, он оказался у самой дороги. Рядом

всегда было много народа, шумно, весело. Отличные привалы получались.

Вот и сегодня из остановившегося танка выскочил молоденький танкист Алексей Седов, отстегнул фляжку от ремня, зачерпнул воды из ведра, отпил несколько глотков, с удовольствием крикнул и посмотрел по сторонам. Из подъехавшей полуторки на землю попрыгали солдаты и заспешили к колодцу. Среди них выделялся пожилой солдат с необычной внешностью: у него была седая кудрявая шеvellюра, такие же бакенбарды, борода и усы. Танкист подошёл к нему, протянул фляжку с улыбкой.

– Выпей, отец, родниковой водицы. У нас дома точно такая же была. Отец у нас мастеровитый, всё умеет.

Солдат с усмешкой взял фляжку, попил воды и вернул танкисту.

– Спасибо, сынок, за водичку, спасибо за память о доме, спасибо за добрые слова об отце. А что же ты меня, сынок, не признал? Или я так постарел? – он держал танкиста за плечо и заглядывал ему в глаза.

Танкист вздрогнул, рывком отстранился от солдата:

– Отец, это ты? Не может быть! Ты же в два раза старше был. Мы только вчера говорили о тебе с Петром. Вот на этом самом месте. – Танкист упрямо тащил солдата к берёзе, у которой была ладная скамейка.

Отец остановился как вкопанный, спросил хриплым, осиплым голосом:

– С каким Петром? С нашим? Дак на него мать получила третьего похоронку.

– Да что ты, батя! Я же говорю, вот на этой самой лавочке сидели.

– Мне отпуск дают на десять дней по этому поводу, потом разыщу тебя, расскажу. Теперь-то я вас не потеряю из вида.

Отец с сыном расстались, чтобы вновь встретиться у этого же колодца.

– Сынок, с грустной вестью я к тебе. Мать я похоронил. Вот на этих самых руках умерла, – он протянул руку к Алексею, – не сумели спасти, инфаркт. Я успел ей сказать, что Пётр жив. И о тебе сказал. А она протянула похоронку на тебя и стала оседать. Я подхватил её, а

она на руках у меня отошла. После похорон я нашёл того, кто всё это делал, – почтальонка Лидка, твоя бывшая невеста. Не простила, что у вас распалась дружба.

Алексей сжал кулаки, побледнел:

– Жив останусь, разорву её на части на ракете за мать, не прощу.

– Да она не только с матерью так поступила. Она переводы фронтовиков прикарманивала. Посадили её, сынок. Бог даст, надолго. А ты почему без танка? Случилось что? – отец тревожно смотрел на сына.

– Сожгли наш танк. А я из госпиталя. В пехоту меня направили.

– А ну-ка дай глянуть, в какую часть. О, да это в наш полк. Попрошу, чтобы к нам в разведгруппу. Вон наша машина подъезжает, поедem вместе.

Так отец с сыном прослужили вместе, расставаясь только на время пребывания в госпиталях. И вот сейчас ехали на своей полуторке до ближайшего вокзала, чтобы поездом отправиться домой.

Машина затормозила, и в кузов запрыгнул майор. Он сразу присел на корточки. А отец с сыном стояли у кабины, как бы обнимаясь, и тихо говорили между собой.

– Отец, про Петра знаем, что он остался в Германии на год, а вот от Антона ни одной весточки. Может, вначале что писал матери, да что ему ответили? Может, что уехали в другую область или в район. Например, в Балашиху.

Тут из середины кузова раздался голос:

– Ребята, я чувствую, вы из моих мест. А вы что-нибудь слышали о Нефёдовке? Жив там кто?

Алексей и отец разом развернулись в сторону говорившего майора и уставились на него, глядя во все глаза.

– А ты чей же там будешь, сынок?

А Алексей заорал во всё горло:

– Батя, да это же наш Антон! Живой!

– Да не может того быть, – неуверенно проговорил отец.

Антон пробрался к кабине, обнял отца и брата.

– Как видишь, отец, всё может быть. А ты что такой заросший? Давно такой?

– Да я-то с самого начала войны. А ты давно стал дедом?

– После одной операции. Да так и остался дедом, пока не вышли из партизанского отряда. А теперь решил до дома. Даже не верится, что войне конец. Теперь надо начинать жизнь заново.

– Да не скажи. В самом начале войны у нас с матерью родился ещё один сын. Матери помогала баба Катя – наша дальняя родственница. У неё потом на квартире стали жить эвакуированные со Смоленщины. Вот у них-то я и оставил нашего Павлушку. Как он там без отца, без матери? Уже пятый годок пошёл. А смыслённый такой, всё с рук у меня не сходил, боялся один оставаться. Ну вот, за разговором и до дома добрались. А вон сынуля.

На руки к отцу прыгнул шустрый пацанёнок, уткнулся ему в бороду и замер.

– Ты что, сынуля? Насовсем я, навсегда.

В доме было чисто, уютно.

– Баба Катя, кто же за всем присматривал? Ты-то уже старенькая.

– Да вот Татьяна, моя жиличка. Они тут с Павлушкой живут, уж как она к Павлушке привязалась. Я её с нашей Татьяной-упокойницей сравниваю. Как один человек. Ты не обижай её. Твоя Татьяна спасибо ей бы сказала.

– Я всё понял, баба Катя.

– Да, а ребята заговорённые оказались. Помнишь, мы все перед вашим призывом ездили к деду Евсею на заимку? Аксиныя тогда нас провела через кострище. А Татьяна тогда не поехала с нами. А зря, может быть, была бы живая.

– Сила заговора бывает сильная, нас вот пуля-дура кружила, кружила, а насмерть не уложила, правда, ребята? – отец оглядел сыновей.

– Да, отец, верно, на фронте хочешь-не хочешь, а будешь верить во все приметы. Меня почему дедом прозвали? Да потому что всех стариков всегда слушался и толк всегда был, – сказал Антон.

– А баба Аксиныя сказала, что Пётр вернётся в четверг. Велела готовиться. Вчера получили телеграмму, что его демобилизовали и он едет домой. Вот я уже все запасы пересмотрел, может, всеобщий праздник устроим, Егор?

– Хорошо бы рыбки наловить, – Татьяна немного осмелела.
– Утром на зорьке посмотрим, – Егор согласно кивнул головой.
– А ты, батя, вовремя вспомнил о займке, надо к деду Евсею наведаться. Может, и работу там подыщу, душа покоя просит. – Антон встал, потянулся, заполнив всё пространство до потолка.

– Да и поблагодарить их с Аксиньей не забыть бы. Доброе напутствие, оно, как молитва, доброе дело сослужило. Вот Петра встретим и нагреем к ним.

В четверг перед обедом во двор к Седовым заглянул солдат, устало присел на лавочку, окинул взором двор, и по щеке покатилась слеза. К нему подбежал отец.

– Петро, как же хорошо, что ты наконец-то добрался до дома. – Егор присел и обнял его.

– Да я, батя, что-то закружился. Меня мутить стало. Спасибо, одна женщина отвела меня в медпункт и там мне помогли. Наверное, я съел что-то несвежее в буфете. И вот кое-как добрался до дома.

– А ты что же, всю дорогу пешком шёл?

– Да, попутка не попала. И вообще как-то не везло мне в последнее время.

– Да кто ж тебя так закружил-то? – отец взял руку Петра и перекрестил его.

– К Евсею срочно надо ехать. Завтра и поедем.

Назавтра они собрали сумку с продуктами – две больших свежих рыбины, две жареных, кусок сала, пучок зелени – и все вместе поехали.

Дед Евсей и Аксинья обрадовались.

– Я много думал о вашей семье. Много горя вам пришло от людей, а они не понимают того, что, делая зло другим, они творят его себе. Возьми почтальонку Лидку, сколько она людям зла сделала, а на самом деле зло сделала своей родне: из них пятеро ушли на фронт и ни один не вернулся. Надо всегда помнить о том, что зло возвращается к нам. А ты, Антон, говоришь, тебя к природе тянет, так ты иди лесником вместо меня, а то я уже совсем сдаю. Вот и будет всем хорошо.

Когда возвращались домой, Егор и Татьяна сидели рядом и тихо переговаривались. Павлушка сидел между ними, прижавшись к боку отца. Когда подъехали к дому, то он первым соскочил с телеги и юркнул в ворота. Зашедшие следом увидели его среди двора, он громко сообщил:

– А папка и мама Таня собираются обжениться. Завтра в сельсовет пойдут.

– Ну вот, Татьяна, что не договорили, придётся обнародовать, с этим разведчиком тайны не будет. Завтра распишемся, посидим за столом. Вот за дедом Евсеем с Аксиньей съездим. А больше и родни-то нет. Зачем зря шуметь? Татьяна говорит, что в доме ещё дух Татьяны не выветрился. А как хозяйка скажет, так и будет. Деньги на постройку дома нужны.

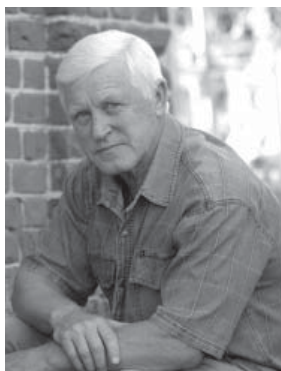
– Папка, а ты не зевай, а то дядька Семён глаз на маму Таню положил.

– А ты что думаешь, мы его глаз в сторону отвести не можем? Мама Таня нам и самим нужна, правда, сыны? А ты в кого у нас такой шустрый, Павлушка?

– Все говорят, что в тебя, батя.

– А это разве плохо, отец? – Антон подбросил Павлушку вверх. – Ну, что, брат, с такой ватагой веселее будет? Расти на радость нам.





Сергей КОЧУКОВ

На Тебя уповаю

Фрагменты повести

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину бурных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжёлый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы –
Молиться кротко за врагов ...

Сергей Бехтеев, 1917 г.

Глава первая

Холод. Холод стылого каменного мешка отнимал последние силы. Потолок и стены карцера с нависшим толстым слоем сизой изморози давили затухавшее временами сознание. Безжалостный холод вползал в тело, вползал, казалось, в самую душу, и она, иззяб-

шая, измученная, жалась к рёбрам, роптала в такт слабым, неровным ударам такого же замёрзшего сердца. Густой кислый воздух с неистребимым запахом мочи, был неподвижен, стыл и безразличен к мучениям узника.

Время своими замёрзшими стрелками тянулось мучительно медленно. Казалось, этой бесконечной пытке стужей не будет конца. Впрочем, скрюченный годами и холодом бородатый заключённый карцера знал наверняка, что рано или поздно конец наступит. Наступит с окончательной победой холода над теплившейся внутри душой, с последним ударом сердца, с последним мигом сознания. Он ждал этого конца, знал его неизбежность, был спокоен и всецело готов к нему. Он не умолял Господа избавить его от мук, не торопил принять его в свои чертоги. Знал – всё в воле Божьей, всему свой черёд. Им определённый.

Отец Фёдор знал и другой путь избавления от мук телесных. Стоит только закричать, завопить, заколотить в покрытую хрусталиками инея железную дверь. И тебя услышат, тебя поймут, тебя обогреют, напоят горячим обжигающим кипятком. Тебя не будут избивать, с тобой будут говорить участливо и почти ласково. А ещё тебе подсунут листы серой бумаги и скрипучее перо. И ты часами будешь писать, как готовил покушение на всеми обожаемого вождя, как работал на румынскую и японскую разведки. Ты будешь знать, что тебя всё равно шлёпнут, но чтобы продлить это состояние тепла, даже некоего участия в твоей заблудшей жизни твоих следователей, ты ещё несколько дней будешь записывать всех соучастников твоих преступлений, с кем вместе готовил свержение всеми любимой и дорогой власти. И что с того, что тебе без малого семьдесят и ты ни разу в руках не держал даже охотничьего ружья, что в силу твоих возрастных хворостей тебе уже физически трудно поднять руку перекреститься, не то, чтобы поднять её на власть. Да... Муки телесные можно прекратить, но кто избавит от последующих мук душевных, чем искупишь предательство собственного «я», предательство безвинных людей, которые считают тебя своим близким, своим другом? Вынесут ли разум и тело тягчайший грех твой? С чем предстанешь пред очами

Господа нашего? Найдёшь ли слова оправдания окаянной, запроданной дьяволу душе своей?

Отец Фёдор был сидельцем опытным, этот арест и заключение были третьими в его жизни. На этот раз всё было гораздо тяжелее. И он лишь слабо лелеял надежду, что и на сей раз допросам и пыткам придёт конец и его отправят по этапу в какой-нибудь лагерь. И вновь будет Север, будет собачий холод, изнурительный труд и постоянное чувство голода. Но сейчас он мечтал о лагере почти как о желанной свободе. Он знал, как жить там и как выживать. Там не было главного – выматывающих душу допросов и издевательств, пыток и унижений. Сейчас он словно забыл о всех иных «прелестях» лагерного бытия, ему грезилась только такие же, как он, доходяги, которые из последних собственных сил помогут выполнить твою дневную норму спиленного леса или вытащенного грунта со дна будущего канала. Ему слышались приглушённые голоса барака со словами любви, добра, прощения. Ему по душе эти приглушённые голоса, объединённые общей трагичной судьбой лагерников, верующих, безбожников-атеистов и даже урок-уголовников. И собственный голос, несущий слова проповеди о любви к ближнему, о смирении, о силе духа и Божьем заступничестве. С его словами смолкали политические, смолкали уголовные, смолкали барачные стукачи из числа тех и других, и не было случая, чтобы об этих ночных беседах-проповедях вчерашнего сельского батюшки узнало лагерное начальство.

Отец Фёдор был стар и многоопытен, ему ведом был и другой верный способ если не избавления, то хотя бы смягчения терзающих его мук. Это был даже не способ, а единожды избранный образ мыслей и действий, которому он следовал седьмой десяток жизни. Он долго мостился на ледяном полу, подтыкая под негнувшия колени полы своего изношенного пальто, мучительно согнул и разогнул в земном поклоне скованную холодом спину. Из разбитого в кровь рта, сквозь едвадвигающиеся заледеневшие губы потекла молитва. «Господи, достойное по делам моим получаю, но прости мне и дай мне терпения, чтобы не роптать на Тебя. Господи, будь милостив мне, грешному. А врагам своим желаю добра и прощаю их за все их издеательства.

Господи, прости их. Помоги врагам моим обрести любовь в сердце, пусть будут здоровы они и их семьи, и пусть благочестие и Твоя благодать посетят сердца их. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи Человеколюбче. Ведь и ты, на кресте распятый, просил отца своего простить врагов твоих, ты обращался к нему со словами «Отче, отпусти им: не ведают бо, что творят... Господи, все мы создание Твое; пожалей рабов твоих, и обрати их на покаяние...»

Голос звучал едва слышно, слова искренней, идущей из самых глубин души молитвы падали в непроглядную темноту холодного каменного мешка, теснили её, заставляли светлеть. Отец Фёдор, не ведающий в этой темноте даже в какой стороне восток, вдруг явственно начинал различать лик Спасителя перед собой. Совсем рядом, руку протяни, и, кажется, дотянешься. Он явственно видел Христово изображение на чёрных потрескавшихся досках иконы, точно такой, как в его родном храме Архангела Михаила. Лик освещался снизу едва заметным огоньком лампы. Огонёк был слабым и трепетным, но отец Фёдор готов был поклясться, что от него исходил поток настоящего тепла. И хотелось внимать этому свету, этому теплу, бесконечно долго говорить с тем, чей лик был изображён на иконе.

...Сознание порой прерывалось, и недолгое тревожное забытьё надвигалось на узника. Он давно потерял счёт времени, но, едва очнувшись, вновь видел перед собой лик Спасителя и голос из сипящего застуженного горла вновь молил: «...Пожалей, Господи, люди твоя, обрати их на покаяние...».

В зыбком, временами затухавшем сознании то ли видения, то ли обрывки воспоминаний теснились, накатывали чередой. Были светлы они и теплы до того, что душа заледеневшая сочилась апрельской капелью, оттаивала. Да и как не быть им светлыми, если это воспоминания о подзабытом ныне, безмятежном детстве, о той самой поре, когда мир расцвечен только яркими солнечными красками и пред тобою целая жизнь – счастливая, влекущая, бесконечная.

Луг привиделся. В утренней росе, в каждой капле которой отражение всходящего солнца, в россыпи цветов, над которыми жужжат гудят пчёлы.

Фигура отца, коренастого, с туго связанным на затылке пучком седеющих русых волос, в посконной, взмокшей от пота рубахе навывпуск. И мерное вжиканье его косы-литовки, и ровный ряд полёгших за ним трав. «Хороши ныне травы, – довольно щурится батюшка Алексей. – Хватит на долгую зиму и бурёнке, и телушке, и мерину гнедому «Хузару», всем хватит».

– Ой! А это кто там ко мне топает? Никак, Федюшка, помощничек мой идёт? – и сильные руки отца, отбросив косу, подхватывают Фёдора, поднимают, казалось, к небесам и кружат, кружат так, что захватывает дух. Обхватив отца за взмокшую шею, Фёдор с замиранием сердца жмётся к его густой мягкой бороде. А борода действительно мягонькая и пахнет свежескошенной травой и едва-едва укоренившимся за годы ладаном.

Фёдору посчастливилось родиться и вырасти в большой трудолюбивой семье сельского священника отца Алексея и матушки Анастасии. Отец Алексей первым из рода бывших однодворцев, а затем государственных крестьян Непряхиных избрал путь служения Господу, осилил курс духовного училища в губернском городе. Служил псаломщиком, потом дьяконом и вот уж более десяти лет рукоположен во иереи, направлен в обширный приход людного, многотысячного волостного села. Села, расположенного в излучине тихой речки, что неспешно несёт свои воды по русской равнине, на границе лесов и степей, среди тучных полей без конца и без края и тенистых дубрав с холодными ключами.

Поселение в столь красивых, благостных сердцу местах считал отец Алексей Божьим промыслом, потому неустанно благодарил за это в молитвах Всевышнего, служил ревностно и праведно. А ещё благодарил Бога за ниспослание ему доброй и кроткой супружницы и деток, трудолюбивых и почитающих родителей.

Посвятив себя православному служению, отец Алексей не столько в душе, сколько в повадках, образе мыслей и поведении оставался истинным крестьянским сыном. В отличие от большинства сельских батюшек, сдающих церковный надел в аренду, хлеборобствовал самостоятельно, сам пахал, сеял, косил. Оттого, несмотря на строгость

в делах церковных, был близок своим прихожанам. «Наш батюшка не токмо молитвой праведной живёт, но и трудов крестьянских не чурается», – говаривали с уважением о нём мужики. До его перевода в этот приход среди прихожан грамотных были единицы, да и те из волостных служащих дворян, мещан, да из числа немногочисленного купеческого сословия. Три года добивался отец Алексей открытия в приходе школы, достиг своего. Первым из жителей внёс свою денежную долю на обустройство церковной сторожки под класс, на оплату учителя, сам преподавал безвозмездно Закон Божий. И уже через год школа выпустила первых грамотеев – тридцать одного подростка, среди которых двадцать шесть крестьянских детей.

В трудах, в рвении ради семьи, в заботе друг о друге воспитывал отец Алексей своё семейство. Молитвой, церковным бдением не неволил, давал возможность самостоятельного выбора. Искренне считал, что у каждого своя к Богу дорога, и не обязательно на стезе священнического служения.

Перед внутренним взором отца Фёдора чередой прошли его родные, все шестеро, трое братьев и трое сестёр. Каким же он был счастливым, самый младший, последушек, какой всеобщей любовью и заботой окружен! Братья Василий, Арсений и Алексей, учили труду, уму-разуму, горой вставали в деревенских мальчишеских потасовках. Сёстры Надежда, Любаша и Вера души не чаяли, всё тетёшкались, примеряя на нём маленьком своё будущее, уже недалёкое материнство. Все трое закончили женское епархиальное училище, Надежда с Любашей по сей день учительствуют, детьми и внуками богаты. Верочка иной путь избрала, невеста Божья, ушла в монастырь, да только после революций и войн сожжен был тот монастырь, и сестра сгинула невесть где, будто и не было человека на свете. Поминал её всегда как усопшую, уверен был, будь жива сестра – вернулась бы в отчий дом, чего бы ей это ни стоило. Завздыхал отец Фёдор, Верочку вспомнил, да и не одна она, кто из их большой семьи почил в бозе в преклонных годах, либо принял насильственную жестокую смерть. Завздыхал отец Фёдор, слеза из смеженных век вытекла, в бороде густой затерялась, через секунду превратившись в прозрачную льдинку.

Новый следователь Ферапонтов Владимир Павлович всего два дня назад прибыл в губернский город из Москвы с не очень понятными местным кадрам полномочиями, назначен временно на невысокую должность с весьма размытыми функциями. Оперсостав и сотрудники следственных подразделений насторожились, их руководство заволновалось, местная власть не на шутку обеспокоилась. Неожиданный приезд столичного работника был расценен однозначно – исключительно как посещение их глубинки очередным московским проверяющим. Вся его тайная деятельность виделась местным бюстителям не иначе, как «шитой белыми нитками», а невысокие звание и должность лишь плохо скрываемой ширмой. Достаточно было взглянуть на красивое, мужественное лицо Владимира Павловича, его высокий без морщинок лоб с глубокими залысинами, упереться взглядом в его пытливые, с лукавым прищуром серые глаза, услышать первые замечания, чтобы оценить его недюжинный интеллект, богатый жизненный и оперативный опыт. Не только оценить, но и осознать всю опасность, всю непредсказуемость его действий с далеко идущими последствиями. Что касается последствий, то они-то для местных кадров как раз и были предсказуемы, тридцать седьмой год на дворе. Для многих, кто создавал машину репрессий, аппарат гонений, кто в этом аппарате с полной отдачей трудился, мог безошибочно определить небогатый на разнообразие выбор в результате деятельности этого московского варяга. Либо ВМН, как именовалась для краткости высшая мера наказания, либо тоже смерть, но долгая и мучительная за колючей проволокой. Как ни странно, но подавляющее большинство этих людей были убеждёнными сторонниками этих «высших мер социальной защиты». (А может, только выглядеть хотело убеждёнными сторонниками, чтобы самим не оказаться в числе того немногочисленного меньшинства, что было не согласно или недостаточно убеждено?)

За эти два дня Ферапонтов безошибочно определил и собственное значение в глазах местных сотрудников, и их плохо скрываемые мысли на свой счёт. Всё было не так, как предполагали они, не так, как хотелось бы самому Владимиру Павловичу. Всё обстояло иначе.

Набравший обороты маховик репрессий к тридцать седьмому достиг своего апогея и уже не по первому разу перепахивал, казалось бы, проверенные кадры, вовлекая в себя новые жертвы, выискивая чаще всего мнимые колоски антигосударственной крамолы. Однажды он вдруг в одночасье почувствовал пустоту вокруг себя, увидел, что рядом нет многих, с кем начинал работать в органах ещё в Гражданскую. Нет людей, не раз кровью доказавших свою преданность власти. Да что там преданность? Они эту самую власть собственной кровью добыли и эту новую страну создали. Относительно их невиновности у него не возникало сомнений. И это было страшно! «Кто следующий?» стал вдруг вопросом вовсе не риторическим. Он понял, что следующим, безусловно, станет именно он! Где-то в глубине сознания ещё теплился маленький огонёк надежды, что «он не такой, его преданность власти и личная верность вождю другого, более высокого свойства и качества», но огонёк слишком слабый.

Всё его существо отказывалось понимать происходящее. Оставалось только радоваться, что после возвращения из очередной заграникомандировки обошли должностями, званием, что не выдвинули, не повысили. Не усадили на место, что более сродни нынче пороховой бочке. Оставалось только надеяться, что никто из уже расстрелянных твоих вчерашних соратников, подписывая «признавательные» показания о своей работе на все мыслимые и немыслимые разведки стран мира, не вписал тебя в число тех, кого завербовал допрашиваемый, или кем был завербован сам. Оставалось только надеяться, что тем из твоих вчерашних коллег, кто ещё жив, не «помогут» вспомнить, с кем «замышлял подрывы и покушения», и они не укажут твое имя.

При одной мысли об этом начинало немилосердно давить под сердцем и неприятный липкий пот выступал меж лопаток. От гнетущих тревожных мыслей не отвлекала ни стосковавшаяся в разлуке красавица жена, ни дочурки-школьницы, плод их припозднившейся любви.

В областной центр Кромск он был откомандирован стараниями своего начальника и одновременно старого проверенного друга

Шадрина, который таким образом пытался вывести Ферапонтова из-под вероятного удара. Сейчас Владимир Павлович при свете настольной лампы углубился в чтение дел арестованных и содержащихся в областном доме заключения местных священников, монашествующих и мирян. Некоторые дела лишь бегло пролистывал, на других задерживал своё внимание и совсем немногие откладывал в сторону, складывая аккуратно стопочкой. Его интерес к делам церковников вызвал немалое удивление и недоумение начальника местного управления ОГПУ Пономарёва. Задержавшийся на этой должности гораздо дольше своих предшественников, тот пришёл к внутреннему убеждению, что с этим ядовитым сословием пора заканчивать. Он не без оснований считал, что в отгремевшем десяток лет назад крестьянском восстании в губернии все попы были на стороне «кулацко-эсеровских бандитов» и если не участвовали в боевых действиях открыто, то помогали скрытно. А если и не помогали, то уж точно сочувствовали.

Заняться священниками, сколотить громкое разоблачительное дело и «раскрыть» подпольную церковно-монархическую организацию Ферапонтов надумал ещё в поезде Москва-Кромск. Почему именно они? В своих умозаключениях он был недалёк от соображений Пономарёва; также считал, что класс этот отмирающий, и рано или поздно, с его ли участием или без оно, ему уготовано исчезновение. Кроме того, Владимир Павлович убеждённо полагал, что все, кто связан с церковью, и прежде всего её иерархи и священники, самим своим существованием были враждебны новой власти, а по сему грехов за каждым по сути своей изначально немало. Не поленись только копнуть поглубже, всему делу придать солидный вес и вселенскую значимость. И наконец все эти попы были для него чужими, в отличие от этих местных его коллег, пусть с его московской колокольни весьма недалеких, мужиковатых и весьма несимпатичных.

Владимир Павлович вновь вернулся к отложенному десятку папок и начал изучать их более детально. «...Нет, этот на роль руководителя не подойдёт – молод слишком, да и в начале двадцатых шараялся от «тихоновцев» к «обновленцам» и обратно. Нет, не слишком убе-

дительно будет выглядеть..., а вот как рядовой исполнитель? Что ж, пожалуй, годится... Этот? Что ж, наверное, подошёл бы, но возраст... совсем древний старец... К тому же всегда и во всём соглашается. Какую бумагу следователь не подсунет – подписывает не глядя. Нет, не убедителен. Дальше... Так, Непряхин Фёдор Алексеевич, 64-х лет, из местных, священнослужитель во втором поколении...». Что-то ещё при первом просмотре дел арестованных зацепило Ферапонтова в этой увесистой папке на Непряхина. Потому он отодвинул все остальные в сторону и углубился в чтение.

«...Интересный дедок, интересный. Из бывалых, значит... Первый арест в двадцать втором... Так... всё ясно... уклонение от сдачи церковных ценностей... А вот присудили по тем меркам маловато... Всего год и просидел, не покидая родной губернии».

«Смотри-ка, да ты у нас ещё и строитель, дед? Ну, точно, вторая отсидка в начале тридцатых в Белбалтлаге. Не удивлюсь, если ещё и ударник труда... Ну, точно, как в воду глядел. „...За перевыполнение ежедневных норм выработки перевести в бригаду передовиков с усиленной нормой питания...“. А вот ещё... „за участие в работах по досрочному пуску четвертого шлюза Беломор-Балтийского канала наградить... заключённого Непряхина Ф.А. валенками...“. Так., значит, перевоспитался трудом, дедок? И на свободу с чистой совестью? Ещё и досрочно, на два года раньше установленного приговором срока. Вот как тебя Советская власть за ударный труд вознаградила. Может, ты перевоспитался настолько, что и Бога своего отринул? Как бы не так! Знаю я вас, длинногривых, знаю твердокаменность вашу, доводилось сталкиваться».

Ферапонтов встал из-за стола, прошёлся по маленькому кабинету, разминая затёкшие члены. Настенные часы показывали уже четверть десятого, но он твёрдо решил добить всё задуманное именно сегодня, и главное, определиться с «руководителем» и ядром будущей «церковно-монархической подпольной группы». Вернувшись к столу, вновь углубился в изучение материалов на Непряхина.

«О! А вот это уже интересно! В 1912 г. отец Фёдор награждён кмилавкой, а через три года наперсным крестом. В этом нет, собственно,

ничего удивительного. У них, у церковников, это почти как в армии, выслужил положенное – получи следующий чин или памятную награду за выслугу лет. Интересно другое – награждал в обоих случаях сам архиепископ Кирилл. Ну да, тот самый, что потом стал митрополитом Казанским. Тот самый, которого Патриарх Тихон в духовном завещании своём, назвал первым из числа возможных своих преемников. Тот самый, за кого проголосовало большинство из оставшихся к тому времени архиереев страны».

У Ферапонтова даже лоб взмок. «О! Да тут уж явно прослеживается выход на уровень общесоюзный. Где он сейчас, тот самый непреклонный Кирилл, что так и не сломился, как не пытались его склонить к участию в церковном расколе, в Сибири? Нет, кажется, где-то в Казахстане. А вот и бумажка в деле Непряхина! Маленькая эдакая, невзрачная. Это лист, выданный из губернских епархиальных ведомостей начала семнадцатого года, со статьёй тогдашнего архиепископа этой епархии. И подчёркнутые собственноручно отцом Фёдором слова Кирилла: «...Пусть в этом прошлом нашем было много, чем справедливо возмущались, но из были слова не выкинешь, прошлое это было всё-таки наше, отечественное прошлое, прошлое нашей Родины... Если не удержимся от глумления над своим прошлым, то напишем такую первую страницу своей новой истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице...».

Владимир Павлович невольно задумался над смыслом написанного. «Написано до октября семнадцатого. Что ж, нельзя не отдать должное митрополиту, по сути всё верно. В сокрушении старого мира мы преуспели, если не переусердствовали. В истории России множество славных страниц, и побед-свершений немало. Некоторые наши политики с учёными новой волны славно потрудились, словно сквозь сито просеяли все события. Эти нам подходят, это борьба за освобождение угнетённых, соответственно их герои возносятся до небес, а вот другие, оцениваются как проявление политики проклятого царского режима и подлежат полному забвению, соответственно и их герои – очернению». Ферапонтов даже взгля-

дом по затемнённым углам кабинета забегал, словно пытался разглядеть в их сумерках тех, кто мог подслушать его «крамольные» мысли. «Что касается новой истории, тут ты не прав в корне, старик, и не тебе вообще судить о ней, этой новой истории. Это уже наша история, и мы её сделаем, согласно нашей вере и учениям». Последние мысли привели к внутреннему успокоению, и он расслабленно откинулся на спинку стула.

«Эх, было бы неплохо ещё и письмо, да хоть записочку из дней сегодняшних между этими двумя святошами найти. Ну, так ведь и отрицать нельзя, что такая переписка могла иметь место. Просто хорошо законспирировались. Между такими единомышленниками её просто не могло не быть!»

Владимиру Павловичу так не хотелось думать сейчас, а тем более принимать во внимание огромную иерархическую лестницу, отделявшую преемника местоблюстителя патриаршего престола всей Русской церкви и простого сельского батюшку. Они и впрямь могли быть единомышленниками в вопросах веры, едины в безупречном следовании её канонам. Но если отец Фёдор и помнил те торжественные минуты получения из рук архиепископа фиолетовой камилавки, которой награждался за активное участие в делах Крестовоздвиженского братства, содержащего училище для слепых детей, либо наперсного креста, полученного за лучшую организацию в округе кружечного сбора денег на нужды фронта и поддержку вдов и сирот, то вряд ли это можно было утверждать о владыке Кирилле. Человеке, на которого ещё в 1922 году были возложены «права и обязанности как Патриаршего Местоблюстителя, до законного выбора нового Патриарха».

Далее внимание Ферапонтова привлекла имевшаяся в деле Непряхина анкета на нескольких листах. Аналогичное анкетирование прошли все духовные лица в том самом двадцать втором году. Вопросы, на которые предстояло ответить батюшкам, действительно были преинтересные: «Ваше отношение к обновленческой церкви?», «Признаёте ли законность Советской власти?», «В чём конкретно проявляется ваше признание?», «Есть ли частичное несогласие с про-

водимыми реформами? Какие возникают сомнения?» И далее ещё полтора десятка вопросов аналогичного содержания.

«Ай да молодцы, придумавшие это анкетирование! Интересно, это местное нововведение или по всей стране проводилось? Это же надо! Всё вроде безобидно, но напиши правду, и тем самым разговор самый строгий тебе обеспечен. Коли хочешь жить – лги. Лги безбожно, как бы не было тяжело преступать одну из заповедей Божьих. Ту самую заповедь, что насаждал ты в умы своей пастве долгие годы. Беспроигрышная анкетка. Ещё непонятно, что тяжелее – либо в тюрьму прямым ходом, либо тяжкий грех на плечи, который вряд ли чем замолишь».

Ферапонтов сравнил ответы на вопросы анкеты в разных делах, в большинстве которых батюшки со всем соглашались; и обновленчество признавали, и в преданности Советской власти клялись. Вдруг неожиданная мысль: а что ответил бы ты? Что ответил, когда выбора, по существу, нет. А ты при этом не один на этом свете, коли не солжёшь, за тобой в лагерь потянутся жена твоя и твои дочери? А как переживёт это твоя престарелая мать, не пойдёт ли по этапу семья родной сестры. Тебе ли не знать, как это делается. Ответы отца Фёдора в корне отличались от остальных. На предложенные анкетой вопросы он отвечал: «...признаю Верховное Церковное Управление и все его распоряжения, если они не противоречат догматам православной церкви...». На вопрос об отношении к обновленческому движению батюшка писал: «...сочувственное постольку, поскольку оно не касается догматической стороны учения православной церкви...». Не менее интересен ответ на вопрос о признании справедливым с христианской точки зрения законности социалистической революции и международного объединения: «...Отношусь с полным сочувствием к великой идее объединения всех трудящихся на почве Божественной любви Христовой и учения Святых апостолов...», и далее в том же духе.

«Ай да старик! Силён, однако. И, несомненно, умён. Да ты же, поп, кажется, посмеялся над составителями этой анкеты, а этого никто

и не заметил. Ну-ну», – Ферапонтов оживился, даже руки потёр. Он любил иметь дело с людьми умными и сильными. Победа над ними всегда казалась ему дороже и значимей.

Когда едва живого отца Фёдора приволокли в камеру, её обитатели были в шоке. Давно уже похоронили и даже личные вещи из батюшкиной котомки поделили между собой. Безусловный лидер уголовников не только в их камере, но, пожалуй, всей областной тюрьмы «Бекас» только головой кивнул, и сокамерники потянулись к столу выкладывать вещи отца Фёдора. Немногословный, с пересекающим губы шрамом и безвкусными синими наколками на руках, «Бекас» был авторитетом не только среди зеков, его откровенно побаивались сотрудники администрации. Был он злым и безжалостным, гнобил и подчинял своей воле любого из заключённых, невзирая на бывшие чины и заслуги. Поговаривали, что однажды в Зырянском лагере он бывшего орденосца комбрига заставил общий сортир чистить. Снисходительность авторитет питал только к людям духовного звания. В их присутствии не матерился и не позволял малейшего хамства со стороны урок. Откуда это шло, пожалуй, и сам «Бекас» не смог бы ответить. Давно утративши веру во что бы то ни было, не разделяя безропотного смирения священнослужителей перед глыбой свалившихся на них напастей, он, тем не менее, пристально вглядывался в них, понять хотел, в чём их сила, где черпают они мужество своё. Всматривался, невольно на себя примеривал. Отца Фёдора выделял особо, и дело вовсе не в том, что в тридцать первом их пути-дороги пересекались на «великой стройке», строительстве канала, соединившего Белое море с Балтийским. Батюшка Фёдор чуть ли не единственный из окружающих «Бекаса» людей, не боялся его, позволял себе не только поучать конченного уголовника, но и отчитывать за все его прегрешения.

Стуком в дверь камеры вызвали дежурного вертухая. «Бекас» лично подошёл к открывшемуся окошку: «Передай, кому следует, поп, что трое суток в кондее проторчал, помирает. Пусть поторопятся в больничку положить. Усёк? Самолично к коновалу подойдёшь, к Елизаровичу, скажешь – от меня просьба, пусть хоть расшибётся, а «папашку» мне на ноги подымет».

Очнувшись, отец Фёдор увидел склонившегося над ним тюремного доктора Виктора Елизаровича.

– Что, батенька мой, раздумал помирать? Ну и славно. Хорошо, пусть будет «батюшка мой», не серчай, отец Фёдор. Дела? Какие уж тут дела. Плохие в основном: обширное обморожение нижних конечностей. Если бы не поспешили с моими палатами, резать пришлось бы. Да и сейчас я до конца не уверен, что обойдётся без ампутаций пальцев. Может, и обойдётся, ты у нас муж крепкий. Благодарю сокамерников своих и «Бекаса» в первую очередь, вовремя больничку организовали... Повернись-ка, послушаю... Хрипы сильные, удастся ли избежать воспаления лёгких – от тебя зависит. Ну, и от меня, конечно... Глядя на обезображенное чёрными пятнами лицо больного, доктор вздохнул глубоко.

– Эх, отец Фёдор, отец Фёдор, никудашные мы с тобой нынче лекари, выходит. Ты вот души человеческие пытаешься лечить, а злых людей меньше не становится, я от болезней телесных спасти пытаюсь, а тоже далеко не всё получается. Мрут пациенты мои, мрут, как мухи. Да и как им не помирать, если у меня изо всего медицинского арсенала только вот трубочка для прослушивания и осталась, да хлорка, карболка, чтоб зараза не распространялась.

– Не грехи на себя, Елизарович, за труды твои великие воздастся тебе, – разлепил спёкшиеся губы отец Фёдор. – Уважают тебя люди, что судьбой сюда брошены, а в их уважении любовь Божья.

– Тут о тебе, отец Фёдор, не только сокамерники заботу проявляют. Следовательно вновь прибывший о здоровье справлялся. Приказал улучшенное питание организовать, самолично кулёк с чайной заваркой передал. Не знакомый ли часом?

– Может, и знакомый. Их брата тоже немало повидать пришлось. Да только бы поперёк горла не стала забота их... Чай, будь добр, Виктор Елизарович, передай в камеру, пусть «Бекас» проследит, чтобы никого не обделили.

– А ты, батюшка, практичный.

– Поживи с моё, вьюношь, станешь и практичным, и сметливым, – отец Фёдор устало откинулся на подушку. – Ты бы мне, Елизарович,

порошочку какого дал. Нету мочи терпеть, ступни словно когтями кто дерёт. Ох, грехи наши тяжкие...

– Выпей вот эти, полегчает, непременно полегчает, – доктор придержал голову отца Фёдора. Знал, что от таких страшных язв вряд ли его порошок поможет. – Я тут тебе, батюшка, глюкозы припас целую склянку, потребляй, сил набирайся. А ещё нынче попытаюсь через знакомых гусяного жиру раздобыть или хотя бы сала нутряного свиного.

– Благодарствую, родимец. Вот уж и полегчало никак. Храни тебя Господь.

Отец Фёдор блаженствовал. Он наслаждался теплом палаты тюремной больнички. Теплом от жарко натопленной печки-голландки, поближе к которой придвинули его кровать, теплом от яркого солнышка, лучи которого проникали в палату, невзирая на толстые рамы и частую металлическую решётку на окне. Теплом, исходившим от доктора Елизаровича и от санитарки тёти Даши.

Дарья Николаевна, как с первого дня стал величать батюшка дородную, крикливую, огрубевшую среди арестантов санитарку, работала в тюремной больничке всю жизнь.

– Я ить, батюшка, четвёртый десяток при этой должности. Всех помню – и жандармов, и полицейских, и нынешних, уж не раз сменившихся. А арестантиков-то скока прошло, и не счесть. Кого тут только не перебивало – и дворянки, и крестьянки, и убийцы жуткия, и сидельцы безвинныя. Всех жалела, всех обихаживала, – рассказывала Даша, заботливо втирая в почерневшие ступни гусяный жир (опредила своего доктора, уже в следующее утро принесла). – Я ведь даже Машку малахольную помню. Какую-какую, да Спиридонову. Ну, ту самую, что в губернатора стреляла. Ай не слышали? Отчего малахольная? А то какая же. Красавица, дочка родителей богатых, ей бы о муже добром мечтать, детушек воспитывать, а она стрелять. Как есть малахольная. А и её жалела, заблудилась совсем девка. А тут ещё пока в нашу тюрьму везли, ссильничали её не то казаки, не то жандармы. Как не жалеть.

Блаженству отца Фёдора ничто, казалось, не могло помешать – ни провонявший карболкой и мочой соломенный тюфяк, ни ко-

рявое тюремное одеяло, ни стоны умирающего на соседней койке арестанта-язвенника, ни постоянная нестерпимая боль в гноящихся, кровоточащих язвах на его ногах. Не могло помешать даже абсолютное осознание временности этого состояния, которое в любой миг могло смениться вновь пытками, побоями, ледяным карцером. «Как мало надо смертному! – размышлял отец Фёдор. – Всего и надо-то сменить ледяной холод на живительное тепло, холодное безжалостное безразличие одних людей на тепло и участие других».

Блаженствуя в тепле, он предавался воспоминаниям о близких своих. Словно наяву вставал перед ним образ старшего брата Василия, видного, богатырского сложения молодого священника, только что закончившего духовную семинарию. Красивого, с чёрной, волнистой, без единого седого волоса бородой и белозубой улыбкой. Его раскатистый смех, басовитый голос звучали в родительском доме. Всех домочадцев радовала его побывка и печалило предстоящее расставание перед отъездом в новый приход в соседнем уезде. А наутро отец Алексей попросит Василия провести совместную воскресную службу и будет немного суетлив при этом, и немного смешон в своём проявлении перед прихожанами отеческой гордости за сына, рукоположенного в сан священника. И все это заметят, и никто не осудит.

И ещё встреча со старшим братом вспомнится, в девятьсот четвёртом, когда тот навестил отца Фёдора уже в его приходе, перед выездом к новому месту назначения, а именно полковым священником Епифанского пехотного полка, через неделю отправляющегося в действующую армию на Дальнем Востоке. Отец Василий к тому времени овдовел, дочери учились в Москве и Нижнем Новгороде, был одинок и несколько потерян. А наутро они совместно совершали службу в Михаилоархангельском сельском храме, и было столько души, столько любви и благоговения вложено в неё братьями, что её потом не раз вспоминали и сами они, и прихожане отца Фёдора.

Старший брат вернётся через полтора года и будет неузнаваем. Серым пеплом засыплет война его голову и некогда чёрную бороду.

Станет молчалив, и его раскатистый бас уже редко можно будет услышать в доме. Невысказанная скорбь и постоянная печаль в глазах, казалось, навечно приклеятся к его не старому ещё лицу. О его мужестве в Маньчжурии дважды будут писать в столичных газетах, и по возвращении, в числе других полковых священников, он будет удостоен аудиенции при дворе. Будет награждён наперсным крестом на георгиевской ленте и тремя офицерскими орденами, дающими право на личное дворянство. Но ничто, казалось, не радовало отца Василия, – ни награды, ни почести, ни перспектива продвижения на высокую должность в епархии.

– Не завидуй, брат. Нечему тут завидовать. Всю душу мне эта война выворотила. Сколько смертей довелось увидеть, и каких смертей... Отпевать приходилось не только тела убиенных, но и то, что от тел этих осталось... Сложат в кучу общую, и не знаешь даже, десяток там душ или, может, более. А война – зверь ненасытный, всё пожирающий, новые жертвы готовит. Грех на мне тяжкий. Там, в боях под Шахэ, я не только солдат в бой увлекал, не только с крестом шёл. Мне там выбор пришлось делать дважды – убивать либо самому быть убитым. Грех на мне тяжкий. Убивал я...

– Ты был воином, Василий, Господь прощает тех, кто на поле брани. Он примет твоё покаяние и простит Милостивец.

– Он простит, он всегда милосерден к нам, грешным, да я сам себя прощу ли? И ещё, – отец Василий говорил глухо и торопливо, словно боялся не успеть высказать близкому человеку, что тяжким грузом лежало на сердце, – что-то не так было на той войне. Казалось, у огромной нашей армии не было головы. Некому было думать, как воевать и как побеждать. Просто бросали, как в топку, как в полями гиенское, тысячи солдат и смотрели равнодушно, что с того выйдет. А главное, никто не знал тогда, да и сейчас не знает, чего ради эти жертвы? – отец Василий обхватывал седую голову руками и замолкал надолго.

– Ты вот с восторгом рассказываешь мне, как 20 нижних чинов, двадцать солдат из твоих бывших прихожан деньги собрали и тебе прислали из далёкой Маньчжурии, чтобы приобрёл икону Серафи-

ма Саровского, чтобы отслужил перед нею молебен о даровании им победы. Твою статью об этом даже в епархиальных ведомостях опубликовали как проявление высоты духовной и верноподданнических настроений. Позволю не согласиться с тобою, брат. Ни о каком патриотическом порыве тут и речи не может быть, ты уж мне поверь. Эх, Федя, ужаснулись твои прихожане, в солдатские гимнастёрки одетые, расстоянию ужаснулись, что от родного дома отделяет, странно совершенно чужой и людям для них лично совершенно чужим, гибели ежедневной сотен и тысяч солдат, чаще всего бессмысленной, вот и вспомнили о Боге. Как за соломинку ухватились, поняли, что, только на него уповая, смогут выжить, домой вернуться. Вот и вся твоя высокая духовность.

Отец Фёдор, почитавший старшего брата за отца и духовного учителя, поневоле превращался в утешителя ослабевшего, с израненной душой Василия. Окружал вниманием и заботой.

– За заботу спасибо, Фёдор, – говорил тот неделей позже, – вознаградит тебя Господь за твою братскую ко мне любовь, а я его вечно о тебе молить буду. Принял я решение, по-прежнему вряд ли смогу жить и служить нашей матери-церкви. Буду просить разрешения на постриг и схиму монашескую. Уж в мыслях явственно вижу монастырь в крае удалённом и келью для уединения.

С тех пор не виделись они больше. Из нечастых писем знал отец Фёдор, что с годами воспрянул духом брат, видно, затянулись раны, стал игуменом, расстроил обитель в глубине лесов пермских, служил ревностно. Всё мечтали свидеться, но находились всегда дела, что сдерживали. После революции не до свиданий стало, переписка прекратилась. Лишь в тридцать втором от одного из монахов, которых тогда во множестве перевели из Соловецкого лагеря особого назначения на строительство Беломор-Балтийского канала, узнал, что Василий умер и похоронен на Соловках в двадцать третьем. Горько плакал тогда отец Фёдор от этого известия, сокрушался, что почти десять лет молился о нём как о живом. А ещё рассказал тот монах, что до последнего дня игумен Савва, такое имя принял брат после пострига, оставался

твёрд в своей вере. Стойкостью своей других поддерживал. Другого отец Фёдор и не мыслил услышать, слишком хорошо знал своего старшего брата.

Он словно вынырнул из своих грёз-воспоминаний, а слёзы обильно катились по морщинам и коросте обмороженных щёк.

«Годы... Какие тяжёлые годы, какие трагедии разыгрались на земле. Войны, революции... Теперь вот новый мир строим, на крови строим, на страданиях. Словно огненный смерч по стране прошёлся, не обошёл и нашу семью. Поручил всё, что поручить можно». Перед мысленным взором Алёша предстал, третий из братьев Непряхиных. Приняв внешние схожие черты сыновей отца Алексея, далёк был от братьев и по характеру, и по роду деятельности. Со второго курса губернской духовной семинарии перевёлся на первый курс гимназии. Как удалось это ему – немногословному, застенчивому юноше – без всякой помощи извне, до сих пор остаётся загадкой. Отец Алексей по старой, с крестьянских времён укоренившейся привычке за вожжи схватился, намеревался в город ринуться, поучить непутёвого умразуму. Остыл вовремя.

Алёша по окончании гимназии уехал в Москву, где учился в университете. Изучал археологию, мир античной Греции, множество других наук, совершенно далёких от мира сельских священников. Владел европейскими языками, в последние годы увлёкся Востоком. Выступал на международных конференциях, выезжал за границу. Был близко знаком с художниками из группы передвижников, представителями новых литературных течений начала XX века.

Известный в столичных кругах учёный Алексей Алексеевич оставался по-прежнему привязан к семье, родному дому, хранителем которого после смерти родителей стал отец Фёдор, заместивший отца и в церкви Михаила Архангела. Приезжал, как только удавалось выкроить время. Молча бродил по окрестностям, созерцая печальные мотивы среднерусской осени. Приезжал исключительно осенью, поскольку лето проводил в археологических экспедициях, а зиму, по собственному выражению, корпел над тем, что удалось накопать за лето.

Был убеждённым атеистом и материалистом. Нет, ни в коей мере не безбожником, а именно человеком, отрицавшим Божье начало с точки зрения науки. «Зело учёный муж наш Алёша», – отзывался о нём уважительно отец Фёдор, которого в их спорах тот неоднократно и, как всегда, неожиданной трактовкой и умозаключениями ставил в тупик. Впрочем, спорили они редко, было принято среди братьев беречь чувства друг друга, собственных воззрений не навязывать, оставлять за каждым право на личный выбор.

В конце семнадцатого Алексей Алексеевич уже третий год будет работать с учениками в Крыму, вести раскопки богатейших на артефакты скифских поселений в Таврии. Вокруг будут грохотать орудия, а он ничего не видеть и не слышать, будет лишь торопиться завершить основные работы и продолжать трястись над каждым черепком, над каждой бронзовой поделкой из прошлых миров. Только одного нашествия революционных матросов на места раскопок, их погрома и грабежа хватило уже немолодому учёному принять решение уехать в двадцатом из Крыма вместе со своей коллекцией. О её бесценном характере было известно не только учёным, но и коммерческим дельцам и их иностранным покровителям, поэтому Непряхин с ближайшими соратниками покидал Россию в шикарных по тем временам условиях.

О том, что брат волею судьбы оказался на чужбине, отец Фёдор узнал только в двадцать третьем году, по приезде в Москву, от дворника, который не один десяток лет служил в престижном доме на Остоженке, где жил некогда профессор археологии Непряхин. Упоминание его имени на долгие годы стало невозможным среди окружения. Нет, он не был предан забвению в родной семье, отец Федор постоянно упоминал его в своих молитвах, просил Бога о ниспослании брату здоровья и долгия лета. Просто само наличие родственника, ушедшего с Белой гвардией за рубеж, могло быть приговором.

Последнее известие об Алёше отец Фёдор узнал в 1932-м на Беломор-Балтийском канале. Богатым оказался этот год на известия

о самых родных и близких. Не успел оплакать давно сгинувшего на Соловках Василия, получил известие об Алёше. Газета «Правда», в изобилии направляемая в Белбалтлагерь для «перевоспитания» заключённых, сообщила, что проживавший в последние годы в Белграде известный русский археолог Непряхин А.А. завещал свою личную коллекцию тавро-скифской эпохи Русскому национальному музею. Сообщала также, что работники посольства СССР в Югославии вывезли коллекцию на 27 грузовиках до ближайшего морского порта в Черногории для отправки на Родину.

«Василий, Алексей, Вера... Упокой души, Господи, рабы твоя, прости им прегрешения вольные и невольные...», – и вновь катились слёзы по измождённому лицу отца Фёдора.

Арсения вспомнил, ещё одного из братьев, любил которого не меньше других. Тот путь свой жизненный начинал, как и все сыновья батюшки Алексея, с губернской духовной семинарии, но вот священником не стал. Иной путь служения людям избрал. Закончил медицинский факультет Харьковского университета, получил назначение на вакансию земского врача в соседнем уезде. Отчий дом навещал нечасто, но каждый приезд надолго запоминался. Был весел, шумен, немного грубоват и даже циничен в своих медицинских шутках, рассказах. Любил застолье с обильным угощением. Потешался над младшим братом, который делал неудачные попытки сохранить в неприкосновенности от его поползновений запасы наливок и настоек. На время приезда в село небольшая пристройка к старому непрыхинскому дому становилась его рабочим местом, где он врачевал местный люд. Не мог и дня прожить без любимого дела.

Доктор Арсений Непряхин не гнушался самой черновой работы, в то время, когда его младший брат даже смотреть не мог, как ковыряется тот в страшных гнойных язвах, открытых разверзнутых ранах и прочее. Не переставал удивляться и его бескорыстию, лечил земляков бесплатно, а подношения в виде продуктов отдавал беднейшим. В середине восемнадцатого проходившей через его уезд частью был мобилизован в Красную армию и прошёл с ней дорога-

ми войны долгих два года. Всё прошёл – и тифозные бараки, и сутки без отдыха в операционной после крупных боёв, и собственное ранение. Был отмечен советскими наградами, но от предложения остаться в армии военным врачом уклонился, в уезд, ставший родным, вернулся. Так до сих пор и врачует там, насколько возраст и ранение позволяют.

Не избежал и он арестантской доли, три месяца провёл в тюрьме под следствием. Не помогло и героическое красноармейское прошлое. Прослышали местные власти о громких уголовных делах в отношении столичных врачей, решили тоже отличиться. Не исключал Арсений Алексеевич и возможную неприязнь кого-то из власть предержащих. Что поделать, коли действительно был самостоятелен, неуступчив, не делал различия среди обращающихся к нему пациентов, будь то высокопоставленный функционер уездного уровня или работяга-грузчик с речного порта.

После отсидки отдыхал у брата в Архангельском.

– Как же удалось освободиться? Неужто и впрямь маршалу писал?

– Писал, а что оставалось делать. Благо маршал не забыл, как лечил его в Гражданскую.

– Что, действительно лечил?

– Что ж, думаешь, командармы не болеют? Изводил, надо признать небезуспешно, чирьи у него на причинном месте. Да ты не усмехайся, брат, чирьи на заднице у кавалеристов вещь обыденная. Посиди-ка сутками в седле – и вспотеть, и замёрзнуть успеешь. А тут пыль, грязь, антисанитария одним словом. Ничего, главное, что не забыл об этом маршал, тучки надо мной сгущались реальные. Главное, что тебя даже не спрашивают ни о чём, словно заведомо уже решили, что ты вредитель. Одним своим существованием, одной принадлежностью своей к племени врачей. Да что я тебе рассказываю, сам всё это проходил.

Больше всего приездам Арсения в Архангельское был рад первенец отца Фёдора Евгений. Бездетный доктор, казалось, всю нерасстраченную любовь ему посвятил. С годами стал замечать отец Фёдор не без ревности отдаление сына. А уж потом понял, что, возможно,

прервётся священническая династия Непряхиных, по существу ещё и не сложившаяся. Не по отцовым, по дядькиным стопам пошёл Евгений, в самый предреволюционный год успел закончить всё тот же медицинский факультет Харьковского университета. Не без личного участия Арсения, разумеется.

В тридцать первом Евгений подаст прошение о восстановлении его в избирательных и иных правах, дарованных конституцией. Имел на то веские основания – успешный к тому времени практикующий хирург, известный своими новыми разработками в сфере лечения лёгочных заболеваний не только в своей губернии, но и за её пределами, ему благоволил академик Зимин и приглашал в Москву. Его заявление приняли со всем должным вниманием. Ещё бы! Местное медицинское светило! Поставили только одно маленькое условие – ОТКАЗАТЬСЯ от отца. Отказаться от отца – служителя культа, отбывающего срок в лагере. Всего и дел-то написать открытое письменное заявление, что не разделяешь и никогда не разделял его церковных воззрений, одобряешь решения властей относительно Русской церкви и её служителей. «Перед каким нелёгким выбором ты был поставлен, сынок! Тебе обещали публикации трудов в московских медицинских журналах, переезд в столицу и должность ассистента самого Зимина. Прости, Евгений, прости, сын, что твой отец стал невольным виновником твоей прервавшейся карьеры. Ты сделал свой выбор, ты не отказался от родителей. За это не только в Москве, тебе запретили даже в губернском центре работать, сослали в дальний уезд с развалившейся больницей на шесть коек. Боль за тебя и гордость одновременная. Едино остаётся молиться за тебя, надеяться, что пройдут годы, не вечно на земле нашей горю горемычному быть. Храни тебя Господи, сынок».

И вновь боль. Глухая, непроходящая, что уж не один год не отпускает, саднит и кровоточит. Дочь. Мария. «Машенька», как звали в семье. Любимица родителей, «надёжа» на годы приближающейся их старости. Как и вся женская половина семейства Непряхиных, она окончила губернское женское епархиальное училище, стала учительствовать в соседней волости.

«Не суди, да не судим будешь. И я судить тебя не вправе, дочь. Ты тоже оказалась перед выбором. Тебе тоже предложили подписать «отказ» от отца, и ты сделала свой выбор. Что это было? Минуты слабости, нависшая опасность над собственными детьми, страх перед будущим? Коли так, дочка, Господь простит и примет твои раскаяния», – в который раз задавал отец Фёдор эти вопросы и не находил ответы.

«А если это твои убеждения? Если ты действительно считаешь, что твой отец «враг народа», что ему нет места в этом мире, что он действительно вреден для строительства новой жизни, что одним своим существованием мешает построить общество всеобщего счастья? В таком случае это уже не минутная слабость перед непреодолимыми обстоятельствами. Это что-то большее», – старый священник всячески отгонял от себя даже в мыслях произнести тяжелейшее определение – «предательство». Всё искал хоть каких-то объяснений и оправданий для родного человека.

«Тебе ли не знать, дочка, кем был твой отец? Не он ли всю жизнь служил людям, стремился сделать их чуточку добрее, чище. Разве он меньше иных любил своё Отечество, разве род Непряхиных мало служил Родине? Воевал, пахал, молился. Отчего же всех под корень, под самое основание, чтоб и памяти не осталось? За что? Чего ради?»

«Больно, если бы ты знала, как больно даже думать об этом, как больно жить с этим... Ещё больнее было услышать, что в годы коллективизации ты стала одной из активисток раскулачивания, что среди тех, кого вы выселяли в гибельные северные края, были мои близкие друзья отец Феофан и дьякон отец Пётр. Какие же они миротеды? Да и в церкви к тому времени не служили уже около десяти лет, закрыли её сразу после гражданской, а потом в ней зерносклад был... Не за то ли ты получала правительственные награды, тебя избирали делегатом съезда передовых учителей? Не за то ли назначили директором школы?»

«Больно, если бы ты знала, как больно! Об одном буду до конца дней молить Бога, чтобы никогда в жизни ты не испытала ничего по-

добного от собственных детей. Чтобы никогда они не «отказались». Тяжек грех твой, чадунюшка моя, но Господь наш человеколюб и милостив, поймёт и простит».

.....

Глава четвёртая

– Проходите, садитесь, – Ферапонтов вперил прямой взгляд на отца Фёдора и надолго замолчал. Старый испытанный приём, вон уже и на табурете заёрзал старый поп, ошеломлённый и ласковым приёмом, и затянувшимся молчанием. Владимир Павлович откровенно рассматривал сидевшего перед ним человека, его измождённое в тёмных корочках обмороженное лицо, нос с широкими крыльями, потрескавшиеся губы. Окладистая серебряная борода и глаза. Глаза выделялись, хотя вроде и выделяться нечем. Обыкновенные, льдисто-серые, слезящиеся старческие глаза. Было в них какое-то поразительное спокойствие. Отец Фёдор не отвёл их, сам изучающе смотрел на нового следователя. Глаза старика утверждали, что он давно и однозначно знает, что было, что есть и что будет. Глаза выдавали, что этот священник не только знает на много вперёд, но и готов к этому.

– Фёдор Алексеевич, я ваш новый следователь, зовут меня Владимир Павлович.

– «Гражданин начальник» привычнее.

– Да как угодно, мне всё равно, не в обращении суть. Вам известно, Фёдор Алексеевич, в чём вас обвиняют?

– Конечно, известно. Ни много ни мало в ярой контрреволюции, в посягательстве на родную Советскую власть, пропаганде и агитации против колхозного строительства и, наверное, ещё в чём-нибудь. Да только ни в первом, ни во втором, ни в третьем не повинен я. Какая уж там контрреволюция, седьмой десяток разменял, мне давно пришла пора о другом задуматься. Как это о чём? О том, к примеру, чтобы последние годы прожить без греха, о том, как предстать перед Богом, когда час смертный наступит.

– Ну, это вы зря, вы человек ещё хоть куда, да и выживаемости просто потрясающей. Вспомнить достаточно, как карцер пережили последний. Не обессудьте, не по моей вине вы там оказались. Я в свою очередь посчитал бы это абсолютно излишним. Фёдор Алексеевич, я тщательно ознакомился с вашим делом. Знаете ли, особого оптимизма оно у меня не вызвало. Вина ваша полностью доказана, действия ваши изобличаются многими свидетельскими показаниями, да и прошлые ваши судимости о многом свидетельствуют.

– А коли так, гражданин начальник, чего же тянуть, принимайте решение и делу конец. Чего терзать-мытарить старого человека? Не по-людски это.

Ферапонтов не ожидал такого ответа подследственного, надеялся, что старик будет оправдываться, выгораживать себя, выпрашивать снисхождения, и при этом следователю непременно удастся навязать и свою волю, и развитие задуманного дела под свою диктовку. «Ну да ничего, это только начало. Это даже неплохо, что ты, поп, с самого начала знаешь будешь, что шансов выжить у тебя попросту нет».

– А куда нам торопиться? Временем мы располагаем, да и я не привык решения принимать, не вникнув в дело. Я человек в этих делах новый, можно сказать. Небезынтересно узнать, что вы за человек, в чём кроются ваши заблуждения, а соответственно и причины ваших действий как таковых.

– Отчего же не побеседовать, раз в этом есть необходимость.

Они вновь замолчали, каждый о своём думая. «Ну, вот и ладненько. Вижу, старик, ершист ты, да и тебя в мягкую глину превратить смогу и лепить из тебя, что мне угодно. Торопиться только в этом деле не следует», – размышлял один. «Вижу тебя, молодой человек, как на ладони вижу. Не так ты прост, как казаться хочешь. Уверен, что в конце концов решение тебе не совесть подсказывать будет собственная, а долг твой служебный, место твоё нынешнее. Да и не позволят тебе поступить со мной иначе. Даже если совесть твоя заговорит, не услышит её никто. Давно, поди, отучили вас самостоятельно

действовать и мыслить. Что ж, давай побеседуем, всё лучше, чем прежний следователь, в арсенале которого только ор, мат да тяжёлые кулаки», – прикидывал другой.

– Фёдор Алексеевич, интересно знать, как пришли вы к церкви, к вере вашей, отчего священником стали? По убеждениям или в силу семейной традиции?

– По убеждениям, исключительно по ним. Только не они первичны, а собственно сама вера. Истинная вера определяет и убеждения, и дальнейший путь человека в православии. Что же до семейных традиций, то они, разумеется, след оставляют, только ведь из Непряхиных не только священники выходили, есть ещё и врачи, учителя...

– А ещё и учёные, археологи, к примеру. Да вы не вскидывайтесь так, Фёдор Алексеевич. Известно мне о брате вашем Алексее Алексеевиче, многое известно. Так уж случилось. В деле вашем, при всём его объёме, сведений о нём нет. А вот мне, по роду службы, пришлось заниматься в своё время вывозом завещанной им коллекции. Помню и материалы на него, и обстоятельства его бегства с Врангелем за границу. А уж составить мозаику из мест его и вашего рождения, фамилии и отчества, как с вашими документами ознакомился, труда особого не составило. В деле у вас сведений о нём не имеется, ну так давайте и мы не будем их вносить. Пусть это нашей с вами маленькой тайной останется.

– Вам доводилось встречаться с ним? – спросил отец Фёдор поспешно.

– Нет, не довелось, пришлось подключаться к этому делу уже после его кончины. Одно хотелось бы отметить, цельный по существу был старик. Какая-либо его антисоветская деятельность за границей доказана не была. Как был, так и остался червем учёным. Хотя влияние имел в определённых кругах, но пользоваться им не умел. Наши дипломаты за рубежом, да и местные деятели превознесли его поступок до небес с этим завещанием. Видно, был в этом в тот период резон, большей частью пропагандистский. Что до меня, так я и ныне считаю – возвращено было то, что по праву принадлежало нашей

стране. Все её богатства, где бы они ни находились, да хоть и в земле тысячу лет назад зарыты, принадлежат нашему народу. Не сердитесь, что так прямо, по-иному не могу. Хотя и отдаю должное вашему брату, заседали на него в то время наши недруги, и в первую очередь белоэмигранты, основательно. Было из-за чего – богатства действительно немалые. Мужество его вызывает уважение. Но не о нём, собственно, речь. Мы же договорились, что это останется только нашей тайной.

Отец Фёдор был удивлён, если не потрясён, услышанным. «Какова судьба, какие повороты, что и не ждёшь. А может, этот следователь не такой уж плохой человек? В данном случае конкретном – пожалуй, да».

– Значит, по убеждениям?

– По ним, батюшка, исключительно по ним, – в душе отца Фёдора затеплилась маленькая толика доверия к сидящему напротив человеку, с такими умными и не злыми глазами. – Да и не сложно убеждаться, когда всё в этих учениях о справедливости и правде глаголет. Вам, судя по всему, ещё до семнадцатого в школе довелось обучаться, помните, поди, Божьи заповеди, что батюшка вам на уроках в головы втолковывал?

– Ещё бы не помнить, и не только втолковывал в головы, но и пребольно лупил линейкой по этим головам. Ох и невзлюбил я тогда как уроки Закона Божьего, так и законоучителя.

– Не умён был, видать, ваш учитель, не талантлив в учительском деле, коли рукоприкладствовал, да не о нём ныне речь. Вы те Божьи заповеди вспомните, да хоть одну назовите, что была бы бесчеловечна, не справедлива, не праведна. То-то же. Уже и сейчас в половине ваших лозунгов и призывов суть, сама сердцевина этих заповедей. Только не замечаете вы этого или заметить не хотите. За что-то своё, за что-то новое выдать пытаетесь. Попомните моё слово, придёт время, и учение ваше слово в слово повторит эти заповеди. Не сможет не повторить, коли действительно зовёт оно к справедливости, ко всеобщему благоденствию.

Отец Фёдор понял, что увлёкся, позволяет говорить лишнее в своём нынешнем положении. Увидел внимательный, изучающий взгляд

собеседника, его чуть склонённую голову, руку, машинально чиркающую что-то на листе бумаги.

– Что же замолчали, Фёдор Алексеевич, я внимательно вас слушаю. Даже не могу не согласиться, что вы в чём-то правы. И доводы свои вы достаточно грамотно и убедительно формулируете. В пропаганде это главное. Интересно, где научились этому? Вообще ваша речь порой больше схожа с речью учёного богослова из Санкт-Петербургской духовной академии, чем словесами сельского попа.

– Нет, в академиях не обучались, а вот семинария наша губернская одной из лучших в стране слыла. Преподаватели, опять же, достойные по своей учёности люди были. А потом вся жизнь последующая в прилежной учёбе, в самообразовании. Журналы, газеты, не только губернские, но и из столиц, литература, не только духовного толка, но и светская. Жизнь, как вы назвать изволили, сельского попа не особо богата, а удавалось выкраивать на книги, под конец уж изрядная библиотека скопилась. Делился ею с паствой своей. Не со всей, конечно, а с теми, кто к знаниям тянулся.

– В учении, которое вы проповедуете, не только эти заповеди, но многое, с чем мы, материалисты, да и вообще все здравомыслящие люди, вряд ли когда согласимся. О загробной жизни, к примеру. К райской жизни на том свете зовёте, а в жизни земной сплошь и рядом обман, эксплуатация кучки избранных основной массы людей, богачи жируют, а все остальные в нищете, в грязи, в убожестве прозябают. И вы этой кучке помогаете проповедью своей, отвлекаете трудовые массы от проблем земных, несбыточное обещаете. Не так ли?

– А вы, батюшка мой, правы. Правы, что в жизни так много существовало несправедливого, неправильного. Так не мы ли призывали делиться хлебом насущным, помогать всем страждущим, к справедливому распределению благ земных? И с этим не спорю, было среди священничества немало служителей, далёких от праведности, которые собственным примером вряд ли могли преподать пастве нрав-

ственный урок скромности, честности, бескорыстия. Однако не они определяли суть церковного служения...

– Ну вот! И вы приходите к этому, и вам в здравомыслии не откажешь.

– А у нас, позвольте заметить, не только в этом совпадение. Не только мы, но и вы райскую жизнь людям обещаете, и тоже не сегодня, а когда-то в будущем...

– Да, и мы этот рай построим на земле, и не в потустороннем мире, а в этом, – убеждённо, если не с ожесточением произнёс, даже ладонью по столу приложился, подчёркивая незыблемость сказанного.

Отец Фёдор надолго задержал взгляд на следователе, вглядываясь в лицо, словно каждую чётточку пытался разглядеть. С ответом не торопился.

– Владимир Павлович, – впервые назвал по имени отчеству, – Владимир Павлович, вы образованный человек и, безусловно, сведущий во многом, вы разбираетесь в основных вопросах современного бытия. Оглянитесь кругом, оглянитесь. Не кажется ли вам, что построенное вами за двадцать лет после семнадцатого даже отдалённо не может напоминать рай на земле?

– Это только начало, и мы со своего пути не свернём, пройдем его с честью и добьемся победы, чего бы ни стоило.

– Не велика ли цена?

– На себя, такого бедного, несчастного, советской властью обиженного, намекаете?

– Что я? Песчинка малая, не более того. Помнится вот, ещё до революции численность священнослужителей вместе с семьями составляла миллионов пять, никак, без малого. Отдельное сословие русского общества. Как же случилось, что одним росчерком пера целое сословие выкинули из жизни, вне всяких законов объявили. Ни малейшей надежды на достойную жизнь не оставили. Как же так? Ведь церковь и её клир без малого тысячу лет вместе с русским народом. Всё прошла, и гнёт ордынский, и войны, и смуты. Отчего же ныне вдруг изгоями в родном Отечестве стали?

«Сословие... около пяти миллионов. Ты сюда ещё сословие дворян приплюсуй, сословие купцов, полицейских, жандармов. Может, и этим всем права предоставить, как и попам, монахам твоим? Нет, тут война без мирного конца и согласия, тут война не на живот, на смерть. И хоть и есть, старик, в словах твоих здравый смысл и часть правды, и хоть сам ты порой симпатичен мне даже, но сути нашей классовой борьбы это не меняет. Мало того, ввиду грамотности твоей и ума недюжинного, как, впрочем, и смелости твоей, вдвойне ты, поп, опасен. Тебя только могила исправит и ничто иное. А значит...».

– Так уж прямо и всё сословие. Совсе нет. Если государство и ведёт борьбу с отдельными священниками, то только с теми, кто открыто выступает против Советской власти, кто народ мутит, против этой самой народной власти восстанавливает.

– Я против Советской власти не выступаю и никого против неё не настраиваю. На этом стою и стоять буду, нету в том моей вины. В писании сказано, что всякая власть от Бога, и я тому следую. А что по-стариковски брюзжу иной раз, так и то про себя, а никак не вслух. С вами вот, дурак старый, чегой-то распетушился, может, намолчался за последние недели.

– Ничего, Фёдор Алексеевич, ничего, откровенная беседа – она людей сближает, помогает не только чужое мнение выслушать, но и в своём утвердиться. Вернёмся к вышесказанному. Ещё раз подчеркну, что действуем мы в рамках тех законов, которые государством приняты, к невинным благосклонны, к нарушителям закона – суровы. Что церкви касаемо, то ещё в феврале восемнадцатого Декрет принят об отделении церкви от государства и школы от церкви. В нём многое прописано, в том числе провозглашена свобода вероисповедания. Верь, коли есть желание, верь хоть в Иисуса, хоть в Магомеда. Вы с чем-то не согласны, Фёдор Алексеевич?

– Отчего же не согласен, согласен. Больше скажу, сильно церковь при последних царях от государства зависела. Да что там зависела, абсолютно была подчинена. Патриарха не было, всем Синод заправлял, иерархи без него шагу не могли сделать. Так что с отделением оно, может, и верно у вас вышло. Что до свободы

вероисповедания касается, тут не вполне согласен. Это не свобода для верующих, это свобода для неверующих. Отрицать и хулить церковь и веру православную можно, а вот попробуй не то, что голос в её защиту поднять, так, шепоток слабенький себе позволить – и конец. Конец свободе совести, вероисповедания, да твоей собственной личной свободе конец. Какая уж тут свобода, когда заходит в храм активист из союза этого самого, что воинствующими безбожниками зовутся. С сигаркой заходит, словами матерными так и сыплет, на пол харкает и с вызовом на батюшку смотрит. Ждёт, когда тот ему замечание сделает, чтобы обвинить потом в выступлении ни много ни мало против государства. Стоит такой вот батюшка, в деда этому хаму годится, и плачет, от собственного бессилия плачет.



Андрей КРУЖНОВ

Жизнь провинциала

Роман с оттенком нуара

«Если человек предаётся мечтам,
он или очень счастлив, или очень несчастлив».

Антуан Риварол

I. Сумасшествие

Перестук вагонных колёс. В пустом купе занято лишь одно нижнее место: в конце перестройки мало кто ездил по стране, укреплялись, окапывались и готовились к сотрясательным временам на местах, как говорится, по периметру.

Под шерстяным одеялом кто-то спит, укутавшись с головой. Это Макс, он едет в Кóшму, в местный театр договариваться насчёт работы актёром – в этом году он заканчивает институт, и решил заранее подсуетиться.

В вагоне слабо горит нижний светильник, даже не горит, а медленно-медленно угасает, как керосиновая коптилка...

Макс убаюкивается, укачивается, вкатывается в сон мягко, с лёгкими толчками, как в детстве на санках, когда его, укутанного и обвязанного большим мохеровым шарфом с заиндевевшей щелью для

глаз, везли в детсад по скрипучему слежавшемуся снегу. Сон приходит беззвучно, внезапно и тоже рывками: проскакивая сквозь воспомина-ния, желания, мысли... Сквозь чужие мысли... А может, нет ни чужих, ни своих мыслей, а есть просто мысли?.. Хотя, какие же это мысли – бешено летящие картинки, как в метро, цветные смазанные полосы...

Но вот состав замедляет ход, колёса реже гремят на стыках рельс – и Макс наконец-то попадает в сон...

Слева ему подмигивает великий маэстро Федерико Феллини, слава богу, ещё времена Советского Союза, пусть и на исходе, но великий режиссёр здравствует и хочет что-то сказать на итальянском, приветливо приподнимает фетровую шляпу... Нет, уже не шляпу – это киношная хлопушка. Губы маэстро вытягиваются в широчайшей улыбке, но!.. Теперь он больше похож на Уинстона Черчилля: улыбка превращается в свисающие щёки, вылезают мешки под глазами. Знаменитая сигара во рту. «I'm glad to see you!» – правильно, по-школьнически выговаривает он, не открывая рта, и уплывает в сторону... /англ. «Рад видеть вас!»/

– Маэстро Феллини!.. – надрывается вслед Макс, боясь упустить маэстро. – Я всю жизнь мечтал снимать фильмы! Очень красивые фильмы с глубоким подтекстом, с красочными кадрами, с ликованием жизни, как у вас в «Ночах Кабирии».

Толстяк итальянец зачем-то поправляет шляпу и говорит куда-то в пустоту, хотя Макс понимает, что это для него.

– Вы, господин, лжёте себе, – он говорит лениво, и кажется, вот-вот замолчит. – Вы считаете себя демиургом, думаете, могу сотворить целый мир и стать королём. О, да! Вы хотите быть Богом... Вы горько заблуждаетесь, быть кинорежиссёром, значит, быть администратором, просителем, вечные побегушки, просилки, говорилки... Кинорежиссёр – это сумасшедший, который притворяется художником, cazzata! /итал. «Дерьмо собачье!»/

– Я умею притворяться! Многие даже не знают о моих талантах!.. – он ещё что-то лепечет и захлёбывается густым воздухом.

Эти чёртовы сны так бесформенны, так изменчивы, словно утренний туман над озером, чуть ветерок и – картина снова меняется...

Вот уже Макс видит себя со стороны, как это бывает во сне: на нём кожаная куртка, шляпа с полями, как у Феллини, кожаные перчатки. Макс начинает казаться, что он и есть Феллини... Или Феллини – это он?.. Бред... Но разве сон не есть бредовое состояние ума?..

Макс чувствует под ногами ребристую железную твердь: он стоит на крохотном пяточке, который бесконечно летит вверх!.. Что это – чёрно-белый синематограф? Нелепый немой фильм «Полёт на Луну», снятый в начале века?.. Чёрта с два! Макс ухватился за рога огромной кинокамеры, потому что стоит на пяточке операторского крана, который несёт его куда-то вперёд и вверх. Сокровенная мечта Макса – быть кинорежиссёром! Она выпорхнула из груди парня и полетела впереди, закрывая крыльями полнеба. Да-да, ещё с четвёртого класса – его разрисованные учебники ненавистной алгебры и химии, где на задней обложке наляпаны друг на друга картинки из будущих фильмов. Места на твёрдой обложке не хватало, а Макс рисовал размашисто, бесконечно укрупняя детали своих миров и галактик ядовитыми чернилами. А на чистых листах в тетрадах он так же размашисто писал сценарии неснятых фильмов с невероятно запутанным сюжетом и фантастическими персонажами...

На кой чёрт ему далась эта профессия, эта несбыточная мечта? Может быть, это навязчивая идея, как у психически ненормального... Иногда ему слышатся приглушённые голоса, будто в соседней комнате работает телевизор... А иногда всё отчётливо слышно, как будто сам Макс среди этих людей или персонажей – чёрт их знает, кто они такие, – кажется, с ними можно поговорить. Да, часто возникали сценки, будто отрывки из каких-то фильмов или подсмотренных жизней, особенно, когда Макс делал монотонную или физически тяжёлую работу, например, копал в огороде, долго и нудно перебирал картофель в погребе...

Когда за окном вагона плыл чёрно-белый зимний пейзаж с бесконечными проводами вдоль пути, когда монотонно перестукивались колёса друг с другом, тогда особенно чётко Максиму слышались какие-то разговоры, повышенные интонации, ругань. «Монотонность всегда провоцирует слуховые галлюцинации, – объяснял себе Максим. – Это не сумасшествие».

Диалог Мастера и претендента в ученики.

УЧЕНИК. Мастер, я буду лежать у вашей хижины десять лет – и вы научите меня ремеслу.

МАСТЕР. Значит, ты идиот, через десять лет я сдохну или заболею.

УЧЕНИК. Но ведь так делают все великие йогины, так посвящают в тайны ремесла.

МАСТЕР. Тебе нужно не ремесло, паралитик ты мозга. Тебе нужно могущество. От тебя воняет этим желанием.

УЧЕНИК (*уязвлённо*). Зачем мне это ваше могущество, чёрт вас дери?!

МАСТЕР (*говоря смачно и увесисто*). Потому что ты debil. Слабовольный червяк. Ты деревенская свинья из навоза! Плюнуть тебе в лицо?

УЧЕНИК (*взрываясь*). Старый комок грязи, да я тебя втопчу в землю!

МАСТЕР. Ну, топчи, чего ждёшь? Здесь твоё могущество! Здесь ты можешь показать, какой всесильный! Топчи, параноик!

УЧЕНИК (*презрительно*). Да ты и не мастер никакой. Старый вонючий ошмётки. Строит из себя знатока. А на самом деле – алкаш, мужеложник, любитель старых козлов – ты их трахаешь у себя в загоне.

МАСТЕР (*с наигранной озабоченностью*). Чёрт возьми, так много ты обо мне узнал. Не зря тут бродишь уже третий месяц. Всё разнюхал?

УЧЕНИК. Падаль надо определять по запаху.

МАСТЕР (*ухмыляясь*). Ты думаешь, святые пахнут пирожками и колбасками?

УЧЕНИК. Ты не святой! Ты вонь этой горы.

МАСТЕР (*кивая головой*). Я не святой. Я вонь этой горы.

УЧЕНИК (*сплёвывая*). Тьфу!

МАСТЕР. По-твоему, святой похож на упокойника, ничего не хочет, никому не мешает, ничем не пахнет.

УЧЕНИК. Вот именно!

МАСТЕР. Где же найти покойника, чтоб от него пахло лавандой или хотя бы копчёной сардиной? Ты найдёшь его?

УЧЕНИК. Найду. Расшибусь – найду.

МАСТЕР. Ты великий человек. Я поцелую твои ноги, а ты уж найди ароматного упокойника. Среди живых одно вонюще, даже не ищи... Ты ведь знаешь, что люди считали меня лучшим Мастером?

УЧЕНИК. Людям плевать. Коровы воняют лепёхами, и мы терпим это из-за молока... Святые вроде тебя – отравы! Мозги, воздух – всё вокруг отравы!

МАСТЕР. Ты прав. Бог всё смешал в этом мире. Говно, молоко, любовь, проститутки, лицо, жопа, дети, выродки... Кому-то надо разгребать. Если тебя не убьют где-нибудь, заходи, поговорим.

УЧЕНИК. Да, я зайду на обратном пути. Я прирежу тебя, если будешь вот так же сидеть на драном коврик и пить из кувшина. Ненавижу твой белый налёт на губах, хочется почистить его ножиком.

МАСТЕР. Уходи.

УЧЕНИК. Жалею, что не пырнул тебя сразу.

МАСТЕР. Всё, ты внюхался в мои миазмы. Поздравляю.

УЧЕНИК. Ладно, пойду, пока твоя отравы не сожрала мои кишки.

Ученик выходит из хижины Мастера, сжимая в руке до посинения старую железную скобу со ржавым остриём. Мастер смотрит в проём двери, где старый бык громоздится на тощую корову, постоянно соскальзывая с её мокрых боков.

Кажется, Макс запутался в поучениях Феллини – надо просто тупо снимать фильмы, бегать с отчётами, гонять потных монтировщиков и пыльных водителей по съёмочным площадкам или же надо создавать миры, творить Вселенные? Понятно, маститому мастеру был неприятен щенячий визг молодого психа, помешанного на кино; понятно, он осадил его чрезмерный пыл, но ведь и надежда нужна. Макс даже представил, как если бы он поступал к нему в киноакадемию – к великому маэстро!

Экзамены к маэстро Феллини.

ФЕЛЛИНИ. Кто такой?

МАКС. Я из России.

ФЕЛЛИНИ. Зачем? У вас куча прекрасных мастеров.

МАКС. Я бы мечтал учиться у вас.

ФЕЛЛИНИ. А язык?

МАКС. Я выучу.

ФЕЛЛИНИ. Вы как-то странно ведёте себя.

МАКС. Как?

ФЕЛЛИНИ. Вы со мной говорите так, будто я обязан вас полюбить. Но ведь вы не девушка.

МАКС. Я хочу понравиться вам.

ФЕЛЛИНИ. Ах вон что! Значит, вы напрасно тратите время.

МАКС. Что?!

ФЕЛЛИНИ. Сразу понравиться пытаются только проститутки. Умная девушка попытается заинтересовать вас. Она вам предложит какую-то игру, занятие... Вы не согласны?

МАКС. Да... Я хотел рассказать о своих планах... Я растерялся.

ФЕЛЛИНИ. Если вы растерялись на площадке, вы плохой режиссёр. Вас растопчут. Вы не должны заниматься этой профессией. Танцуйте или идите в актёры – что вы там умеете?

МАКС. Чёрт!.. Я умею рубить дрова, я умею копать картошку, но я не собираюсь всю жизнь заниматься хернёй! Arrivederci, профессор! /итал. «Прощайте!»/

Максу даже показалось, он услышал, как заскрипел кожаный плащ маэстро. «Наверное, решил остановить меня и извиниться, – подумал Макс. – Но остановиться, значит, признать свою вину. Чёрта лысого!»

Нет, нет, конечно, Макс будет сочинять фантастические миры, он будет жить их созиданием. Там на деревьях распускаются огромные цветы, а по земле ходят шестиногие зебропарды лилового цвета. На небе сияют три солнца и летают разноцветные птицы, похожие на бабочек... Это будут прекрасные фильмы о далёких мирах, где царит гармония и любовь... Он будет жить только там!

Он в полудрёме вспомнил рисунок из пятого класса, который усердно выводил на большом ватмане, ползая по полу среди рассыпанных цветных карандашей. Весь класс смотрел на Макса как зачарованный, а тот, прикусив язык, рисовал советский «Аватар» из жизни далёкой планеты со странным названием Анцора – он написал это слово в финале, чем вызвал ликование в классе, особенно среди девчонок, и тайную зависть среди некоторых мальчишек.

За эту картину прямо на уроке рисования он получил пять с плюсом. Сияющая молоденькая учительница подняла его шелестящий шедевр над головой, чтобы показать всему классу, и сказала:

– У Максима бурная художественная фантазия! Правда, замечательно? Посмотрите, сколько ярких и необычных животных бродят по лесам этой удивительной и красочной планеты. И эту «скромную» оценку он заслужил именно за свою фантазию! А ещё за смелость – ведь он не побоялся эту фантазию показать нам всем.

Почти на всех уроках было тоскливо и нудно, особенно на математике и химии, – там он искал спасение в мечтах и рисунках, где расцветали загадочные пёстрые Вселенные.

Выходит, кинематограф – не профессия, а какое-то спасение? Но сейчас-то – двадцать шесть лет парню! Почему это наваждение преследует до сих пор? Эти навязчивые видения, как у шизофреника, вспыхивают внезапно и гаснут, оставляя чувство досады из-за того, что этим не с кем поделиться.

Чем фантазия отличается от сумасшествия? Это невозможно спутать! Или возможно? Поди разберись...

А сон течёт дальше с плавно катящимся составом сквозь морозный воздух и скрип рельсов, словно кинолента в механическом аппарате. Впереди возникает ампирный дворец с мощными колоннами. Этот дворец катится на маленьких колёсах по красивому городу, где все здания из старого белёсого туфа, будто Афинский акрополь... Вот МГУ, гостиница «Ленинградская», Большой театр...

Макс понимает, что может остановить всю сцену одной лишь мыслью. Дворец замирает и тут же раскалывается надвое, как орех. Изнутри выплывает яркий огненный шар – солнце! Это всего лишь

символ, декорация, потому что вокруг и так светло без солнца... Макс потрясён и счастлив – он управляет окружающим миром! Так бывает во сне – огромное напряжение, скопившееся за несколько дней, вдруг разрешается в какой-то запретной фантазии или в невероятном всемогуществе. Ты можешь переспать с королевой шотландской, а можешь порвать зубами покойника и злобно рассмеяться – психиатры говорят, это обычное замещение... Вдруг сбоку чьё-то свиное рыло.

Это рыло сидит в открытом кабриолете рядом с Максом и рассуждает о любви. Кабриолет мчитя без водителя по пустынному городу, солнечный ветер развеивает волосы. Тупое рыло хрюкает и тычет мокрым холодным пятком ему в лицо. Мерзость! Кабриолет ныряет под тёмные своды арочного моста, и рыло исчезает. Вместо него какой-то человек в тёмных очках в пол-лица, в тёмном старомодном плаще с поднятым воротником... «Шпион! – думает Максим и догадывается. – НКВДэшник!»

Ну, конечно, это фильм по Булгакову, по его ненаписанному роману – иначе и быть не может! Вся Москва ищет гениальную рукопись. Макса при воспоминании о самодовольном маэстро передёргивает, вернее, он взрывается от негодования – хреновы макаронники! Что вы понимаете в тонкой русской душе? Обойдёмся без ваших капричио, соборов, Данте... Макс не должен отказываться от своей мечты, он должен снять эту и другие картины!.. В конце концов на маэстро свет клином не сошёлся, много прекрасных мастеров могут научить профессии. Макс подумал, что мог бы научиться и сам, если бы в руках была аппаратура и деньги... Кабриолет накрывает густая тьма – он влетает в тоннель. Впереди резко вырастает стена!..

Когда поезд плавно и беззвучно затормозил, Максиму показалось, что стена, в которую он врывается, была густая и мягкая, как вата. «Надо просыпаться!» – он с трудом отрывается от подушки, оказывается, это та самая стена из белой ватной «кладки».

Поезд перед окончательной остановкой, как это часто бывает, тряхнуло, и Максим реально врезался в тугую стену купе. Он поднял взъерошенную голову, и первое, что увидел в морозном окне, – это

белое неровное, будто неумело и наспех вылепленное из теста, здание вокзала. Привокзальная площадь больше походила на «пяточок» для стоянки такси и коробчатых пазиков, которые жались друг к другу на жутком февральском холоде, окутывая себя сизым дымом.

II. Пингвины на Луне

За привокзальной площадью растянулся трёхэтажный дом с облупившейся штукатуркой. Он казался понурым и усталым, будто бы ему порядком надоело терпеть внутри себя людей, которые бессмысленно снуют туда-сюда, бессмысленно разговаривают, едят, пьют, матерятся... «Барак!» – всплыло в голове Максима. С виду «хрущёвка», а по внутреннему ощущению – барак. Максим видел такие в рабочем посёлке, куда из благополучного центра переехала его мать незадолго до своей смерти. Над трёхэтажным домом недвижно стили клубы печного дыма, словно сказочные чудища, что намеревались захватить людей, но ангелы их вовремя остановили, и те, приговорённые, ждали снисхождения.

За длинным баракком прятались домики поменьше из частного сектора, как чёрные опята за сваленным дубом. Только жуткий мороз и тонны снега превращали эту разруху в белый кулич на всю зиму. Макс подумалось – в этом городе не может быть театра, видимо, он ошибся и приехал не сюда. «Даже если и есть театр, – мелькнуло в голове, – неужели я смогу жить и работать в этом?..» – слова не нашлось.

Слава богу, если здесь и придётся работать, то скорее всего год или два, пока не поступит в кинематографический. Можно и потерпеть...

Это было его первое впечатление от Кóшмы – застывший невсамделишный городок, слепленный наспех ради чьей-то дурной забавы.

Всё это было как бы продолжением того нелепого сна, откуда Максим только что вынырнул. Его сознание сопротивлялось, не желало принимать это за реальность, и Максим боднул оконную раму:

– Дылдюк! – что на его языке означало не человека, а функцию, которую не жалко стереть с лица земли, – тупое ничтожество.

Однажды, живя уже в Кóшме, Максим услышал на автобусной остановке такой разговор: «А ты хоть в курсе, откуда название Кóшма?» – «Да бог его знает, название оно и название». – «А вот слушай, я тебе скажу. Название это пошло от слова „кошмар“, я тебе говорю». – «Это чё же, житъё, что ли, кошмарное?» – «Погоди. Это когда поляки в Смутное время на Москву шли, они сюда свернули. Неделю тут, наверное, путляли-путляли, никак выбраться не могли. Ну, в сердцах и говорят, мол, не места здесь, а чистый кошмар! Кóшма – кошмар, значит». – «Так они же на польском, наверно, говорили?» – «А кто знает... На Москву шли, значит, уже русским владелли». – «Чёрт-те чё! А букву рэ куда дели?» – «Ну, это уже потом, когда царю писали, рэ убрали. Испугались город кошмаром назвать. Хотя, что убрали, что не убрали – один чёрт!»

Было ещё более несуразное и идиотское предположение, что название города Кóшма родилось из слов «хошь мя?», ну, типа «хочешь меня?» Вроде бы так говорили местные женщины народа пуэря на ломаном русском проезжим купцам, предлагая свои прелести в обмен на еду и всякие побрякушки... Хотя кто-то говорил, что здесь останавливались купцы из Средней Азии, которые везли кошмы – войлочные ковры из верблюжьей шерсти. Мол, из-за этих ковров так и прозвали небольшое селение в лесу. Но мало кто верит, что в здешние леса могли забрести восточные купцы, на кой чёрт им делать такой крюк в сторону от столицы.

Кто-то говорил, что «кошмя» на языке пуэря означало «плохая земля» или «тяжёлая земля». В общем, суглинок, солёная почва и примесь ещё чего-то – всё, что осталась от огромного древнего моря, которое когда-то покрывало эти земли. Плохо здесь что-либо росло из сельскохозяйственных культур, хотя леса стояли густые, местами непроходимые, озёра и реки красовались цветочными лугами на берегах, на болотах спела клюква, а в лесах не переводились грибы и ягода. Может быть, это казалось странным и несправедливым по отношению к человеку со стороны Матушки-природы, но народ приспособивался сажать картошку в лунки с яичной скорлупой и опилками, удобрял грядки компостом и картофельными очистками,

не роптал и не жаловался, а просто трудился без лишних и глупых вопросов. Просто жил...

Наконец-то поезд остановился. Максим осторожно спустился с подножки вагона на ледяной перрон, покрутил головой. Водители пазиков сбились на морозе в небольшую стайку, громко ржали и курили – Макс понял, что здесь он на автобус не сядет, и направился к остановке. Переходя привокзальную площадь по заледеневшим и мазутным следам от шин, Максим поскользнулся и чуть было не растянулся на дороге. Он заметил, что в Кошме, в отличие от Нечаевска, тротуары песком и солью не посыпают, то ли ввиду экономии, то ли ввиду лени городских служб, то ли вообще из-за отсутствия таковых, поэтому стал внимательно смотреть под ноги.

Остальные пешеходы на сильном гололёде ходили сомнамбулически медленно, привычно растопырив руки и еле передвигая ногами. Никто не возмущался, не ругался: люди даже не обращали на это внимание, словно они пробираются по зимнему лесу и сохраняют мудрое спокойствие, дабы не растрачивать сил понапрасну, а оставляя их для будущих стычек с ненавистными поляками. Максиму это напомнило старый комикс о жизни на Луне – в суровых условиях живут суровые люди, и эта суровая жизнь заставила их ходить нараскоряку, как пингвинов по льду. Он заулыбался, представив фильм о раскоряченных людях, как о пингвинах в глубине России. Должна получиться весёлая комедия, правда, непатриотичная. Он уже услышал комичный диалог пингвина и полярника, но...

Максим ухватил боковым зрением, как один мужик лет сорока поскользнулся, размашисто махнув сумкой, и подпрыгнул вверх, салютуя разлетающейся вермишелью. В воздухе бедолага обернулся, посмотрел вниз на место приземления, смачно выругался, всё ещё находясь в воздухе, – и только потом плашмя, всей спиной, припечатался к земле. Максим почему-то увидел это в рапиде, в замедленной съёмке. Обычно этот приём используют в кино, чтобы дать зрителю рассмотреть в деталях последние мгновения, например, разбившегося парашютиста или олимпийского бегуна на финише – создать напряжение. Максим увидел даже носовой платок, вывалившийся из

задних брюк мужика, его болтающийся каблук на двух гвоздях, беспомощное лицо, перевёрнутое в воздухе, и задравшиеся брючины.

– Да раз твою ж ты мать-перемать!..

Шмяк!.. Мужик сгрёб бесформенную шапку, со злости затопал было по рассыпанной вермишели, высоко поднимая колени... Правда, тут же чуть не поскользнулся и, как по команде, растопырил руки. Дальше всё было привычно и предсказуемо, только в одной растопыренной руке болталась пустая сетка...

Вот так идёшь домой с ничтожной полуедой на последние деньги – бах! – внезапно всё теряешь, хочешь проклясть судьбу или хотя бы выmaterиться как следует – нет! Иди и не ропщи – ты пингвин на Луне, а пингины не живут на Луне, поэтому падают в кратеры, задыхаются, когда кричат – и вообще!.. Ты кто есть? Ты такой же пингвин, который вместо того, чтобы штурмовать кинематографический институт в Москве, припёрся в город, где даже нет музея и картинной галереи, нет концертного зала и порядочной гостиницы. Ты такой же пингвин на Луне.

Макс уже начинал понимать абсурдность происходящего, но пока ещё не понимал, как обустроиться в этом абсурде. Как? Как пингвин на Луне. Ты ведь не имеешь родителя с громким именем, который здоровается с министром культуры СССР за руку или хотя бы похлопывает по плечу того самого Феллини, когда тот приезжает на международный кинофестиваль, почти все приличные театры для тебя закрыты – если ты вдруг собрался там поработать и поднабраться опыта. В кинематографический вуз, отчего у Макса холодело в груди, тоже за просто так не попадёшь.

Ему стыдно было признаться, отчего он умотал в Кошму, – да, он гнусный неудачник. Его место быть актёром в захудалом городском театрике. Его судьба – зарабатывать новые и новые комплексы, быть никчёмным мужем для какой-нибудь актриски с вульгарным макияжем, пьянствовать и рвать на себе рубаху в компании, мол, я-то могу, да вот шансов, сволочи, не дают!..

Корчить из себя непризнанного гения – мерзко. Надо было найти другое объяснение, тогда и сам его поступок станет другим, и он нач-

нёт чувствовать себя и жить по-другому. Например, он решил зарабатывать творческую репутацию с низов. Вместе с опытом. Хотя найдутся докучливые острословы, которые назовут его позёром и популистом... Нет, пока никаких толковых и твёрдых объяснений! Ничего.

Знакомым Макс рассказывал, что в Кошме его возлюбленная Люда Замочкина: она из московского университета, познакомились в стройотряде, всё такое... Родом из Кошмы, и туда же после учёбы стремится в обычную школу обычной учительницей – скромница без претензий. Мол, они уже два года переписываются, перезваниваются и теперь вот решили встретиться. На самом деле их заурядный стройотрядовский роман закончился сразу же после расставания...

Да и романом-то это не назовёшь: так, студенческая влюблённость, вспыхнувшая искрой над летним костром и мгновенно погасшая. Через год он от нечего делать написал ей письмо и в ответ получил что-то невразумительное, что-то типа: «Прости, я дорожу нашей дружбой, но мне сейчас надо устраивать личную жизнь. Меня впереди ждут большие события, о которых не хотелось бы говорить. Прости. Лучше меня забыть как женщину. Я всегда буду другом...»

Письмо показалось ему совершенно пустым и дурацким. Она, видимо, очень нервничала, боялась сделать ему больно и одновременно хотела выглядеть рассудительной и честной девушкой, хотя на самом-то деле каждая строка кричала – у неё есть парень! С тех пор Макс не то, что не писал, он даже не вспоминал об этой девушке. Он разглядел только сейчас, как она глупа.

И всё-таки почему же он выбрал Кошму? Может быть, прислушался к словам своего педагога, который ставил когда-то спектакль в Кошме: там милый театрик с профессиональной группой, воспитанный зритель, берендеевские пейзажи и доброжелательные жители, которые не только объяснят, как добраться до нужного места, но сами же туда и отведут... А может быть, в слове «кошма» Максиму слышалось что-то загадочное, что-то женственное...

В общем, он приехал в кошемский театр ещё в феврале, до выпускных экзаменов, чтобы заранее договориться о приёме на работу сразу же после вручения диплома в июне.

Диплом – сущее бедствие для советского выпускника: к этой картонной книжице прилагалось ещё распределение, где указывались город или село, в котором ты должен отбарабанить три или четыре года. В каком-нибудь полуразвалившемся клубе с облупленной печью, куда вечерами приходят подвыпившие парни с портвешком или самогонкой, чтобы погремать бильярдными шарами на столе с изодранным сукном или просто почудить перед девками.

Когда Максим получил это распределение на руки и прочитал название села – Солдатская Духовка, бедному парню показалось, будто ему на лицо положили чьи-то нестиранные портянки, так когда-то в армии наказывали новичков за сильный храп.

Да, да, именно так и должно называться то место, куда отправляют всех неудачников, чтобы они там спивались и превращались в скотов со звериными инстинктами. «Быдлопосёлок! – у Макса всё закипело внутри. – Как раз для такого лоха, вроде меня!.. Ну уж нет!»

На счастье Макса, советская власть уже испускала предсмертные вздохи, и он мог с чистой совестью это распределение сжечь или спустить в унитаз. Он спрятал его в коробку с пожелтевшими семейными фотографиями, как будущий раритет, чтобы лет через пятьдесят показывать своим внукам.

Но это было потом, летом, а сейчас он пробирался к занесённой снегом остановке автобусов. Ждать пришлось долго. На вопрос, как доехать до театра, ему сначала толком ничего не ответили.

– Какого такого театра? – переспросил сухонький мужичок с маленьким лицом. – Недавно, что ли, отстроили?

– Да нет, он уже лет сто у вас стоит.

– Ишь ты. А чего ж там сто лет делают?!

– Спектакли показывают. А у вас что, театров много? – удивлённо спросил Максим.

– Да бог его знает! Какие-то ансамбли под гармошку пляшут, а может, и поют, – мужичок осклабил в фиксатой улыбке. – У нас много домов культуры, какой тебе?

Максим понял, что зря теряет время, и оставил мужичка в покое. Слава богу, рядом стояла пожилая женщина и слышала их разговор. Она подсказала Максиму, где находится драматический театр:

– Это недалёко тут, три квартала. Правда, на морозе далековато, застынешь. На пятёрочке лучше или на троечке прокатиться. Я туда с внуком на утренники хожу. На сказки. А вы что, артистом у нас будете?

Максим что-то невнятно пробурчал и отвернулся – ему было неловко называть себя артистом. Это было не от скромности, а скорее от неуверенности и опасения, что сглазят: ну чего трепаться заранее, стану артистом, вот и увидите.

Максим не заметил, как пошёл в сторону театра пешком. На его счастье возле нескольких домов сердобольные хозяйки посыпали песком, и ему не пришлось семенить негнушимися ногами по льду. Он шёл, и в ушах звучали слова отца, который сам полжизни проработал актёром в Нечаевске: «В артисты не ходи – проститутская профессия. Будешь плясать под дудку всякого бездаря. Из десяти режиссёров – один-два стоящие, всё остальное – забыть и выплюнуть. Случайные люди!.. Я до сих пор жалею, что не стал журналистом. Дурак – столько лет на сцене подрывался!.. Иди в журналисты или в художники, или уж в режиссёры на худой конец, но не в артисты. Нахлабаешься!»

Воспоминание первое. «Сказочные страны»

Честно говоря, Максим и сам не питал страсти к актёрской профессии: ещё в детстве он наблюдал, стоя за кулисами, как отец в белых лосинах со шпагой на боку прыгал вокруг пышногрудой дамы и декламировал стихи о любви. Он был похож на кузнечика, такой смешной и нелепый...

Максим не хотел быть смешным кузнечиком, он хотел, чтобы по мановению его руки возникали сказочные замки, вырастали вековые леса, взлетали фантастические птицы. Тайком на уроках он рисовал в своих тетрадках далёкие планеты с диковинными животными и деревьями, придумывал карты несуществующих стран с морями и городами, где жили гномы, люди, бёрквисты, пантианцы, ларгиняры, зюстийцы – он выдумал множество сказочного народу. Максим даже придумал новый язык и алфавит – надо было просто подменять одни буквы на другие, и у тебя получалось что-то вроде тарабарского языка. Этот язык был пантианским. Максим так часто разговаривал на выдуманном языке с самим собой, что научился говорить на нём довольно бегло, он мог, сидя напротив телевизора, синхронно с телеведущим переводить все его слова на пантианский. Он брал любое стихотворение Пушкина, Лермонтова, Фета и читал его на своём языке без запинки, сохраняя рифму и неповторимый мотив стиха. Когда его школьные приятели узнали про это лингвистическое чудо, они были вне себя от восторга – несколько дней на переменках они окружали Макса и просили его прочитать что-нибудь: «Макс, мне загадай!» – умолял его друг Толик. Макс морщил лоб и начинал читать что-нибудь из школьной программы, читал нараспев, подсказывая оригинал ритмичностью речи:

Я муз рупáр, рупáмь ицjó пыдь вáхид
М вайй тисí икúзру ли замзйв,
Ла биздь алú муз пáрьси ли днимáхид –
Е ли чашí днимáхадь муз лашйв!

Толик судорожно вспоминал мелодику всех знакомых стихотворений, пока кто-то не выдерживал: «Я вас любил, любовь ещё быть может!.. Пушкин!»

Конечно, восторженные мальчишки переписывали алфавит к себе в тетради, зубрили буквы, но такой скорости, на которой мог говорить Максим, им не удавалось достичь. Макс мог спокойно петь

песни на своём языке, читать книги и разговаривать. Единственный недостаток – его никто не понимал, чтобы перевести предложение, нужно было мгновенно менять буквы. Это было утомительно и долго, поэтому язык так и остался «мёртвым», а Максим был единственным его носителем.

Макс даже стал писать хронику Пантианской империи на искусственном языке, пока это увлечение не сыграло с ним злую шутку.

Однажды на образцово-показательном уроке, где присутствовали важные персоны из гороно, учительница литературы, зная артистические способности Макса, вызвала его к доске прочитав Лермонтова. Максим встал в величественную позу, отвёл назад руку и поднял глаза в потолок, видимо, там обитали «тучки небесные» из известного стихотворения. Но неожиданно для самого себя он стал говорить на пантианском языке. Сначала класс замер. Потом мальчишки стали что-то возбуждённо шептать друг другу, Толик, вытянувшись на парте, подсказывал ему слова на русском, учительница смущённо кашляла, но Максим понимал, что останавливаться уже не имело смысла. Он дочитал стихотворение до конца, зачем-то низко поклонился, словно пианист по окончании сложной симфонии, когда ему кричат «браво!», и сел на место.

Важные персоны из гороно переглянулись друг с другом и сказали, что мальчику надо бы участвовать в лингвистической олимпиаде, что они первый раз слышали, как прекрасно звучат стихи Лермонтова на испанском языке!

Учительница была рада, что всё так легко обошлось, но родителям сказала, Максиму надо показаться невропатологу. Никакого невропатолога, конечно, не было, отец спросил у Макса, в чём было дело, и после рассказа только покачал головой:

– Мда, фантазёр. Прямо Джанни Родари! Ну что я скажу – сочиняй, может, и будет какой толк со временем.

И он сочинял дальше. На заднем дворе за столом с длинной скамьёй, где обычно соседи по вечерам играли в лото, он собирал мальчишек и рассказывал им о приключениях супергероя по имени

Анифум. Ему нравилась история о новгородском мальчишке Онфиме, который восемьсот лет назад рисовал себя на бересте то героическим воином, то зверем. Он переделал его имя и взял в свои фантазии, как добрый талисман.

* * *

Когда по заледенелой тропке Максим вывернул из-за угла и оказался на центральной площади Кошмы, он увидел большое остроугольное здание театра, чем-то напоминающее бетонный куб, брошенный с небес и застрявший в земле надолго и прочно. Потом Максиму рассказали, что это здание строилось специально для партийных конференций, съездов и прочих собраний, которые затевались в Кошме, а театр был всего лишь поводом, чтобы бюрократы от компартии могли поставить себе галочку за продуктивную и искреннюю любовь к искусству.

Внутри этого огромного куба всё было по-иному. Макс прошёл по ковровым дорожкам вдоль длинных коридоров: бесконечные прямоугольные двери в гримёрки, откуда пахло вазелином, пудрой и клеем. Когда он через кулисы вышел на пустую сцену, в зрительном зале не горел даже дежурный свет. Макс сделал несколько осторожных шагов в темноту, пока не уткнулся носком ботинка в бортик авансцены. Ему казалось, что он стоит на краю Вселенной, и если сделает хотя бы ещё один шаг в эту чёрную пустоту космоса, то сгинет навсегда!..

Щёлкнул тумблер, и загорелись дежурные лампы. В жидком свете он увидел огромный зал на тысячу мест! Максим был поражён. Зачем небольшому районному городу такой огромный зал?! Словно сюда должны были съезжаться партработники со всех соседних областей, а может, и со всего Советского Союза. Это была нелепая загадка советских времён с ещё более нелепым ответом, мол, местное руководство хотело блеснуть перед столичным министерством и отгрохало эдакий провинциальный Тадж-Махал в память о себе для благодарного начальства.

Максиму показалось, что театр чересчур пустоват для разгара театрального сезона: на вахте сидела полная седая женщина и что-то

сосредоточенно вязала, на вопрос, где найти директора или главного режиссёра, она почему-то грустно усмехнулась и кивнула в сторону кафельного коридора, тоже пустого и полутёмного. Максим шёл мимо дверей с табличками и читал: «отдел кадров», «главный бухгалтер», «главный инженер», «главный администратор»... Он уже начал сомневаться, что находится в театре, пока на слегка приоткрытой двери не увидел табличку «звукооператорская». Он просунул голову внутрь: на столе возвышался огромный катушечный магнитофон, возле которого копошились два человека, один – совсем щуплый и второй – поплотнее, в вязаном свитере с поднятой горловиной аж до самого подбородка.

– Извините, а где здесь найти главного режиссёра или директора? – спросил Максим и улыбнулся, извиняясь за своё неожиданное появление.

Глаза у человека в вязаном свитере почему-то забегали, щуплый мельком взглянул на него – и снова склонился над магнитофоном.

– Молодой человек, пройдите чуть дальше, там вам всё популярно объяснят, – ответил человек в свитере и снова склонился над магнитофоном. Потом поднял голову и добавил: – Извините, нам ужасно некогда.

В конце коридора Макс наконец-то дошёл до двери, где красовалась большая лакированная табличка с золочёными буквами «ДИРЕКТОР».

Директора на месте не оказалось, пожилая очкастая секретарша сказала, что он на встрече с ветеранами, напротив была дверь заместителя директора, вот туда его и отправили. Заместителя звали Лев Григорьевич, половину его лица закрывали массивные очки с тёмными стёклами, поэтому было непонятно, куда вообще он смотрит и о чём думает. Максим пробормотал свою фамилию и сам удивился, куда исчез его голос.

– Извините, не расслышал. Как, говорите, фамилия? – спросил заместитель.

– Брындин. Максим, – повторил Макс, краснея за свою робость. – Давно слышал о вашем театре... Очень хорошие отзывы от знако-

мых. Ну, решил сам приехать к вам и предложить себя для работы... То есть чтобы узнать насчёт работы... Ну, чтобы устроиться на работу в будущем... – Максим понял, что сейчас окончательно запутается, и замолчал.

Лев Григорьевич даже приподнял очки и как-то странно и озабоченно взглянул на него.

– Ну, это хорошо, – сказал он, опуская очки, – замечательно, что вы желаете у нас работать. А кем, простите узнать?..

– Артистом, – сказал Макс и вспомнил, что «артист» вроде бы звание, но не должность... – Актёром.

– Понятно, – многозначительно протянул заместитель и откашлялся, словно собрался говорить долгую и пространную речь. – Прямо сейчас хотите устроиться? Уже документы принесли, диплом?..

– Нет, диплом ещё не получил. Летом получу. Просто хотел узнать, можно ли к вам устроиться. Как говорится, прозондировать почву, – Максим заметил, что после этих слов у заместителя как будто свалилась гора с плеч, он откинулся в кресле и стал более дружелюбным. Максиму тоже стало легче, оттого что он перестал быть причиной напряжённого ожидания и неловкости.

– Издалека приехали? Как вам город? Как добрались?..

– Добрался нормально, с пересадкой, через столицу из Нечаевска...

– Из Нечаевска?! Да вы что, у меня же бабушка оттуда. Как же вас занесло-то сюда?.. Кто же вам посоветовал?.. Надо же такое!.. – Лев Григорьевич приподнялся на кресле и предложил Максиму сесть.

Теперь, когда стало понятно, что заму не надо сию минуту искать рабочее место для юноши, не надо ломать голову, где его поселить, разговор покатился без ям и без кочек. Лев Григорьевич рассказал, что сейчас в театре нет главного режиссёра, что директор в скором времени уйдёт руководителем в музыкальную школу, потому что сам тромбонист со стажем и давно жаловался, что не может работать в театре, мол, это слишком специфично и на любителя. Максим в свою очередь рассказал о Нечаевске, похвалил Кошму, на что заместитель удивлённо вскинул брови.

Максим старался понравиться и расположить к себе, но, видать, перестарался: когда он стал расписывать свои мечты о кошемском театре, о том, что молодому актёру лучше всего начинать карьеру в провинции, а не рваться в столицу, Лев Григорьевич склонил голову набок и уткнулся глазами в стол или куда-то в пол за креслом.

– Ну, хорошо, – перебил он Максима, – до лета ещё дожить надо. Может, ещё передумаете или у себя в Нечаевске что найдёте. Мы никуда не денемся, молодые актёры да ещё в начале сезона – это нарасхват. Доучивайтесь, получайте диплом и тогда уже – милости просим... – мужчина задумался, как бы это сказать повежливей. – Но предварительно позвоните обязательно, всякое случается. А то вдруг землетрясение, метеорит упадёт или ещё беда какая!.. Без звонка не приезжайте, не тратьте время зря.

Из театра Максим вышел расстроенный – «не тратьте время зря!» Явно, он отказал ему. В мягкой форме. Явно, пожалел несчастного студентика. Артист-трубочист! Значит, надо искать что-то другое. Легко сказать!..

Видимо, отец был прав, нужна стоящая профессия, где тебя уважают, приглашают, в тебе нуждаются. А что такое артист?! Бабочка-капустница, обаятельная паразитка! Порхать по театрам страны в поисках умного режиссёра и благосклонного начальства – чёрта с два! Уж пусть другие зависят от тебя, чем ты от кого-то. То ли дело кинорежиссёр: собрал команду, набрал актёров, достал деньги, заказал транспорт, умотал к чёрту на кулички – и снимай в своё удовольствие, никто над тобой не властен, никто не насмехается, не хитрит...

Максим не заметил, как поскользнулся и чуть было не растянулся на тротуаре, чья-то цепкая рука подхватила его подмышку – и он остался стоять на одной ноге.

– Под ноги смотри, а то без башки останешься, – сказал ему в ухо мужской голос Максим обернулся и увидел красномордого мужика в облезлой кроличьей шапке.

– Тут позавчера женщина лодыжку повредила, на «скорой» увезли. Так всё равно же, черти, не сыплют ничем. Приезжий, что ли?

Макс утвердительно кивнул головой.

– А чего в Кошме забыл? – не унимался спаситель.

Максим пожал плечами и извинился, сейчас ему ну никак не хотелось трепать языком, он повернулся и пошёл через дорогу к вокзалу. Обратный билет лежал в нагрудном кармане, значит, до вечера придётся торчать в зале ожидания...

– Вот дурачьё, – услышал Максим за спиной уже знакомый голос, – прутся из села, как будто мёдом тут намазано...

«Из села», – повторил про себя Максим и усмехнулся.

Наверное, если бы Макса в Кошму приглашали жить и работать, обещали бы золотые горы, уговаривали, он бы мог заподозрить что-то неладное и не согласился. Но сейчас ему почти что указали на дверь. В какой-то задрипанной Кошме, которая в три раза меньше Нечаевска. Размахнулись, чтобы дать пинка под зад, но пока лишь слегка толкнули ногой. Но это не умаляло оскорблённого самолюбия.

На вокзале в буфете Максим взял свой любимый молочный коктейль и четыре эклера – кутить так кутить. Холодный белоснежный крем приятно таял сначала во рту, затем во всём теле. Максим снова вспомнил слова отца. Наверное, он и вправду глупо сделал, что стал театральным актёром... Хотя – не старался он быть актёром! Само так случилось. Вернее, судьба так вырнула.

Воспоминание второе. «Кино, Юлька и графоманы»

Он вспомнил, как однажды поехал в Москву, – мечта о кино не давала покоя. Добрался на метро до ВДНХ, там пешком до института кинематографии, сокращённо ВГИК. Это было сухое осеннее утро, студенты спешили на занятия. В дверях института сидел строгий вахтёр в форме и со злой тоской смотрел на людской поток, плывущий перед глазами. Собрав всю волю в кулак, с дрожью в коленях, Макс вместе со студентами прошёл через проходную, сосредоточенно глядя перед собой, чтобы не дай бог вахтёр не разглядел его испуганных глаз.

Он ходил по этажам ВГИКа, заглядывал в аудитории, вглядывался в лица студентов, которые перемещались стайками, о чём-то увлечённо споря. Все они казались ему беззаботными и счастливыми, он думал, что может вот так же рассуждать о Бергмане, Тарковском, Феллини...

Прямо перед собой он увидел парня, который сидел на низком подоконнике и курил. Курил сосредоточенно, будто в последний раз: было в нём что-то одинокое и трагическое. Чужилось что-то родственное. Максим подсел к нему на подоконник, и сразу же вопрос в лоб – трудно ли поступить на кинорежиссуру? Парень даже не посмотрел на Максима, но ответил – без блата не суйся! Ты ведь не сынок известного киноактёра. Максим удивился, мол, а как же он попал. Парень усмехнулся – попал по лимиту от какой-то республики, типа, людям с улицы сюда путь заказан. Ну да, Шукшину повезло, но это один на миллион, поэтому зря потратишь время и нервы. А если даже и выучишься, не факт, что будешь снимать – везде блат, блат и ещё раз блат до самой смерти! Лучше даже не лезть в эту адскую машину!

Его мечта – это адская машина? Таким, как он, сюда путь заказан?

Максим вышел из института, будто оглоушенный, и поплёлся вдоль трамвайных путей, не чуя ни ног, ни палящего в спину сентябрьского солнца. Высокая железная ограда вдоль ВДНХ была издевательски бесконечна, она отгораживала Максима от чего-то прекрасного, возвышенного, о чём снимал свои картины Феллини, о чём шелестели серебристые тополя за тянущейся до неба железной оградой.

Он вернулся в Нечаевск побитый и опустошённый. Решил окончательно, что поступит в местный институт культуры. На библиотечный. Будет много читать, писать рассказы, может, даже романы. Их напечатают в местной типографии на дешёвой жёлтой бумаге и начнут продавать в местных киосках. Его станут приглашать для выступлений в литературные кружки где-нибудь в холодных пыльных библиотеках. Там с внимательными лицами его будут слушать пенсионерки и местные графоманы...

У Максима вдруг возник какой-то мазохистский азарт, ему хотелось припечатать себя к стене, закупорить в бочку и выбросить в море к чёртовой матери! И больше никаких женщин, и никаких женитьб, как это было с Юлькой! Если ты неудачник, значит, ты должен жить один и страдать, пока не поумнеешь! Хотя Юлька ведь зачем-то была в его жизни?..

Не прошло и полгода после дембиля, как Максим женился на разведёнке с ребёнком. Юля, или как он звал её Люляшка, была худенькой и миловидной, в постели сначала прикидывалась «девочкой», но как доходило до дела, ехидно улыбалась или демонстративно закатывала глаза, явно желая угодить Максиму. Ему это казалось издевательством, насмешкой над ним, он хотел, чтобы она стонала в постели, царапала стену и его спину, кричала «я улетаю!» – так обычно расписывали его дружки свои сексуальные победы.

Но Юлька во время секса молчала, как рыба, закусив верхнюю губу, и было непонятно – хорошо ли ей, больно ли, терпит она Макса, ненавидит или всё-таки любит?.. Как-то раз во время интимных прелюдий, ранним утром, когда Макс пытался её «завести» и усердно гладил живот, она сказала полусонная:

– Ну не расчёсывай пупок – щекотно. Впихивай давай поскорее – только отстань!

Максим отдернул руку, будто ошпаренный, лёг и уставился в потолок.

После секса Юлька иногда шкодливо улыбалась и говорила, что в глазах у неё летали какие-то искры и её жутко трясло. Причём она могла это говорить, уплетая пирожное с молоком и аппетитно причмокивая. Максиму казалось, она водит его за нос, как первоклассника. Он снова бросал её в койку и налетал на девушку, будто хотел доказать самому себе, что он в силах довести её до экстаза, до умопомрачения! Всё это походило на бесконечное соревнование, где он доказывал своё право быть самым-самым-самым...

Была это любовь, страсть или что-то ещё – Максим так и не понял. Ребята говорили, что после армии всегда так, как женского тела

почувствовал, всё – или по бабам вразнос пойдёшь, или за одну уцепишься и женишься.

Мать вообще решила, что он хотел досадить родителям и просто-напросто сбежал из дома – его молодая жена имела свой деревянный дом с огородом и садом в окраинном районе Нечаевска, поэтому жить можно было свободно, без родительской опеки. Родители её развелись: отец жил где-то в Сибири, мать – в деревне за шестьдесят километров от города.

Честно говоря, Максим свободе был ужасно рад, но не мог согласиться, что стал жить с ней только из-за этого.

– Она мне нравится, отстань! – огрызнулся он матери.

А отец подначивал:

– Ну и нравится, ну а жениться-то на бабе с ребёнком зачем? Живи, встречайся, можешь даже деньги ей отдавать, – но жениться-то к чему?!

Тут ещё и мать встревала:

– Баба старше его на пять лет, ребёнка нагуляла, а ты дурак, трусы увидел и за ними побежал! Для матери-одиночки такого лопуха поймать — это же просто счастье! Про все институты свои забыть можешь!

Максим и сам не знал, зачем женился. Люляшка так захотела, сказала, мол, надо узаконить отношения, у неё сын растёт, неприлично как-то без регистрации. Ну, расписались... Ну, прожили два года... Мать его иногда заезжала к ним в гости, и всякий раз это заканчивалось скандалом, мать обзывала Юльку лентяйкой, шалашовкой, грозились лишить родительских прав и упечь в колонию, мол, она должна заниматься воспитанием сына, а не скакать по мужьям, как конь по горам.

Отец Макса чаще стал уходить в запой, винил во всём себя и непутёвую жену. К тому времени он уже давно ушёл из театра и калымил по сёлам в бригаде таких же «свободных строителей», как и он сам. В одном из сёл бригада чинила крышу на коровнике под палящим солнцем. Отец с утра, как обычно, принял на грудь «сто пятьдесят» и полез на крышу. Очень скоро его хватил тепловой удар, тут же кро-

воизлияние в мозг, он скатился с крыши, сильно разбился и вдобавок его частично парализовало. Отца отвезли в нечаевскую реанимацию, а через неделю он умер. Мать во всём обвинила Максима с его шалашовкой, заявила, что им не достанется квартира отца, и быстренько обменяла её в рабочий посёлок на окраину Нечаевска, получив солидную доплату.

Максим набычился и упёрся в одну цель: создать крепкую богатую семью, чтобы много детей, машина, два дома, дача, катер. Он и в грузчиках поработал, и в санитарях, и ночным сторожем. Было даже так: ночью сторожит, а днём капусту с картошкой на базе разгружает. Быстро это надоело, зарплаты всё равно копеечные, хоть на трёх работах загибайся – лучше жить не станешь! Жизнь стала какой-то серой и бессмысленной... Не спасали даже выпивка и ежедневный секс с Люляшкой.

И вдруг услышал, в редакции «Нечаевской правды» собирается раз в неделю клуб молодых поэтов под странным названием «Стежя́». Сходил ради интереса. Среди молодых поэтов где-то половина была старше сорока лет, четыре ветерана войны за шестьдесят и три пенсионерки, которые приходили с толстыми тетрадками, исписанными мелким почерком. Был даже зам главного архитектора города по фамилии Околупко, который сочинять стихи начал в пятьдесят лет, вернее, не стихи, а зарифмованные тосты для юбилеев, банкетов и прочих высокопоставленных пьянок. Такие стишки обычно читают по бумажке с бокалом в руке над изобильным столом. Подвыпившее начальство его всегда хвалило, и он стал считать себя настоящим поэтом. Да и вирши свои выбрасывать рука не поднималась.

У всех в клубе было страстное желание – напечататься! В газете, в альманахе, в собственной книге, в сборнике кулинарных советов – неважно, главное, увидеть свою фамилию, отлитую в чётких буквах на типографской бумаге. Эта страсть Максиму казалась маниакальной, болезненной, он её не разделял, как и ещё пара молодых ребят, студентов из местного института культуры. Их стихи Максиму нравились больше остальных, страстные, хлёсткие, с не-

ожиданными поворотами; они брали обычные образы, соединяли их так, что получалось нечто другое, фантастическое в своей простоте и проникающее в самую душу – да, да, именно так это и есть, восхищался ты.

И старики, и молодёжь отнеслись к студентам недружелюбно, после каждого их чтения обзывали такую поэзию декадентством. Руководитель клуба, профессиональный поэт Иван Оточин, называл это модернистской копотью, западничеством рабством и ещё какими-то мудрёными, но ругательными словами.

Игорёк и Кузя, два этих студента, во время нападок ничего не отвечали, а только ехидно улыбались, чем выводили остальных из равновесия ещё больше. Но однажды Игорёк не выдержал, встал во весь рост и обозвал всех воинствующей серостью. Это был шок! На их головы посыпались проклятья, ветераны трясли кулаками, пенсионерки хлопали тетрадками об стол, грозили пальцем, «правильная» молодёжь грозила им бесперспективным будущим, казалось, ребята попали на «народный» суд за измену Родине. Короче, шума было много...

– Слушай, Макс, чего тебе дался этот клуб пенсионеров и недоумков? – сказал ему как-то Кузя, когда они сидели все втроём в пивной. – У тебя рассказы прикольные. Сразу, правда, не поймёшь: то ли фантастика, то ли сказка. Ты поступай к нам на библиотечный: связи появятся, может, в издательство устроишься. В Москву любому не попасть. В этом кружке самодеятельности никого не напечатывают. Стёжки-дорожки. Этот Оточкин-Кочкин себе подработку придумал, а люди так, для видимости. Помнишь, тогда из Москвы поэт к нам приезжал? – фамилию забыл... Козюлин или Косулин. Оточин ему потом в кабаке банкет устроил... – Кузя состроил пьяную гримасу на лице и громко икнул. – Так сказать, поклон от всех любителей поэзии города Нечаевска.

Максу почудилось, что он слышал разговор двух поэтов в ресторане за обильно уставленным столом...

**Диалог местного поэта Оточина
и известного поэта Косулина.**

ОТОЧИН (*разливая из графина по стопкам*). Нашей нечаевской водочки попробуйте, Аркадий Юлианыч. Наш местный завод нас радует.

КОСУЛИН. Люблю местное. Так сказать, от земли. Безо всяких этих современных примесей.

ОТОЧИН (*расплываясь в блаженной улыбке*). Аркадий Юлианыч, оставайтесь хотя бы денька на три. Мы вас и на рыбалку свозим, и по всем памятным местам проведём. У нас такая природа! Потом целую поэму напишите.

КОСУЛИН (*всё больше грузнея от выпитого*). Ага, напишу... Про вас напишу, про него напишу, про неё допишу... (*Машет руками в разные стороны.*) Поэт по вызову, понимаете... Вы думаете, я к вам только из-за денег приехал? Вы думаете, меня в Москве никуда не приглашают?

ОТОЧИН (*испуганно и извиняясь*). Ну что вы, Аркадий Юлианыч. Косулин – это же целая эпоха! Альманахи, сборники. Мы вас поэтому и пригласили.

КОСУЛИН. Всё вы врёте. Вознесенского никогда пригласить не сможете – Андрюша не по карману вам. Да он и сам в эту дыру не поедет. А я поеду. Потому что я не Вознесенский... (*Немного подумав.*) И ты не Вознесенский. Садись, чего ты с графином передо мной, как официант, замер.

ОТОЧИН (*пытаясь пошутить и разрядить обстановку*). У нас в Нечаевске, знаете, как про это говорят? У нас говорят, чем выше заберёшься, тем больнее упадёшь. (*Пытается беззаботно рассмеяться, но выходит как-то натужно и неестественно.*)

КОСУЛИН (*глядя на него недружелюбно и мрачно*). Ты к чему это ляпнул? Вознесенский оттуда никогда не упадёт, и мы туда никогда не заберёмся... Чего на слона лаять!

ОТОЧИН. Ну что ж, у каждого своя, как говорится, стёжка. (*Выговаривает нарочито весомо и громко.*) Стежа.

КОСУЛИН (*морща лицо*). Давно хотел спросить, откуда вы такое дурацкое слово откопали? Это же Малороссия или древнерусское что-то... Зачем выпендриваться? Выкопают какое-то пыльное замшелое слово и носятся с ним как кони – мы писатели-копатели! А читатель плюётся потом.

ОТОЧИН (*с плохо скрываемой обидой*). Ну, мы люди маленькие – что откопали, то, как говорится, на флаге и подняли... Вы нам подборочку стихов в «Столице» напечатаете – мы уже будем до облаков прыгать.

КОСУЛИН. Да, да, это как договорились... (*Опять морщится.*) Этих любителей тоже печатать?

ОТОЧИН. Господь с вами – пенсионеры одни. От безделья рифмоплётничают.

КОСУЛИН. Там и молодых вроде каких-то видел...

ОТОЧИН (*небрежно махнув рукой*). Шантрапа. Пришли, посмотрели и ушли. Ничего серьёзного.

КОСУЛИН. Мда... (*Выпивает водку и хрустит огуцом.*) Кто нам, старикам, на смену придёт? Никто. Некому.

ОТОЧИН (*тяжело вздыхая*). Да, молодёжь измельчала... (*Опрокидывает стопку с водкой себе в рот.*)

В общем, и Макс, и эти два студента больше в «Стежу» ходить не стали.

Вот после этого-то разговора в пивной Максим и поехал во ВГИК в Москву: то ли хотел убедиться, что мечта его недостижима, то ли, действительно, зондировал почву для дальнейших действий – он и сам толком не мог понять...

Макс тешил себя мечтой: вот он встанет на ноги, наберётся опыта... и станет таким же, как великий маэстро Феллини! Хотя почему Феллини?..



Татьяна КУРБАТОВА

Не забывайте обо мне

Стихи

Не возвратиться прежним...

Никто не возвращается с войны
Так просто, за спиной захлопнув двери.
Она вдогонку шлёт свои потери
Сквозь крики безголосой тишины.

Любые двери не помеха ей.
И с каждым днём –
чем дальше, тем больней –
За ней, как шлейф,
трагедий вереница
Проносится подстреленною птицей.

А память ночью жжёт неумолимо,
Незабываемо, жестоко, нестерпимо.
Не возвратиться прежним, не уйти,

Себя в толпе безликой не найти.
Не поддаётся прошлое забвенью,
В грядущее ворвавшись на мгновенье...

Один порицает, другой отрицает

Один порицает, другой отрицает.
Тот – громко смеётся, тот – горько рыдает.
Один за компанию горькую пьёт,
А тот – за компанию в ногу идёт.
С тем самым, который всё так же упрямо,
Так гордо и прямо по кочкам и ямам
Победное, бедное красное знамя
К победе над нами, над всеми несёт.

Один осуждает, другой угождает,
А тот – на гармонике громко играет
И с песней по жизни упрямо идёт.
Ни шагу назад, всё вперёд да вперёд:
«Мы смело, мы в ногу...»
Без веры, без Бога.
«Мы в царство свободы...»
Где правят невзгоды.
Где правят вожди
И бесправны народы.

Один убегает, другой догоняет.
Тот – ловко дерётся, тот – метко стреляет.
А тот – по бумажке с трибуны читает...
И все мы заложники дней и событий.
Не главных решений, не главных открытий.
Мы все, словно пешки, не главны по сути.
И всё это страшно до дрожи, до жути.

Заложники чьих-то высоких амбиций.
Страна без главы, как народ без традиций,
Как птица без крыльев, а крылья без птицы:
Ни в небо взлететь, ни на землю упасть.
И власть уж не сила, а сила – не власть.
И всюду разруха, лишенья и грязь.
И что там сосед, самому б не пропасть.

Дерево

Вот дерево засохшее, но всё же
Оно ещё качается от ветра,
Дробя ветвями дни на склоне лета,
Скелетом веток сонный день тревожа.
С живыми наравне от ветра стонет,
И ствол сухой, скрепя ветвями, клонит.
Но корни мёртвы, крона опустела.
Ворона, каркая, на дуб засохший села...
С другими он качается, но ждёт,
Что под напором ветра упадёт.
Упал.
Не встать.
Ворона улетела.

А что у нас сегодня?

А что у нас сегодня? Облака...
Они плывут и тают за рассветом.
Моя печаль плывёт издалека,
Подхваченная предрассветным ветром.

А что у нас сегодня? Тихий день...
Тень облаков ложится на поляны,
А я бреду сквозь синие туманы
И всяких слов и мыслей дребедень.

А что же будет завтра? Суета...
Она нас поглощает ежечасно.
А я всё жду,
жду каждый день напрасно,
Что сбудется заветная мечта.

Она всё не сбывается, хоть плачь,
Уже который год, десятилетия.
Но верим всё ж в неё, совсем как дети, –
Весною вновь ведь прилетит знакомый грач.

А что у нас сегодня? Будет дождь...
Он смое все следы, и солнце снова
Повесит радуги звенящую подкову,
И ты сквозь дождь под радугой пройдёшь.

На паперть брошенная подаяньем...

На паперть брошенная подаяньем,
Я медный грош, мала моя цена.
Разменная монета состраданья,
От боли откуп, вечная вина.

До дна допить напиток искушенья,
Мгновенья счастья, вот его цена.
А на висках белеет седина,
Грехов несовершенных искупленья.

Всему цена, за всё своя расплата.
Талант звенит монетами в горсти.
Дар Божий разменявши на заплаты,
Взывает нищий: «Господи, прости!»

Пилат умоет руки, суд свершится,
Толпа подпишет смертный приговор.
И меч разрубит узел, давний спор
Меж гением и чернью разрешится.

Впивается в чело венец терновый,
Вселенской скорби, всепрощенья взгляд...
А сквозь века очередной Пилат
Пред казнью умывает руки снова.

Мне нравится, что я больна не вами...

Сказать, что Вами я больна,
Неправдой было бы, пожалуй, в самом деле.
Другими мы давно переболели.
Вы в одиночество моё войти сумели,
И я была, поверьте, не вольна
Вас заставлять, приказывать – увольте.
Давно остыла. Начинать всё снова?
Не воскресить. Поминки по былому?
И рада бы. Попробовать? Извольте...

Букет цветов. Но розы за неделю
Завяли и поблёкли, почернели
И наземь облетели лепестки.
Не так ли наши чувства коротки?
Как стрелы падают, не достигая цели.

А Вы, мой друг, однако, поседели...
В костре чадит осенняя листва.
Как поздно, право, ни к чему слова...
Нас заматают времени метели.

Май

Май уморил невиданной жарой –
За 30 градусов, а может быть, и выше!
Коты страдали на горячей крыше,
Плыл над землёю раскалённый зной.

Тень скудная прохлады не сулила.
Наотмашь било солнце в глаз и бровь.
Ярилось разъярённое светило.
Казалось, в жилах закипала кровь.

В такой-то день, в невесть каком году
На поводу у солнечных коллизий
Оркестр военный в городском саду
Пытался возродить народы к жизни!

И выдувал оркестр из меди зной,
К губам горячим трубы припаялись,
И звуки раскалённые сливались
И звали, увлекая за собой.

И, плавясь, надрывался саксофон.
В сердца врывался вечный Марш славянки...
Хотелось встать и маршем спозаранку
Шагать в строю с оркестром в унисон!

Май плавился. В саду трубила медь.
Собраться б с силами: ожить, шагнуть, запеть...
Летели звуки к солнцу или выше –
Коты удрали с раскалённой крыши.

Живём не так...

Живём не так, живём не с теми,
Живём с собою не в ладу,
Людской молвы на поводу
И в одиночестве со всеми.
Не с теми и не так живём,
Живём давно минувшим днём,
А настоящий день не греет –
Тебя мне не хватает в нём.
Так не хватает теплоты
И глаз твоих, таких усталых,
Усталых рук, души усталой...
Устали оба, я и ты.
Как не хватает теплоты!

Осенний парк

Осенний парк в одежде из багрянца,
В объятьях золотого дня,
Манил в осенний день меня.
Вода в реке, стального глянца,
Лениво шевелила ивы,
Несла листву неторопливо.
Плотва мелькала в глубине,
На дне листвы истлевшей тени,
Как листопада продолженье
В упавшей наземь тишине.
Не забывайте обо мне...



Елена ЛУКАНКИНА

О звёздах и о пустоте

Стихи

* * *

Где есть вода и акварели,
и где рука,
где Лель играет на свирели
из тростника.
Там льются сладкие туманы,
и все пьяны.
Нет в этой радости обмана,
и нет вины.
Никто от счастья не разбудит,
пути назад
и смерти никогда не будет,
а будет сад.
Повсюду ленты из атласа,
сирень в цвету,
и будет мальчик темноглазый
в моём саду.

* * *

Сад изнывал от жарких дел:
от кипячёных простынь мокрых,
и как в пустом ведре гудел
горячий ветер. Как с тревогой
тяжёлая летит пчела,
спускается к цветочным чашам.
Как шумны, Господи, дела
детей твоих. Как полдень тяжек,
и сыр в теплице человек,
как силится из пня с бровями
грибными молодой побег,
как убегает с муравьями
земля, и в воздухе блесна –
след от стрекозьего полёта...
И как терпения полна
нетерпеливая природа.

Стоят стеной

Стоят стеной – плечом к плечу,
в них оборвавшаяся юность
колышет на столе свечу.
Они из боя не вернулись.
Всё это время держат строй,
как крепость, в маленькой квартире,
с тем, кто навеки будет свой –
седым армейским командиром.
Они теперь ему сыны.
Он ждёт годами этой встречи –
с той неоконченной войны.
Когда приходит тихий вечер,
когда в груди – один огонь,

и ветер седину вздымает,
они кладут ему ладонь
на плечи – память унимают.
Обходят холодом его,
неспешно, всякий раз по кругу.
Он помнит всех до одного
и тянет им навстречу руку.
Горит на кителе медаль –
медаль «За взятие Берлина»,
а он всё ждёт – когда, когда
вернётся в строй, расправив спину.

* * *

От дома уходя всё дальше,
глотаю воздух – крепче, слаще,
чтоб свежесть горло обожгла,
дышать и не жалеть тепла,
и представлять огонь блестящий
в камине, где легка зола.

Зиме ли помышлять о лете,
когда в проталинах, в просвете,
ещё не бужены цветы.
Все вещи сущие просты
и тихо говорят об этом,
не тронув хрупкой красоты.

Запомнить, как снега пустели,
как небо искололи ели,
и звёзды выпали в бору,
холодный воздух на пару,
посеребрённые качели,
нетронутые на юру.

И, возвратившись, у камина
вздымать сгоревшие седины –
огонь уснувший пробуждать,
и леса, как свиданья, ждать.
Для встречи с ним искать причины
и прежним никогда не стать.

Искрила ночь

Искрила ночь, и звёзды стыли
на раскалённых проводах.
В депо троллейбусы пустые
держали путь на поводах.
Деревья сыпали огнями.
Всю ночь вокзальные часы
встречали поезда с гостями.
Бездомные бродили псы.
В слепые окна били фары
и попадали на глаза.
Вставали медленно пожары,
растопливая небеса.
Огонь под кроной абажура
созрел, как яблоко в саду, –
и вот в окне моя фигура
стоит и держит пустоту.
Чем дальше сон – сильней разлука,
где посреди глухой зимы
я воду пью и жду подругу –
взойти на дикие холмы.
Нам встретились такие дали.
Ты щурилась, как наяву,
и в солнце зимнее впадала.
Я свежую жевал траву.

И слышно было за горами,
там – за озёрами зеркал,
как горько старыми рогами
троллейбус звёзды высекал.

Венецианское

Если смотреть на небо от края лодки –
там, в синеве, там, по самой её сердёжке,
птицы плывут, поднимая крылами зыби,
а на воде морщат гладь вековые рыбы.
Кто ты – сидящий в лодке и человеке?
Где ты – в каком пребываешь далёком веке?
Воду, как землю, копают большие вёсла
и поднимают со дна утонувшие утром звёзды.
Время разбито – выложено из камня,
держат мосты город каменными руками,
корни – в воде. Это разные отпечатки –
город из лодки, и город с лица брусчатки.

* * *

Я вернула Вам всё, что помнила
и не помнила – всё, сполна,
ничего не пустила по миру –
к Вам вернулась, какой была,
и какую меня не знаете.
Руки бросьте – на жизнь, на смерть –
сами Вы умирать не станете.
Брошусь я. Мне легко суметь.
На плечо Ваше – тёмную голову,
на плечо, где отвесный край.
Руки Ваши – как будто колокол –
позови или умирай.

Не покроется волос золотом,
в грудь мою не вернётся стук.
Не забыть, как Вы были молоды
и девчонку кормили с рук.
Холодны Ваших глаз излучины
и стальная меж ними гладь.
Две луны в них меня измучили –
не забыться во сне, не встать.
А когда умиравшим юношей
в ночь пришла я – просить огня,
Вы растаяли – это лучшее,
что Вы сделали для меня.
До земли, домовины каменной,
до луча, что сойдёт во тьму,
я от губ своих, как от пламени,
руки Ваши не отниму.

* * *

В том старом саду никогда не была,
но видела я у ворот
траву, что густым камышом обвила
большое пустое ведро.

Как холод сковал эту мглистую стынь,
как я надышала туман,
и словно трещал с каждым хрустом камин,
которого не было там.

Как в небе над садом желтела луна
в сплетённом из веток гнезде,
как мягое облако с веретена
тянулось навстречу звезде.

Как арфа играла сама по себе,
и кто-то ходил вслед за мной.
Я слышу ту песню – я пела тебе
про сад ледяной, ледяной.

О звёздах и о пустоте

На чёрном небе – колея
от звёзд, пропавших в этот голод.
Я был в лесах и трогал город,
за рек заглядывал края,

и видел в зеркальце простом,
как на морозе серебрится
звезды заломанная спица.
И этот белый пух о том,

что есть в кармане – ничего –
и это всё, что по карману.
– Смотри, как много снега, мама,
на человека одного! –

я повторяю много лет,
но этот снег – ничей в округе.
Ладонями смыкаю руки,
держу его, держу и нет...

А дым идёт от белых крыш.
Я лес несу тебе еловый,
и ты дрожишь на первом слове,
о времени не говоришь,

и всюду тишь и высота,
как будто дом из этих веток.
Я падаю, как тень от света.
Ловлю тебя, моя звезда.

От нас не остаётся тел.
И то, что происходит с нами, –
единственное, что я знаю
о звёздах и о пустоте...



Александр МАКАРОВ

Старое пальто

Стихи

Красный мячик

Из послевоенной разрухи,
Из низкой избушки я вышел.
Избушка – два синих окошка,
Прижался подсолнух к плетню.
Какой я счастливый, что вышел,
Какой я счастливый, что выжил!
Какой красный мячик красивый!
Сейчас я его догоню.

Бегу я – и смотрит деревня
Глазами спокойными окон,
Храня треугольники писем,
Молчат треугольники губ...
По травам, налившимся соком,
Под песней, парящей высоко,
Из послевоенной разрухи
За мячиком красным бегу!

* * *

Невысок мой отец, да и друг его
 тоже,
Сединой и судьбой
 друг на друга похожи.
Сыновья – мы повыше,
 светлее лицом.
Но каким бы высоким и светлым
 я ни был,
Не светлей и не выше я этого
 неба,
Голубиного неба, что стало
 отцом.

В чём-то схожие, послевоенные
 дети,
Мы с отцами.
 Хлебнули и мы в лихолетье.
Конопушки, что точки на
 птичьем яйце.
Я иду детской памятью.
И, приближаясь
 к страшным дням,
Ощущаю и боль я, и жалость.
И молчу я в начале.
И плачу в конце...
Невысок мой отец,
 я плечами покруче.
Ещё миг –
и руками достану до тучи.
Не мешают расти ни тоска,
 ни беда.
Но отцы, что живыми
 и мёртвыми вышли

Из огня, – выше памяти нашей
 и выше
Высоты, где летит
 за звездою звезда.

Желановка

У деревни Желановки
Песней струится река.
В синий омут без дна
Кину снасть на рыбацкое счастье.
За деревней Желановкой – поле,
А дальше – века.
Не увидеть лица,
В дверь забитую не достучаться.

Не пройти всех дорог,
Все поля не пройти поперёк.
Знать хочу, чтоб не мучить себя
Запоздалою болью,
Кто Желановкой
Эту глухую деревню нарёк?
А другую деревню
С любовью назвали Любовью...

Я к избе подхожу,
Где старуха сидит под окном.
Вижу радость и скорбь
На суровом лице материнском...
В человеке чужом,
За плечами с рыбацким мешком,
Оживёт её сын,
В 43-м убитый под Минском.

* * *

Выстрел услышал я и оглянулся.
Эхо катилось, как мяч, по полям.
Тополь увидел я и отшатнулся:
Тополь, разрубленный пополам,
Выстоял. И под ударом мороза
Не поклонился царю Январю.
Вырос в глазах моих.
Молча с откоса
Я с уваженьем на тополь смотрю.
Будто бы вижу в предутренней рани:
Тихо стоит возле стройной сосны
Старый солдат
с незажившею раной,
Только что, только пришедший
с войны.

* * *

От расставанья (не от водки)
Моя хмелеет голова.
И уплывают, словно лодки,
В туман хорошие слова.

Они про многое напомнят
И душу всколыхнут до дна,
И, как пустой сосуд, наполнит
Тревогой завтрашнего дня.

Тоской по травам, по деревьям,
Тоской по маленькой реке,
Что на виду у всей деревни,
Как будто жилка на руке.

И я, протягивая руки,
Хочу их сильными сбересть,
Чтоб в тёмном омуте разлуки
Поймать обломки наших встреч.

Солнечный путь

Солнечный путь над рекой голубой,
Бег колесницы и скрип колеса.
Ветер идёт и несёт за собой
Пение птиц и людей голоса.

Ветер разбил на две части поля:
Шум на одной стороне и испуг;
А на другой стороне – звон шмеля,
Радость и друг мой – несокошенный луг.

Ветер развёл на две части мою
Жизнь неширокой морщинкой на лбу:
Вот – на одной стороне я пою,
Вот – на другой я молчу, как в гробу.

То по лугам зеленеющим – вдоль,
То по полям зоревым – поперёк
Медленно катятся радость и боль.
Солнечный путь бесконечно широк.

Старое пальто

В том доме не живёт никто.
Осталось старое пальто.
В косяк дубовый гвоздь забит,
А на гвозде пальто висит,

Пройдётся ветер за окном,
Пальто помашет рукавом,
Мол, заходи, садись за стол,
Да говори, зачем пришёл.
Когда-то здесь жила семья.
Остыла печь. Пуста скамья.
Дед с бабушкой на погост ушли,
А дети – на краю земли.
Днём без тоски. А по ночам
Пальто вздыхало по плечам,
По старику. В пальто старик
Ходил, поднявши воротник.
Пальто повесит он на гвоздь
И ждёт гостей. И каждый гость
Смотрел на старое пальто
И вопрошал: Есть в доме кто?
– Есть в доме кто! – ответит дед,
И бабушка скажет то же в ответ.
Теперь дед с бабушкой глубоко...
А дети? Дети далеко.
Пальто вздыхало: в доме сор.
В окно посмотрит из-за штор,
Достанет веник из угла
И – ну мести! Покуда мгла
Ночная не накроет дом
Своим невидимым крылом.
Пальто пройдётся взад-вперёд
И вспомнит: всюду был народ.
Работал, радость в мир неся...
Провинция!.. Неужто вся
Ты – это старое пальто?
Да за какой же грех? За что?
Куда не глянешь – всюду боль.
Пальто облюбовала моль.

Пальто однажды через щель
Уйдёт за тридевять земель.
И никогда, нигде, никто
Не вспомнит старое пальто.

* * *

В тишине вдруг услышал: «Сыночек...»
Оглянулся я – пусто кругом.
Может быть, коростель между кочек
Звал дитя непослушное в дом?

Но осеннее поле молчало,
Радость грусти пытаюсь сберечь.
И толпились в душе у причала
Позабывшие праздники встреч.

Вспоминал я, светлея от грусти, –
Жизнь мне долгую память дала,
Как нашла меня мама в капусте
И сыночком родным назвала.

Вот и вздрогнуло сердце: «Сыночек!»
Показалось, позвали меня.
С тонкой ветки скатился листочек,
Как слеза уходящего дня.

По ходу времени

Обычный ход вещей: плохое настроенье.
Ложится слой на слой. На год ложится год.
По ходу времени приходит вдохновенье.
Обычный ход судьбы. Вещей обычный ход.
Вчера я напрямик ломился, словно трактор,
В крутые небеса взбирался по лучу.

По ходу времени менялся мой характер:
Там, где вчера кричал, сегодня я молчу.

Меняет русло речь. Мутнеют её воды.
Уходит искренность, берёт засилье ложь.
По ходу времени меняется погода:
Там, где вчера шёл снег, идёт сегодня дождь.
По ходу времени затихнут разговоры
И отцветёт душа, как яблоневый сад.
Иду туда, где нет дороги, по которой
По ходу времени смогу прийти назад...

* * *

Остановился вдруг и замер карандаш,
Дотопле так легко бежавший по странице.
Я строчку прочитал и понял: это фальш,
И никуда она, конечно, не годится.

Был красками залит обыденный пейзаж.
А солнце плавилось и обжигало лица.
Здесь вместо «мой», должно быть слово «ваш...»
А вместо пустоты вот здесь должна быть птица.

Короче говоря, бездарная строка.
И ей не прозвучать в больших и малых залах.
Ведь если есть цветок, быть должен у цветка
Не только внешний вид – неповторимый запах.

* * *

Её косили на заре,
Но проходили сроки,
Она опять росла, в земле
Отыскивая соки.

Её косили вновь. Она
Вновь силу находила,
Ввысь поднимаясь, влюблена
Во всё, что рядом было.

Растёт, волнуется, жива –
Всему на удивленье –
Обыкновенная трава,
А не трава забвенья.

На раннем рассвете...

На раннем рассвете средь русских равнин
Ещё не проснулся петух ни один,
И спят воробьи, журавли и сороки.
А месяц, весь бледный, идёт на разбой,
И звёзды срывает он вместе с резьбой.
К поэту приходят хорошие строки
На раннем рассвете о том, что огни
Горят в городах и не кончены дни.
И Господом к жизни добавлены сроки.
На раннем рассвете не дремлют дожди.
Лисицы и волки в полях промышляют.
Не спят императоры, ходят вожди
По залам, быть может, войну замышляют.
На раннем рассвете не знаешь о зле.
Ещё не проснулись ни грусть, ни усталость,
И кажется, нет ничего на земле,
Что может ещё опечалить хоть малость.
На раннем рассвете...



Валерий МАРКОВ

Мчатся кони, мчатся кони...

Стихи

* * *

О, как мила картинка:
Село, поля, шмели...
Для городских – глубинка,
По мне же – центр Земли,
Экватор мой и полюс...
Отсюда в мир шагнул,
Здесь, в жёлтом хлебном поле,
Я Слову присягнул,
Воспел мой край медовый,
Где – первая любовь,
Исток где мой, основы,
Куда спешу я вновь
Из далей и столицы.
Гонимый кем? Судьбой.
Спешу, чтоб возродиться,
Воды живой напиться

И стать самим собой,
Одеться, во что хочется,
Собрать букет в саду,
Сорока напророчит
Мне встречу, что я жду...
Здесь я – родной, не лишний,
Всё – в яви, не в бреду,
Но я уж тем мальчишкой
На встречу не приду...
А неба высь, как прежде,
И для скотины хлев,
Хмельной простор безбрежный
И самый вкусный хлеб.
Вольготно тут, не шумно,
И быт – красив и прост,
И все мечты и думы,
Как новогодний тост.
...С грустинкой – летний вечер,
Небесный свод, как кров.
Рассвет... С зарёю встреча...
И расставанье вновь.

* * *

Рождённые – в сороковых,
Стоим мы крепко на ногах.
Бывало, била жизнь «под дых»,
Но мы не ныли «ох» да «ах».

Рождённые – в сороковых,
Взрослели мы, как год – за два.
Не предавали мы своих.
Нас предавали. Это – да.

Рождённые – в сороковых,
Как прежде, держим мы удар.
Корим порою молодых,
Но от желанья им добра.

Рождённые – в сороковых,
Гордимся подвигом отцов,
И на ошибках роковых
Разоблачаем подлецов.

Рождённые – в сороковых,
Прошли мы сотнями дорог.
Да, есть грехи, не из святых,
Но искупителен итог.

Солдатом быть был каждый рад,
Усвоив твердо с юных лет:
Больнее нет, чем боль утрат,
Светлее нет, чем Свет Побед.

Зенитчицам

*В Тамбове открыта мемориальная доска
воинам 733-го зенитно-артиллерийского полка*

Жизни висели на тоненьких нитках,
Вой самолётов окрест содрогал...
Били прицельно наши зенитки,
Тыл оградив от налётов врага.

Девушки-дивы – в каждом расчёте,
Им бы – на танцы, в районный ДеКа...
В книгах о них вы сегодня прочтёте,
Эта расскажет о них вам Доска.

Может ли чувства все выразить мрамор:
Горечь утрат и боль-радость побед!?!..
Им бы влюбляться и стать чудо-мамами.
Стали бойцами... Вот – правда тех лет...

Взрывы... Воронки... Стоны... Убитые...
Враг не жалел ни патронов, ни бомб.
Слёзы не зря все, что были пролиты,
Сбили с фашистов их спесь и апломб.

И защитили: Котовск, Кочетовку,
Жарко ковавший Победу Тамбов...
Мужество – в каждой, смелость, сноровка,
Чтоб их восславить – мне хватит ли слов!?!..

Нет, не тускнеют памяти дали,
Ваши мечты и свершенья живут.
Звёзды – над нами, как ваши медали,
Песни, что пели, потомки поют.

Слышу сегодня я в залпах салютных
Эхо победное тех батарей...
Вижу сегодня на улицах людных
Счастье на лицах детей, матерей.

...Жизни висели на тоненьких нитках,
Вой самолётов окрест содрогал.
Били прицельно наши зенитки,
Тыл оградив от налётов врага.

* * *

Не наделён родством дворянским:
В моём роду все – мужики,
Но мы с дворянами близки:
На молоке грудном крестьянском
Крепчали чада-барчуки.

Кормилицей было прабабка,
А барыня свой бюст блюла:
Змеёй заморское боа
Струилось по фигуре гладкой...

А бабка в зной снопы вязала
И в зимушку холсты ткала,
Богатырей-детей рожала,
На помощь Господа звала.

Слыла ухватистой, двужильной,
Как и её трудяга-муж:
Усердно господам служили,
И каждый был в той службе дюж.

Живёт молочное то братство
В мужицкой памяти моей.
...Гордишься ты своим дворянством,
А я – прабабкою своей.

* * *

Мчатся кони, мчатся кони,
Вороной, каурый, чалый,
Их и ветер не догонит,
Не догонят боль-печали.

Вот где – скорости истоки,
Русской удали запалы...
Космос – дальний, синеокий –
В глубину небес позвал нас.

Старт ракеты многотонной,
Притяжение – не помеха,
Космонавт из шлемофона,
Как ямщик лихой: «Поехали!»

Гей, ракета, три ступени,
Чудо-подвигу начало...
Мчатся кони, клочья пены,
Вороной, каурый, чалый.

Поющие рельсы

На лоск вагонный не надейся,
Скуп «обилеченный» уют...
Но запоют стальные рельсы,
И пассажиры все замрут.

Кто мог подумать на перроне,
Что есть у рельсов этот дар,
Что звуки эти душу тронут
И чувств разбудят спящий жар.

В том хоре слышен тембр органной,
Аккордеона, скрипки лад
И ад бомбёжек ураганных,
И стоны раненых солдат...

Всё помнят рельсы. Не забыли,
Как мать ребёнку жизнь дала...
И как в округе волки выли,
Да тройка резвая была.

В той песне – голос Левитана,
Что о Победе весть принёс,
И гул мартеновского стана,
Труд хлебороба неустанный,
И море – грёз, и море – слёз...

В вагоне тесном, песня, лейся,
Не исправляйте тот дефект:
Когда поют стальные рельсы,
Душа поёт – такой эффект.

К Матронушке

Не к тем, что властвуют на троне,
Не к тем, что в роскоши живут,
К заступнице – святой Матроне,
К ней за спасением идут.

Идут к Матроне всенародно,
С молитвой, тихою слезой,
Идут, с надеждой благородной,
Своей и общею стезёй.

Идти готовы днём и ночью,
Людской тот полнится поток –
И в возрасте кто, и не очень,
Не чувствуя боли и ног.

Тоска ли, отчаянье гложут,
Один на один вы с бедой...
Матронушка в горе поможет,
Расскажет об этом любой.

Любой, кто душевно поверил
В великую силу мощей.
И жизнь зародится во чреве,
Кто в немощи – станет мощней.

Отступят недуги и стоны,
И счастье поселится в дом.
Спасибо за чудо, Матрона,
Спасибо за то, что живём.

Спасибо, что Господа молишь,
Чтоб нас от греха уберёг,
И дух укрепляешь, и волю,
Чтоб в трезвости каждый быть мог.

К тебе – не за властью с богатством,
Они – суета из сует,
А чтобы людьми нам остаться
И добрый оставить свой след.

К Победе вела нас в той битве...
В страданиях стала святой.
Матрона – пример всем в молитве,
Матронушка наша велит нам
Достоинно пройти путь земной.



Юрий МЕЩЕРЯКОВ

Яловые сапоги, начищенные до блеска

Рассказ

*Солдатам
Великой Отечественной войны
посвящается*

Когда нацисты помпезно победителями вошли в рейхстаг, по лицу рейхсканцлера ползла дьявольская улыбка, свершилось то, чего он так долго добивался. Ещё вчера никто не смел и думать, что он возглавит правительство. Не могли, не должны были нацисты прийти к власти, после стольких выборов в республиканский парламент они так и не добились большинства, коммунисты и социал-демократы всегда их опережали; старая развалина Гинденбург, и тот, будучи президентом и меняя министров, как перчатки, до последнего был против такого исхода: «маляра нельзя сажать в кресло Бисмарка», у него нет образования, хотя бы среднего, он был венским бродяжкой... В конце концов, он даже не немец. Унижения можно было и стерпеть, но фюрер национал-социалистов

точно знал, что день его триумфа наступит... И вот легитимность подтверждена. Девять месяцев террора и девяносто два процента голосов в рейхстаге. Его, Адольфа Гитлера, уже никто и ничто не остановит, осталось только дождаться смерти президента и стать фюрером всего германского народа. Пора отряхнуть от пыли старый лозунг: *Drang nach osten*.

Часть первая

Василий Марков, по отцу Петрович, крепкий, коренастый парень с цепким взглядом и стриженной макушкой, уже прожил на белом свете свои первые двадцать лет. В том для кого-то историческом, для кого-то просто голодном 1933 году ему было ровным счетом всё равно, что в далёкой неметчине объявился истеричный демон с усиками под острым носом, с чёрной вздрагивающей чёлкой и целью всей жизни, найденной им за Одером, на востоке... По правде говоря, на кой чёрт он бы ему сдался, на то большие начальники есть, пусть и разбираются, но в том году Василия призвали в Красную армию. С этого всё и началось.

Солдату-первогодку после неторопливой русской глубинки забот хватало выше головы, и главная из них – освоить Т-26, лёгкий танк, два года как поступивший на вооружение, а это всё же не колхозный старичок «Фордзон» с плугом в два лемеха. Как хорошо писала тогда окружная газета, двадцать шестой – сила, способная биться с лучшими вражескими машинами, в бою защитить советскую страну. Газета не врёт, не положено, но что танк без экипажа, без механика? Вот и предстояло молодому бойцу закатать рукава и разобраться в устройстве железного красавца, к тому же с иноземной родословной. Ещё дома, в Ивановке, полюбил Василий моторы, кожей впитывая дрожь металла, а вместе с ней и гений чужой мысли, полюбил их неровный гул, их пряный бензиновый выхлоп! Широкие крестьянские ладони крепко держали и гаечные ключи, и рычаги управления, не боялись ни грязи, ни масла, матчасть была близка, как колесо телеги, но и танк умел благодарить своего наездника, почти взлетая над землёй, когда

тот поддавал двигателю оборотов. Как ни крути, рубеж атаки был у них общий, один на двоих.

– Ну что, братцы, повоюем? – щерился командир, выглядывая из башенного люка, после того, как они случайно разбили в щепки фанерную мишень. Сержант Тимохин был доволен, теперь даже с командной вышки было видно, как мастерски отработал его экипаж.

– Партия прикажет, и повоюем, – скромно отвечал Василий, – а если, Тимоха, ты опять попадешь в нижнюю крестовину...

– То вместо благодарности от начальника полигона мы получим наряд на работы, – командир танка зычно, до икоты смеялся своей новой шутке, – вне очереди. А отработает его самый молодой член экипажа, правильно, тамбовский волчонок Вася Марков.

– Так не я же стрелял, – Марков насупил, не любил он, когда над ним потешались. Он-то молодым себя не считал, как-никак, с десяти лет и сено косил, и снопы вязал, и овец стриг, и телеги чинил.

– Не дрейфь, салага, мы – танкисты, мы – победители. Усвоил? А победителей не судят, – Тимохин насмешливо прищурил правый глаз, – ну если, конечно, у них свежие подворотники – и что? – правильно, сапоги начищены до блеска.

Был в этом кураж, мы – танкисты, мы – главные! Однако со временем не только закалённое железо, но и политпросвещение добрались до красноармейца Маркова, став самым важным среди всех танковых наук. И однажды в воскресенье в кинохронике, которую крутили на простыне в гарнизонной избе-читальне, он впервые увидел овеванную мифами, чопорную Германию и тут же толпы восторженных фанатиков, батальоны штурмовиков со свастикой на рукавах, был там и германский фюрер, тот самый, с усиками; вдруг стало неуютно, напряглось лицо, переносицу прорезала глубокая морщина. Так, где этот фюрер, а где красноармеец Марков? Казалось бы, далёк экранный мир, чужда и нелепа картинка, бегущая по складкам простыни, но ведь кольнуло что-то. Все линии, если они не параллельны, когда-нибудь пересекутся, стоит только свести их в одну плоскость. Жаль, что в окружной газете ничего об этом не написали.

– Товарищ батальонный комиссар, нам недавно факельные шествия показывали, фашисты в Берлине маршировали.

– И что, боец Марков, трухнул маленько?

– Да не-е, что вы, товарищ батальонный комиссар. Тут вопрос есть, – Марков сгрудил чёрные брови. – Война-то с Германией будет?

– С фашистами, значит... Вот ты о чём...

– По всему видно, немец мимо не пройдёт. Отец мой воевал с ними, костерит их почём зря, тевтонами называет. Так мы с товарищами того... мы готовы.

– Так-таки и готовы? Знай своё место в строю, – уже без улыбки, назидательно произнёс комиссар Лившиц.

Он многое мог бы рассказать бдительному солдату о том, в какую пропасть скатывалась Европа, но бывают времена, когда и молчание – золото. Скажи неосторожно, что война будет, и окажется, что наш главный враг – вот эта эпатажная Германия, а не Англия, махровый мировой интриган, заодно станешь пособником иностранной разведки и провокатором, пробравшимся в ряды большевиков. Кто же на самом деле наш главный враг, знают только в Кремле, точнее, в Политбюро ЦК партии...

– Знай своё место, боец, и слушай командиров. Всё, что необходимо знать, тебе доведут. И заруби себе на носу, товарищам передай, кто бы на нас ни напал, от возмездия он не уйдёт, на том и стоим. Ты же механик-водитель? Вот и поддерживай свой танк в полной боевой готовности, твоё время ещё придёт.

Место в строю – иногда и есть самое важное, чего человек добивается в жизни, стать нужным, стать своим среди своих. Вряд ли именно эта простая мысль настигла Маркова, но когда закончилась его служба по призыву, он съездил в отпуск в Ивановку, на свою малую родину, оглядел щемящие душу просторы, но возвращаться сюда не захотел, своё место им было уже найдено. Человек, познавший город, средоточие больших надежд, вряд ли вернётся в деревню: совершенно другая там плотность жизни, другие запросы у людей. Да и деревня в родной Тамбовской губернии оказалась не так проста, всегда

крепкая, основательная, теперь она стала осиротевшей, чужой, растерявшей в своих бескрайних полях и пшеничные колоски, и синие горизонты... Надорвал её антоновский мятеж, добила коллективизация...

Наевшись своей рассыпчатой картошки, напившись парного молока, что мать поутру носила от соседей, Василий с грустью провозжал взглядом всё близкое-далёкое, от чего вздрагивало, чем дорожило его сердце. Старый каменный дом-пятистенки, пятый с краю по улице, яблоневый сад с облетевшей листвой, хлев и амбар, рубленные отцом и старшим братом, берег речушки Антюшевки, любимый детьми, широкий выгон для скотины, где уже стелилась под росой осенняя трава... Когда-то мальцом он пас здесь овец. Василий был младшим в семье, и мать его, Елена Карповна, пока он нёс армейскую службу, успела состариться, сгорбилась, теперь это стало заметным, но по-прежнему оставалась кладезем семейной мудрости. Он обнял её, это был прощальный порыв.

– Маманя, мне пора. Вы тут как-нибудь без меня... Не сердчайте.

Любовь смешивалась с горечью, с жалостью, с чувством неисполненного сыновнего долга, но он всё-таки уходил. В город ли, в армию – не важно, он уходил из деревни.

Гражданская война в Испании взбудоражила Европу. Над миром поднималась новая заря, её багровые отблески отражались в окнах всех столиц, но только в Берлине, в столице Третьего рейха, ей аплодировали стоя, чужая война была прекрасным шансом для подготовки рейхсвера к своей войне. Всего через три года эта заря полыхнёт мировым пожаром, а пока...

Красноармеец Марков не был самым отважным солдатом, и его бы смутило, если б кто из друзей-танкистов так о нём сказал. Он бы, конечно, загордился, но пунцовая краска на щеках довершила бы его портрет, он был обычным деревенским парнем, знающим, что такое семья, община или коммуна, как теперь говорили. Знал наверняка, когда приходилось драться стенка на стенку или деревня на деревню, своих не бросишь – нет такого закону...

– Ну что, ребята, а написать рапорт в Испанию слабо?
– Тимоха хатит на пушку брать, герой нашёлся, не ты один такой.
– Располным полна моя коробочка., то есть полна Красная армия героями.

– Лившиц сказал, что рапорта принимать не будет.

– Не имеет права. Принять должен. Должен резолюцию на рапорт положить. Мы здесь что, так что ли прохлаждаемся? Всё давно понятно, в Испании народ бунт поднял за новую жизнь, – но вдруг Тимохин сменил интонацию. – А ты почём знаешь, что Лившиц сказал?

– Я был у него...

– Ага, поперёд батьки...

– Товарищ сержант, дело-то, можно сказать, личное.

– То Тимоха, то сержант. Ты уж определись, Василий. – Он привычно скривил физиономию. – А почему молчит наш башенёр?

– Что я? Я как все, – тут же отозвался Лёха, тот, что башенёр.

Лёша был как-то неловок, но «один за всех...» – это про него, он тоже был деревенским, а уж Тимохин со своим твёрдым командирским мнением никому не дал бы оступиться.

– Вот и правильно. Правильно, что как все. Экипаж – это пальцы в кулаке. Если скажут: «Добровольцы! Шаг вперёд!», мы что, камешки под сапогами считать будем?

– Я же говорю, как все.

– Если нам повезёт и нас направят в Испанию бить хунту, мать их, фалангистов, то только экипажем. По-другому никак.

Добровольцы нужны всегда, это сухие поленья в костре войны... Комиссар Лившиц, порадовавшись за идеологический базис красноармейцев, тем не менее рассудительно отвечал, что в республиканскую Испанию направляются только командный состав и специалисты-советники по особому списку. Пламенный порыв в данный исторический момент остался не востребован, а если смотреть на жизнь по-простому, опять же по-крестьянски, бог миловал экипаж Василия, развёл с фашистами, поберёт до других дней, когда надо будет подняться в бой за Родину с горячим сердцем и без особой надежды остаться в живых. Но с этого года имя германского фюрера

стало часто звучать в информационных сводках, на политзанятиях, в кинохронике, с газетных страниц. Миллионы русских линий жизни всколыхнулись тонкими пульсирующими прожилками и начали неотвратимое, неслышимое движение навстречу своим гильотинам.

Сколько ни поднимали полных гранёных стаканов за армию, за Сталина, за мирное небо, а войны миновать не удалось. Она вломилась и в наши дома незваным гостем, без спроса... Маркову не к месту вспомнились слова батальонного комиссара Лившица, мол, главная задача Красной армии – быть в готовности к войне с любым агрессором, а бить врага мы будем на вражеской территории. Хорошие слова говорил комиссар, складные, Александра Невского поминал... Вслед ему в Ивановке, стуча суковатой палкой по скрипучим половицам да кулаком по дубовой столешнице, вторил и старший Марков, Пётр Кузьмич:

– Не добили супостата в Первую мировую! Эх, такую викторию упустили. Вот он и возвратился, сучий потрох, немчура поганая. Брусилова на них нет, он-то знал, как бить тевтонов по сопатке.

Рабочий посёлок Красный Боевик порохового завода, на котором после демобилизации Василий устроился водителем полторки, затерялся среди сосновых и берёзовых лесов тамбовского края. Завод выпускал порох для артиллерийских снарядов, для патронов, самую, что ни есть, военную продукцию, так что всех своих рабочих он защитил бронью, на фронт их не брали, но ровно до тех пор, как немецкие войска не подошли к Москве. Пороховой завод срочно готовился к эвакуации на Урал.

– Берите и меня, – заявил Марков военному комиссару, когда стало известно, что часть заводчан призовут.

Страна в едином порыве поднялась на борьбу с лютым врагом, и столько в этом порыве было запала, воли, злости, что внезапно, вдруг, сам собой возникал вопрос, почему же мы так быстро, так бестолково сдали десятки наших городов? Сдали на гибель русских людей. Иногда становилось страшно. Приходило понимание, что все, кто с отвагой и доблестью встал на пути германской военной машины – самые

лучшие, – уже погибли, их уже нет. Это приходило без газет, без сводок совинформбюро, и тем страшнее было оставаться непричастным, защищённым «фиговым» листком с обывательским наименованием «бронь». Когда враг придёт в твой дом, им не защитишься...

– Я водителем на полторке работаю, не велика шишка, найдут, кем заменить, там три педали и рычаг коробки передач – девчонка справится. А я – танкист, понимаете?

– Знаю, что танкист, – военком сочувственно поморщился. – Много вашего брата полегло в июне у самой границы, под Дубно, под Бродами, говорят, отважно сражались. Вот и вышел большой некомплект. Держись, боец!

Шестьдесят третья танковая бригада бывалого танкиста встретила сухо, без особых сантиментов: комплектование, снаряжение, обкатка и... резерв. Старый знакомый Т-26 тоже был не слишком приветлив, это был другой танк, он немного отяжелел от усиленной брони, стал не таким манёвренным, как раньше, а после ремонта с залатанными пробоинами и шрамами выглядел закалённым воином, ну и, конечно, новая пушка в сорок пять миллиметров делала его опасным. Марков похлопал танк по матово-зелёной броне.

– Ну что, брат, повоюем? – Вспомнил Тимоху с нахальной улыбкой во всю физиономию. – С такой пушкой, как у тебя, да в нижнюю крестовину... Не подведи, а уж сектор стрельбы я тебе обеспечу.

Бывалый танкист Марков был всё ещё молод, но его пятилетний опыт службы в танковых войсках значил до крайности много. Этот опыт был не менее, чем крупная козырная карта в игре со смертью. Что ж, карты сданы, игра началась.

Силён оказался фриц. Через полтора года войны он подошёл к воротам Кавказа, ему нужен был Грозный, грозненская нефть, чтобы заправить баки своих машин и всей ненасытной армадой двинуться дальше, на восток. 7 ноября 1942 года ударная группировка первой германской танковой армии Клейста атаковала наш рубеж обороны под Орджоникидзе.

Вот и настал тот день, когда непараллельные прямые пересеклись. Это были танковые прямые, прочерченные через перекрестья ору-

дейных, пулемётных прицелов, через смотровые щели механиков-водителей. Шестьдесят третьей бригаде и экипажу танка, в котором служил механик-водитель рядовой Василий Марков, выпало стоять насмерть против дивизии СС «Викинг». Ему было не до вражеских регалий, Маркова этим хмурым осенним утром беспокоило, как увернуться от снарядов двух германских танков Т-4, наседавших на него со стороны каменистой гряды, поросшей диким орешником. Он сноровисто работал рычагами, поддавал обороты, менял направление движения, резко тормозил, сбрасывая с себя перекрестья чужих прицелов. За бронёй слева и справа слышались разрывы снарядов – мажут фрицы, раз за разом ему удавалось уходить из-под плотного огня.

– Короткая! – закричал командир.

Накатом... Погасить колебания машины... Выстрел! Марков бросил педаль сцепления, танк, оседая на задние катки, резко рванулся вперёд.

– Короткая! – тут же повторил командир.

Ладони на замерших рычагах вспотели... Выстрел! Снова вперёд, закон танковой войны – не стоять, сожгут. Левый рычаг на себя, выжал фрикцион, отпустил, обороты! В смотровую щель попался Т-4, горит вражина, по потному лицу механика расплылась ядовитая улыбка, его командир с башенёром отработали, как учили, всадили два снаряда в крестовый борт. Хотел рассмотреть номер – поздно, уже горела краска, горели цифры на угловатой грязной броне, замазывая копотью балочный крест, самую удобную точку для прицеливания броневой... Первый вовсю дымил, расстилая по земле чёрный шлейф, но где-то был и второй. Где же он, зараза?

Тяжёлый удар потряс машину, скрежет разрываемого железа заложил уши, в глазах вспыхнули яркие белые круги, со стороны башни повалил дым. «У фрица тоже новая пушка, большой калибр, – с опозданием проплыло в голове. – Сейчас рванёт боекомплект». Марков открыл люк механика. «Командир...!» Ему показалось, что он крикнул, на самом деле даже не прошептал – только успел подумать, когда второй вражеский снаряд ударил под башню, вырвал её из кре-

плений и упоров... В глазах не унимались белые круги, в затылке раскручивались вихри песка. Он выбрался в открытый люк, прополз пару метров, попытался оглянуться и только теперь понял, что у его танка, у старого железного солдата, нет башни. «...Погиб в бою...» Далеко в стороне, подняв столб земли, разорвался тяжёлый артиллерийский снаряд. «Мы шли в атаку, встречный бой...» Метрах в тридцати, выворачивая грунт, разорвался ещё один снаряд, на Маркова посыпалась земляная крошка, рядом упали несколько крупных комьев. «Значит, мы их всё-таки опрокинули... Теперь они отсекают пехоту...» Третий разрыв подбросил его вместе с землёй, как будто он и сам был частью, плотью, пластом этой сырой осетинской земли... Из земли вышли в неё и уйдём. С этой мыслью со всего размаха солдат провалился в чёрное чрево предгорий Кавказского хребта.

Часть вторая

Где я?.. Невнятный, совсем необязательный вопрос... Вокруг только тьма, как в подземелье. Говорят, под всей Москвой со времён Ивана Грозного есть подземелья, там и сейчас строят большие тоннели, наверное, в них черно, как в аду... Племянник, студент, смеётся, мол, это метро, там совсем не страшно, очень красиво, всё в мраморе, стоят памятники героям, много света, тысячи людей... Где же я? Чувствую, что движусь. Значит, всё-таки тоннель. Только никого нет, и как же я движусь, если не чувствую ног, если не могу ползти, не могу встать на колени? Странно, что ничего не болит, совсем ничего. Как может ничего не болеть, если рядом разорвался снаряд? Надо пошевелить пальцами. Не получилось. Пошевелить хоть чем-нибудь... У меня открыты глаза или закрыты? Не знаю. И вдруг ослепляющим ужасом из глубины сознания вырвался вопрос: «Я жив?» Вместо ответа я рванулся, что было сил, как делал десятки раз, когда снился дурной сон. Я всегда просыпался, всегда, но только не сейчас... Вот впереди, где-то очень далеко впереди появилась малая точка света. Такая же белая, как белые круги перед глазами.

Это круги уплотнились, слились в белую точку, в малое пятнышко, вот и весь ответ.

Белое пятно не пропадало, оно становилось больше, из белого становилось мутным, из мутного – шероховатым. Шорох как звук, как свет, как вселенная нарастал, наполнял чёрное пространство, пока не стал негромким, надоедливym стуком сапёрной лопаты.

– Никола, подсоби, танкист-то тёплый ещё, поди живой.

– Та брешешь зараз? Бий вранци був, так вже пивдня прошло.

– Полдня, полдня... Вот те крест! Смотрю, из земли сапоги яловые торчат, крепкие сапоги, блестящие, подмётки целые. Я за один сапог взялся, нога-то и дёрнулась.

– Шо, Степа, гарный чобит надыбал?

– Кончай трепать, подсоби уже.

– Та йду я, йду. Ты сам-то копай, не стий, пока танкист зовсим не задохся.

Трофейная команда, скрипучий обоз войны. Как падальщики, они шли по припорошённым робким снегом следам последнего боя. Запах пороха смешивался с гарью коптящей резины, смердили разлагающиеся останки убитых людей. Что им, трофейщикам, брошенный, вымазанный кровью и грязью пистолет ТТ, разбитые ящики танковых инструментов, гнутый ствол от немецкого МГ-42? Этого добра здесь много, не сочтёшь, так бы и прошли мимо, а тут яловые сапоги, которые я неделю назад купил у бабки-осетинки на рынке в Орджоникидзе (новые, и размер мой), она ещё перекрестила меня вслед, я заметил. Значит, не зря покупал, да и начистил перед боем не зря. Спасибо моему первому командиру, научил в бой идти, как на праздник – в чистом исподнем, в надраенных до блеска сапогах и только за победой. Ну, или как к богу – на свиданку, но в этом месте Тимоха обычно ухмылялся во всю физиономию.

Я пришёл в себя в госпитале, в ближнем тылу. Снова мутное пятно перед глазами, снова неясные голоса, а вместо стука лопат нудный скрип кроватных пружин, рвущийся сквозь постоянный серый шум. Голову нещадно ломило, мозгу было тесно среди сдавленных костей.

Первое, что я произнес, было стоном. Первое, что я разобрал на слух: «Танкист очнулся, танкист...» Это обо мне, меня долго не было, и вот я пришёл.

– Паря, ты как?

– Не слышу... Не знаю... Туго, – еле выдавил я из себя, и это было самое точное определение того, что я ощущал. – Что со мной?

– Тебя землёй засыпало! – прокричал голос с соседней койки. – Тебя с того света достали, из адовой трещины. Если б не твои сапоги, считай, хана.

Наверное, это было правдой – из адовой трещины, потому что я ничего не помнил, кроме страшного удара, подбросившего меня над землёй, и черной бездны, сквозь которую я долго двигался к свету.

Когда-то это была классная комната, детишек учили русскому языку, литературе, теперь она стала госпитальной палатой, наверное, было светло, раз и ко мне проникал свет.

– Что там? – я показал рукой, пошевелил губами.

– Окно, браток, окно.

Бледное осеннее небо заглядывало в окна, в мои глаза. Хотелось жить, двигаться, вырваться из своей оболочки, но первые же мои потуги вернули боль и напомнили, что меня совершенно случайно два трофейщика, два хамовитых ангела вытащили из ада, из подземелья. Когда в палате затих шелест разговоров, а в глазах стало совсем темно, я понял, что наступила ночь. Как много мыслей, когда нет света, нет звуков. Это другой мир, в который погружаешься с головой. Страшно, если это навсегда, если твои мысли никто не услышит. Утром пришёл показавшийся безразличным военврач, мерил температуру, заглядывал в зрачки, стучал под коленную чашечку. Он был одновременно и прокурором, что ставит суровый диагноз, и судьёй, который знает будущее, а я до сухой гортани мечтал, чтобы он был адвокатом, чтобы он во всём разобрался, нашёл смягчающие обстоятельства и ограничил курс лечения порошком аспирина.

– Доктор, – мой голос был чужим, звучащим во мне, как глухой, бракованный колокол, — я видеть буду?

– Крепись, солдат, – от таких слов всегда дует ледяным ветром, – скорого выздоровления не жди. Наш брат не всемогущ, а вот твой организм должен побороться, наше дело ему помочь, поддержать. Понимаешь?

– Понимаю.

Что ответить, когда руки-ноги на месте, когда нет смертельных ожогов, когда надежда, как большой белый парусник, плывёт, плывёт по волнам твоих воспоминаний, где небо – синее, трава – зелёная, а молоко, льющееся из маминой крынки, – белый-белый ручей. Хотелось верить во что угодно и кому угодно, лишь бы снова видеть.

– Вот и хорошо. Сестра! – Стук башмаков и шелест медицинского халата подсказали, что она рядом. – Эвакуируем в Алма-Ату, оформляйте.

– Почему далеко? – «Далеко-о», – эхом звучало внутри.

– Так ты тяжёлый, боец Марков, – военврач тепло потрепал меня по плечу, – а там всё-таки солнце, витамины. Отвоевался ты.

– Что? Я не слышу.

Сначала стучали на рельсах санитарные вагоны, потом тревожным гудком ревел каспийский пароход, потом снова стучали железные колеса. Хорошо думается под их стук, легко. Непринуждённо... Посёлок Красный Боевик перед самой войной областные власти переименовали в город Котовск, в честь того самого комбрига Котовского, который в двадцать первом году вместе с Тухачевским подавлял эсеровский мятеж Антонова. Мне было восемь лет, когда моя малая родина село Ивановка оказалось рядом с эпицентром разразившейся войны. Много тогда крестьянского народа перебито было, не похожего ни на эсеров, ни на контру, но как только я начинал об этом думать, снова с прежней, а то и с удвоенной силой начинало ломить виски. Да, надо было по-революционному разобраться с врагами народной власти, никто не спорит, но зачем же баб и детей, заложников, расстреливать, зачем сжигать дома? Если я пытался это понять, то никогда не доходил в мыслях до конца и сам себя заранее оправдывал, значит, время такое было, суровое, по-другому было нельзя. Теперь оно осталось

в прошлом... В прошлом – шелестом отзывалась новая нарастающая мысль, теперь другое время. Теперь война, фашисты разрушили Воронеж, это совсем рядом с Котовском, с Ивановкой. Они берут заложников, расстреливают баб и детей, наших, русских, они жгут наши дома. Теперь у них главный – Клейст... Когда же вернётся зрение? Должно вернуться. Доктор сказал, всё зависит от восстановления каких-то нервных центров.

Через три недели всеми правдами и неправдами наш эшелон наконец добрался до Алма-Аты. Ещё недавно это был заштатный городишко в глубоком тылу, но с прибытием из центральной России нескольких заводов с инженерами и рабочими, огромного количества эвакуированных из Москвы и Ленинграда он преобразился в настоящий столичный город с большим преимуществом перед обеими столицами: здесь по сравнению с нашими северами всегда, или почти всегда, было одуряюще тепло. Вот и я стал одним из эвакуированных, одним из многих. Пока шли эшелонами, у меня частично восстановился слух, теперь мне не надо было орать в самое ухо, и когда наши под Сталинградом зажали фрица в кольцо, а потом погнали пинками под зад и от Волги, и от Кавказа, я уже слышал сам... Из правого глаза медленно стекала слеза, на душе было несравненно чисто, я знал, что в этой победе есть и мой маленький вклад.

В Южный Казахстан пришла весна. Здесь она другая, напористая, ошалевшая от собственной дерзости. Раз уж пришла, то ни шагу назад – всё, как на войне, только здесь никто не гибнет, кроме стремительно уходящих наметов снега на северной окраине города, обращённой в степь. Заканчивался март, в природе и в моей голове царила полная вакханалия. Я начал видеть! Видеть! И было глупейшее ощущение, что всё это произошло само собой. Начальник госпиталя Лежнев, услышав однажды такое легкомыслие, остановился у моей койки, сложил руки на груди и взялся насмешливо поучать.

– То есть мы тут выхаживаем тебя три месяца, вернули слух, зрение. Потратили своё время. В конце концов, потратили койко-место,

а ты, оказывается, сам. А ты не пробовал сам подлечиться прямо в своём окопе?

– Я – танкист, – зло процедил я сквозь зубы, чувствуя что меня, солдата, пытаются оскорбить.

– Был танкист. Отвоевался, можешь забыть.

– Что я, хуже всех?

– Не хуже. Только у тебя мозги набекрень, – он по-дурацки хихикнул, – при любом мышечном напряжении возможен рецидив. Оторвётся глазной нерв – и нет танкиста, – он снова дурацки хихикнул. Лежнев был здоров, неплохо откормлен, и по тому, как говорил с фронтовиком, чувствовалось, что сам никогда не бывал на фронте. Он чувствовал своё превосходство, каждое ничтожество греет своё самолюбие мыслью, что однажды сможет унижить сильного.

Я ему не поверил, врёт, крыса тыловая. Сильно я его невзлюбил. Не знаю, за что больше: что правду мне в лицо высказал или потому что выглядел самодовольным боровом. Думаю, что второе пересилило. Нас, раненых и контуженных, само собой, кормили по рациону, но мы ждали, что Средняя Азия окажется райским садом. После холодной брони и мёрзлых окопов, после переломанных костей и щедро пролитой крови всем хотелось вернуться к жизни, хотелось солнца, фруктов, овощей, хотелось самого малого, поесть досыта, но во второй половине марта из перечисленного было только солнце, оно пробудило первые подснежники, палисадники у частных домов, таяние снегов в предгорьях Алатау. Что до груш и яблок – откуда же им взяться на солдатском столе? Вот на рынках откуда-то брались...

На правах выздоравливающих меня и моего соседа по палате Петруха, молодого бойца, доставленного с Западного фронта, из подо Ржева, стали отпускать в увольнение. После месяцев немоты, слепоты, неподвижности нет большего счастья, чем поглазеть на мирный город, погреться на солнышке, пощёлкать семечки. Мы с Петрухой убедились в этом быстро, к тому же ноги сами привели нас в торговые ряды. Там всегда течёт жизнь и в прямом смысле, и во всех смыслах, но на любой рынок, на базар без денег не ходи, подавишься собственной слюной. Что там яблоки, груши – там свежий хлеб

только что из печи, там сало (!), а ловкие торговки продают отварную картошку, что дымится в чугунках, укутанных лоскутами войлока. Рядом с ними расчётливо лежат робкие пучки первого зелёного лука, и здесь же, на старом базаре, на соседних лотках продаётся густой сливочного цвета каймак. Едва я увидел эти глиняные горшки, как ноздри сразу уловили его сметанный запах, вкус, а в сухом горле, выдавая все мои борения, задвигался кадык.

– Служивый, э-э, купи уже, что ты третий раз мимо проходишь.

– Чтобы что-то купить, сначала надо что-то продать, – Петруха с руками, засунутыми в карманы солдатских галифе, совсем не тушевался и за словом в эти самые карманы не лез.

– Так продай, – тут же отреагировал толстый торговец в нахлобученном на глаза киргизском колпаке. Он играл красными щеками, бессовестно улыбался и был совсем не прочь прикупить кусок парашютного шелка или танкового брезента, на худой конец ящики от артиллерийских снарядов.

– Ну, мы ещё придём, – мой приятель явно что-то задумал.

Вернуться нам не пришлось. Я ждал денежного довольствия, Петруха не ждал, прихватил пару свежих простыней после выписки другого нашего соседа, признанного негодным по ранению. Не прокаатило, сначала недостачу засёк старшина отделения, потом включился в дело начальник госпиталя, тут Лежнев вспомнил и меня, а мы с Петрухой вроде как в друзьях были, вот и вышла история. Вступился я за него, человек за Родину стоял, пострадал сильно, он отходил после второго тяжёлого ранения, а тут какие-то простыни? Одна его медаль «За отвагу» весит больше, чем всё госпитальное барахло. Неправ мой сосед, знаю, что неправ. Не стоят орехи или абрикосы того, чтобы из-за них портить солдатскую биографию, но и мальчишескую глупость нельзя переписывать на вредительство. Не знаю, помогло ли моё заступничество, а то и наоборот – грозились отправить его под суд и в штрафбат, а вот со мной, с заступником, у которого заканчивался срок лечения и реабилитации, начальник госпиталя разобрался быстро.

– Что, танкист, поправился? Борзеть начал, уголовничка защищаешь? – Начальник госпиталя то снова хихикал, следуя своей привыч-

ке, то кривился, выражая пренебрежение к рядовому, к песчинке войны, – выписываю я тебя. Говоришь, танкистом был, ну-ну, теперь в пехоте послужишь. Завтра команда комплектуется в те края, где твой приятель служил, подо Ржев, под Вязьму.

Меня словно обожгло. Пехота... Жизнь длиною в три атаки. Сквозь серый шум, привычно висевший в голове, я понимал, что это приговор, мне и одной атаки много. Он не имеет права, но в этом ли дело, если каждый имеет право умереть за Родину.

– Вы же сами говорили, тяжёлая контузия – это навсегда! У меня постоянные головные боли, иногда сильные, – с чего мне было врать, если от яркого света, от смеха, от неосторожных движений головой в глазах вдруг вспыхивала слепящая радуга, начинало ломить виски, – а как же глазной нерв?

– В пехоте это неважно...

Лежнев иронично смотрел мне в глаза и каким-то образом проговаривал вслух мои же мысли, мол, боец, на три атаки хватит. Наверное, ему нравилось тасовать чужие судьбы, однако судьба – сложная вещь, не всегда поддаётся исправлению...

Запинаясь на каждом полустанке, эшелон продвигался на запад. Под неторопливый перестук железных колёс в дверной проём вагона-теплушки заглядывала дикая, необжитая степь, виднелись песчаные барханы, подходящие вплотную к полотну, иногда в отдалении шествовали дикие одногорбые верблюды с вечно жующими мордами. Если начальник госпиталя не соврал, если действительно пунктом назначения эшелона была одна из станций в тылах Центрального или Калининского фронтов, то после Чимкента и Арыси он должен повернуть на северо-запад. В Чимкенте стояли долго, почти сутки, ждали своей очереди на вход на узловую Арысь, которая формировала группы эшелонов на Сталинград и Саратов. Старые солдаты разных возрастов после ранений возвращались в строй, на передовую; в свои почти тридцать лет я тоже считался старым солдатом. Курили самокрутки, играли в карты; кто помоложе, бегал на станцию за кипятком, с новым блеском в глазах слу-

шали сводки Совинформбюро, что с эхом и шуршанием выдавала радиоточка на ближайшем столбе.

– Ну вот, попёрли фрица...

– Попёрли! Ржев освободили...

На душе теплело, хуже нет прорывать линию фронта, напарываться на подготовленные рубежи обороны, рвать их зубами, ногтями, а раз уж погнались, то всё же полегче будет.

– А меня Лежнев как раз подо Ржев и хотел отправить.

– Видать, насолил начальнику, – хмыкнул старый дядька Фёдор, который после госпитальных мытарств возвращался в действующую армию, по возрасту он уже не должен был оказаться на передовой.

– Может, и насолил, только не знаю чем, взъелся, гад.

– Известно чем. Ты, вона, анекдоты любишь травить, всё больше про тыловых «героев», которые жрут фронтовую тушёнку – не давят, да спят с жёнами фронтовиков. Где-то он и подловил тебя. Тыловые не любят нас и анекдоты наши не любят. Мы же им поперёк горла. А тут госпиталь, в кого ни плюнь, каждый с фронта – или герой, или почти герой, кровь за родину пролил.

– Я – танкист, а он меня в пехоту.

– Ты вроде справный, руки-ноги на месте, и всё остальное при тебе, – старый солдат весело подмигнул, намекая на причинное место.

– Голова, дядька Фёдор, в ней всё дело. Я после контузии полгода в себя возвращался, да и сейчас ломит, особенно когда погода меняется. Не выжить мне.

– Да-а, боец из тебя никудышный. Точно отомстить решил, – он помолчал, затянулся самокруткой. – Ты вот что, пока стоим, пиши письмо, всё там пропиши, как есть, как тебя, танкиста, – да в пехоту. А там, глядишь, повторная медицинская комиссия всё и покажет. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай.

– Какое письмо, кому?

– Кому-кому... – Старый солдат, не поднимая глаз, весело прокашлялся в кулак. – Известное дело, Сталину пиши, там разберутся.

– Да как же...

– Будет толк, помяни моё слово. При имени Сталина все стойку принимают, не сомневайся. Разберутся, тянуть не будут. Не имеют прав таких, чтоб танкиста засылать в пехоту. Указ был? Был – танкистов, лётчиков, связистов, моряков от своего дела не отрывать. И этому Лежневу ещё достанется, спросится с него.

– Всё ты правильно говоришь, дядька Фёдор, только...

Не мог я напрямую сказать, что при одном упоминании этого имени у меня выпрямлялась спина, бежали мурашки, пересыхало в горле. Сталин в моём представлении был грандиозным гранитным изваянием, возвышающимся над страной, над всем миром. Да, изваянием без души, без сердца, но с холодным рассудком и острым взглядом, и не дай бог попасть под этот взгляд. От него зависел каждый мой день, вся моя жизнь, зависело, сдюжим ли мы все в этой кровавой бойне. Вот именно ему я должен был писать письмо.

– Страшно? Угадал? Угадал... А в бою что, не страшно было? Вот то-то же, не робей, Василий. Ты – солдат, Сталин – главный солдатский начальник, он на твоей стороне, – видя мою нерешительность, дядька Фёдор негромко чертыхнулся. – Эх, боец, подумай сам, на вид-то ты здоров и по документам здоров, а как дело до дела дойдёт... Почитай, другого шанса у тебя не будет.

И я не стал тянуть – либо пан, либо пропал. Окажешься на передовой, в стрелковом полку, поздно будет объяснять, что твоя голова до сих пор в железных тисках. Ничего додумывать или кого-то обвинять я не стал, изложил просто, что я – танкист, что хочу в родные танковые войска, и всё на этом, а там – куда кривая вывезет. Через час мое письмо уже отправилось в путь, у него началась своя жизнь.

Мне казалось, что я опытный матёрый волк, за плечами у которого полтора года войны, а на поверку вышло: всё тот же тамбовский волчонок, загнанный в красные флажки, загнанный в угол. В угол холодного вагона. Я лежал, свернувшись на жёстких нарах, на досках, покрытых тощими старыми матрасами, и думал, думал обо всём, что было, что будет. Между этими «было» и «будет» идёт по рельсам, отмеряя секунды и стыки, обожжённый солнцем воинский эшелон,

перевозчик из царства прошлого в царство будущего, Харон, твою мать...

Зачем я пришёл в этот мир, в чём смысл? Искать правду? Где она? В письме, которое я только что отправил? А что если какой-нибудь очередной секретарь или адъютант прочтёт мою правду и скажет: «Товарищ Сталин, боец отказывается служить там, где сейчас самая сложная обстановка». Что будет с моей правдой? Её путь – путь испытаний, самый что ни есть русский путь; тот, кто ищет правду, ставит на кон не меньше, чем судьбу. Родиться накануне Первой мировой, накануне революции, быть свидетелем гражданской войны, страшного антоновского мятежа... Поневоле захочется правды, узнать её, а узнав – защитить. Так всегда будет с нами? Так должно быть? А ма-маня в далёком детстве рассказывала, что в тридевятом царстве Илья Муромец бился с басурманами и победил, а потом был пир и мёд, пиво рекой текли... Посмотри вокруг, нет здесь басурман – здесь все свои. Почему же так тяжело нам жить? Может, потому что все ищут правду: одни – чтобы возвести её на золотой трон, другие – чтобы погубить. Давным-давно сбежал я из родного села, из Ивановки, в город, к большевикам. Они строили светлое будущее, они были честными и не продавались за тридцать сребренников, я верил им. Как выяснилось позже, у них был всего один недостаток: тем, кто мыслил по-другому, они ничего не прощали.

Следующим утром, когда эшелон пришёл на станцию Арысь, комендантский патруль снял меня с поезда. «Кто здесь писал письмо Сталину? У нас приказ...» Товарищ Сталин, Верховный Главнокомандующий, отреагировал на письмо рядового солдата не просто быстро, а стремительно. Под белы рученьки меня доставили в гарнизонную комендатуру и сходу взяли в оборот, только что мордой об стол не били.

– Колись, зачем писал письмо? У товарища Сталина и без тебя забот хватает.

– Так ведь последняя надежда...

– Лучше не ври.

– Зачем мне врать? Я – механик-водитель танка.

– Не мог в госпитале разобраться?
– Никто не хотел понять...
– Какая тебе разница, от пули загнуться или в танке сгореть?
– Не собираюсь я гореть, я мастер по квалификации, у меня стажа почти семь лет...

– А почему же тебя направили в пехоту? Ну? Темнишь, сволочь! Признавайся, пока рожа цела.

– Да вы что, братцы, я же танкист! Я за Родину, за Сталина... Да я столько фрицев гусеницами передавил, а вы меня, простого солдата...

Не скрою, в какой-то момент ослабла внутри струна, глаза стали влажными от глухой обиды, от того, что приходится доказывать, что ты не верблюд. И ведь подействовало моё состояние на старлея в фуражке с синим околышем, который вёл допрос. После двадцати минут каверзного дела он воткнул в меня свой страшный взгляд:

– Ладно, боец, видать не врешь, а порядок, он во всем должен быть. Возразить что имеешь?

– Нет, не имею, – я забыл все слова из строевого устава и хотел только одного, чтобы этот разговор-допрос быстрее закончился.

– Сейчас подпишешь показания и – вперёд в Ташкент, на сборный пункт, на комиссию. – Он недружелюбно скривил лицо, это была его попытка улыбнуться. – А запрос-то в госпиталь мы отправим, узнаем, кто там подрывает кадровую политику.

Через сутки с командировочным удостоверением, со всеми сопроводительными документами я прибыл в Ташкентскую комендатуру и тут же – на военно-врачебную комиссию.

– Контузия, говоришь?

– Так и есть. В бою под Орджоникидзе, как раз в годовщину революции.

– Полгода в госпитале, та-ак, что к нам привело? – Доктор листал мою медицинскую карту. – Наверное, вернуться в свою бригаду хочешь. Ну что же, похвально, похвально.

– Да я всю жизнь за рычагами.

– С таким диагнозом, как у тебя... – Мне показалось в этот момент, доктор сейчас добавит «только в пехоте и служить». – Да, боец,

можешь навсегда забыть о танковых войсках. Если б не война, отправил бы я тебя домой лежать на печи или с палочкой прогуливаться по парку, однако... Сделай десять приседаний с вытянутыми руками.

Я начал приседать и на седьмом или восьмом приседе снова почувствовал привычный шум в голове и лёгкое кружение.

– Левую руку. Так, проверим пульс. Ясно. Закрой глаза, вытяни руки, коснись кончика носа сначала левой рукой, потом правой.

Здесь меня настигло удивление, которым я был по-настоящему потрясён – с первого раза ни одной, ни другой рукой я этого сделать не смог.

– Ну что вам сказать, молодой человек, – доктор поднял на меня глаза из-под очков, – а впрочем, пусть председатель комиссии говорит.

Председатель в белом халате, под которым угадывались погоны, изрядно замотанный человек, хмурился, жевал прокуренные усы.

– Вот скажи мне, Марков, и как мне выдавать на гора излеченных, заштопанных, восстановленных бойцов, готовых защищать Родину? Ты вот с виду матёрый вояка, на ногах крепко стоишь, взгляд у тебя уверенный, а посмотришь твою карту... В народное хозяйство тебя отправить? Кто воевать будет?

– Нет, товарищ военврач, – тут меня переклинило совсем с другой стороны: что я, фронтовик, буду делать дома среди баб, подростков, безногих инвалидов? У меня даже медали нет, – я готов служить и дальше, никогда Марковы от службы Родине не отказывались.

– Ты не геройствуй, с головой не шутят. Ещё неизвестно, как эта твоя контузия в будущем отзовется. По документам ты до войны водителем был. Так? Вот и пойдёшь служить водителем в Резерв Главного Командования, миномёты возить. Таков твой выписной эпикриз. Всё понятно?

– Так точно, товарищ военврач.

– Больше Сталина писать не будешь?

– Никак нет, – я глупо улыбнулся и почувствовал, что меня отпустило.

Отпустила контузия, отпустил товарищ Сталин и председатель комиссии вместе с ним, в окна, чуть прикрытые белыми занавесками,

в проём распахнутой двери вливались свежие волны весеннего тепла, на Востоке часы показывали апрель...

– Ну раз так, служи, солдат.

* * *

Не довелось Василию Маркову побывать в рейхстаге, в Берлине, плюнуть в логово зверя, контузия помешала, серый шум долго ещё висел в его стриженной голове. Демобилизовался подчистую в 1945 году, в том самом, в котором уничтожили нацистов вместе с их истеричным фюрером, каждому своё – они сами так написали на воротах Бухенвальда... Живой вернулся, выходит, что ему повезло, не то, что другим... Много русских линий жизни, тончайших прожилок прервала фашистская орда, роды пресеклись, целые деревни умерли, города легли в руинах. Дорого нам обошёлся германский Drang nach Osten. Однако остановили мы его, навалились всем миром, как бывало не раз, когда приходил враг, и Василию Маркову, танкисту, работёнка досталась, многим фрицам хребты понадламывал. И пусть не самый крутой был у него танк, но служил до последнего и погиб в бою, как солдат, вместе с башенёром, вместе с командиром, земля им пухом... И лежать бы Василию с ними рядом, если бы не яловые сапоги, начищенные перед боем до блеска.

Серээдар и Норбу

Рассказ

Серээдар и Норбу. Два земляка-тувинца, два друга, два механика-водителя, два раздолбая... Хорошие были ребята... При таких звучных фамилиях их почти никогда не называли по именам, фамилии им и заменяли имена.

Я второй день как принял на себя временные полномочия командира роты, забот свалилось – не расхлебать. Это, конечно, большая честь быть ротным, но... Сотня бойцов смотрит на командира в ожидании великих изречений и поступков, и ведь кто-то надеется,

что это будет команда загорать. Нет в армии такой команды! И тем более в Афганистане. И всё же мой личный состав, мои солдаты и сержанты после нескольких рейдов, боёв, перестрелок думают, что они заслужили этот заслуженный отдых... Бр-р-р... Имеют право на заслуженный отдых. Живой, не убили – и ладно, нет, такой подход их не устраивает, живой – значит, имеешь право погреться на солнышке, а оно такое доброе свежим июньским утром. Тем более что до следующего рейда-боя-пререстрелки осталось всего-то два-три дня. Увы, ребята-демократы, загорание только с киркой или ломом. На текущий момент полк ещё только обживается в этом проклятом ущелье, и мы даже спим на голой земле, подложив под себя доски, валежник, ватники, по этой причине отдых – вопрос исключительно философский. Блиндажи для личного состава, окопы для боевой техники, ходы сообщения, огневые позиции! Оценили масштаб работ? Я тоже оценил, но главное, что сразу понял, кто этот масштаб осилит. Конечно – моя мотострелковая рота.

– Ну, товарищ лейтенант...

Это Серээдар, он умный, хитрый, но трудяга, как все механики, и не злой, а ещё круглолицый и розовощёкий. Рядом с ним Норбу выглядит скромнее, молчалив, сосредоточен, по виду смугл и сухощав. Всегда вместе, представить их порознь просто невозможно, одним словом, не разлей вода. Они знают, что я всего на два года старше их, и почему-то решили, что со мной можно договориться.

– Что ещё? Команду не поняли?

– Так мы для наших ласточек сразу окопы вырыли, как только нам позицию определили.

Ласточки... Так красиво и трепетно механики называют свои боевые машины пехоты, другие военные говорят: двойки, видя в них только боевые единицы, то есть БМП-2. Но как при этом слове странно потеплело лицо у Серээдара, и Норбу многозначительно поднял бровь и застыл с торжественным выражением лица... Ласточки.

– А кто погребки для боеприпасов рыть будет? Дядя Вася с лопатой? Хватит демагогию разводите. Кру-гом! Шагом марш!

Серээдар надул щёки, приложил руку к панаме, повернулся и пошёл, следом за ним – Норбу. Этот второй, хоть и держится в тени, но он главный, он мозг этой тёплой парочки. Если однажды их застукаешь пьяными, будь уверен, это Норбу добыл где-то самогон или местную травку, чарс. На днях по солдатской иерархии они стали дембелями, начался отсчёт последнего полугодия службы, вот они и решили уточнить, каковы теперь пределы их возможностей. Скорее всего, это была идея Норбу проверить командира на «слабо». А командир, то есть я, не повёлся, устав и чувство локтя в коллективе для меня что-то да значат. А ещё мне надо доказать и утвердить, что командир и есть самая главная военная власть, а они так... дембеля. Но, подумав, я решил, что их звание тоже важное. Мне звание от старшего начальника досталось, а им – из армейской среды, считай, от народа. Вот такая круговерть мыслей.

Ладно, сегодня я добрый, раз у них действительно с окопами всё в порядке, пусть заступают в наряд по полку, на нижний контрольно-пропускной пункт, там, кроме бдительности, от них ничего не потребуется.

– Серээдар, Норбу! Стой! – Они оба резко остановились, повернулись ко мне лицом. – Сделаем так. Заступаете в наряд, до развода осталось три часа. Вперёд, в роту, готовиться...

Новость они восприняли, как победители, и тут же побежали к старшине, пока я не передумал. При этом они хлопали друг друга по спинам, по затылкам, сбивая панамы, ставили подножки и заливались идиотским смехом – в общем, дурачились.

– О-о, эта непобедимая Красная армия! Ну просто детский сад! И с кем приходится служить? – Я смотрел им вслед, и на душе почему-то было светло.

Утром в обычный час офицеры полка построились на верхней площадке-террасе перед штабом полка, командир доводил срочные шифротелеграммы, обстановку по Афганистану и по нашей зоне ответственности.

– Ну, что там ещё? – Командир полка недоволен, что дежурный офицер прервал его доклад.

– Товарищ подполковник, у нас происшествие.

В 40-й армии к разряду происшествий относилось нечто другое, нежели в обычной повседневной службе.

– Ну?

– Самострел в наряде. Только что позвонили с нижнего КПП, со стороны Баранхейля.

– Кто там службу несёт?

– Пехота.

– Замполит! Пётр Михайлович, разберись, что там стряслось на самом деле, и если всё так... думай, что будем докладывать в Баграм.

Замполит полка бросил недружелюбный взгляд на офицеров мотострелковых рот.

– Ну? Чьи отщепенцы там сегодня?

– Мои...

И я пошёл, побежал... Какой самострел? Не может быть. Уж кому, как не им, повезло в службе. Серээдар и Норбу родом из одной деревни, их дома напротив друг друга... И детство, и школа, а тут и армия – везде вместе, какой, к чертям, самострел, у них же всё в порядке, лучше не бывает. До дембеля осталось нет ничего...

Небольшое глинобитное строение в два оконца и одну дверь, или дувал, как мы говорили, больше похожий на будку и обустроенный под помещение КПП, сейчас был наглухо заперт изнутри. Невдалеке толпились другие механики и наводчики-операторы роты.

– Что здесь?

– Серээдар в Норбу стрелял, кажется, того... Убил.

– Да ну? – Я не мог поверить, я остолбенел. – Говори, дальше что? Ну, не тяни.

– Да игрались они... Отрабатывали приём, как разоружить охранника... Норбу схватил ствол, на себя тянет, Середар за цевьё на себя, а палец на спуске.

– Какого хрена они с заряженным оружием!...

– Товарищ лейтенант, – боец замялся, как будто чувствуя себя виноватым, – так всё вокруг заряжено.

И чего я ору, поздно орать. И то, что они из другого взвода, – мне это не оправдание. Всё заряжено. Каждый солдат – словно маленький склад боеприпасов. У каждого гранаты, патроны, ракеты, тротил, шнуры, сигнальные огни, дымы... Мины забыл. И мины, если их миномётчики не забрали после очередного рейда. А в боевых машинах, а в погребках, что при машинах, а минные поля... Всё вокруг заряжено войной, все курки взведены, все прицелы упёрлись перекрестьями в свои цели.

– Выстрелил! Сразу в сердце.

– Где он?

– Там, в дувале. Вам бы не ходить туда. Мы с ребятами пробовали – не подпускает к себе, ревет, как зверь, стволом тычет, выстрелит ещё...

– Серээдар, я иду! Взводный.

Дверь со скрипом приоткрылась, в темноте блеснул ствол.

– Убью, не подходи! – Голос был высокий и всё же твёрдый.

– Ты что, рехнулся? Не стреляй!

– Убью! Не подходи, говорю.

– Не дури, парень! – Наконец, я его увидел и замер в десяти метрах – он стоял в проёме двери дувала, держа автомат наперевес. – Это случайно вышло. Ты же не хотел, ведь так?

– Не твоё дело!

– Серээдар, Валера, ты только успокойся, мы все с тобой. И я, и солдаты.

– Я убил Норбу! Норбу!... А-а-а-ы-ы-ы!... Я... Не подходи-и!

Он рыдал. Тяжёлые колокола гулко и ненасытно бились в его груди, сотрясая мальчишеское сердце. Никогда в жизни я не слышал таких рыданий.

– Возьми себя в руки, ну возьми же! Тебе никто не хочет зла. Мы с тобой.

– Никого со мной нет, никого... Я один... Как я вернусь домой... без него? Как я вернусь?

– Серээдар!

– Норбу мой друг! Он брат мой! Брат! Стой, где стоишь!

Теперь зрачок автомата смотрел прямо в меня. Я оцепенел, внезапно ощутив, что наступил на край, что леденящая близость смерти – это не только метафора. Руки солдата дрожали в последнем приступе ярости, палец вжался в спусковой крючок, Серээдар опасался, что я попробую отнять у него этот проклятый автомат, из которого он убил своего друга. Этот спасительный автомат., потому что только он, автомат, знает самый короткий путь... к спасению.

– Что я скажу его маме? Что я ей скажу? Я не вернусь один... Я не могу... – Его глаза, полные отчаяния, безумия, блестели в полумраке пыльной комнаты, они были полны слёз.

– Серээдар! Не делай этого. Отдай автомат!

Я почти умолял его, но уже чувствовал, что моих сил, моего убеждения не хватает, чтобы вернуть его из подступавшей тьмы. А он и не думал сдаваться, не думал пересекать порог своего последнего дувала.

– Не отдам.

– Серээдар, посмотри вокруг, а как же жизнь?

– Нет у меня больше жизни... – Эти глухие слова, шелестом слетевшие с губ, этот взгляд, тяжёлый, как каменная плита. – Норбу, Артур, я всё решил, я иду к тебе ...

Дверь захлопнулась, отгородив его от нас, от солнечного неба, от огромного мира, он остался один на один со своей бедой. Я ещё слышал глухие рыдания, которые доносились сквозь запертую дверь и окна, они становились всё реже и тише. Наконец он успокоился и стал готов... Потом раздался выстрел.

– Товарищ лейтенант! Комполка вызывает.

– Ну всё, *попал*. Сейчас всех собак спустит. Крайний нужен любому, это ж ясно.

Потрясение, которое я испытал, ещё не прошло, оно продолжало сушить меня изнутри, и в эти минуты мне по большому счёту было всё равно, *попал* я или нет. Дальше Афгана не пошлют. В чём мог

меня упрекнуть Конев, в том, что я плохо организовал службу? Согласен. Но он не упрекнёт, что я что послал на эту дурацкую войну мальчишек.

– Ну, что делать будем, лейтенант? – Пауза. Глаза в упор. Похоже, командир и не собирался меня ругать. – Что писать будем?

– Рапорт?

– Какой, к чёрту, рапорт, кому он нужен, твой рапорт? Что домой бойцам писать будем?

– Хорошие механики были, за машинами следили... Нет, товарищ подполковник, а про это лучше не писать, про это не надо...

– Вот и я думаю, что не надо. И замполит не возражает. А раз так... делаем из твоих бойцов героев. Готовь два представления к медалям «За отвагу». При выполнении боевой задачи, сопровождая колонну с боеприпасами и топливом, прикрыли бронёй гружёные тягачи... не дали сжечь колонну.

– Так и было, они много раз сопровождали колонны.

– Ну значит, не слишком-то мы и соврем. В одну деревню похоронки пойдут, смотри, чтоб без ошибок, чтоб всё совпадало... Кого пошлём сопровождать? Есть предложения?

– Если вы обо мне... Я не смогу, товарищ подполковник. Я всё знаю, а там их матери, как же я им скажу...

– Ты? – Конев холодно усмехнулся. – Ты не поедешь. Через два дня идём на Арзу и Шутуль, начинаем операцию по зачистке северных ущелий, там нас давно ждут. И ты, и твоя рота – в числе главных действующих лиц. А сопровождающего для груза двести найдём, от двенадцати суток отпуска никто не откажется. Так-то вот, лейтенант, – он снова усмехнулся, – а жизнь, она продолжается.

– Вы хотели сказать, война...

Голуби летят...

Рассказ

На улицах Москвы была Пасха 2010 года, апрель, солнечно. Вынырнув из метро, мы с моим другом Сергеем добрались до Таганского пристанища нумизматов. Надо сказать, сакральное место. Многозначительные таинственные люди неторопливо прогуливались по торжищу, одни, профессорского вида, выискивали раритеты среди чужих сокровищ, обменивались новостями, другие, что попроще, пытались прочесть по глазам, что кому надо, в чём интерес. Иногда они останавливались, осматривались и предлагали свой товар.

– Монеты начала царствования Екатерины, червонцы и золотые с шарфом на шее. Есть Петровский двойной червонец, редкий экземпляр...

– Есть германские монеты, гульден и талеры времён империи. Рейхсмарки Веймарской республики.

– Эю Людовика Четырнадцатого...

Альбомы, файлы с монетами разных стран мира и разного достоинства лежали на гранитном уличном парапете, на подставках, как на пюпитрах, скрывались в кожаных папках, но большинство купцов по-шпионски распахивало полы плащей и курток с нашитыми на подкладку прозрачными ячейками. В ожидании пояснений я заинтригованно посмотрел на Сергея, он был дока по части старины.

– А ты думал? Раньше во всём мире крупные монеты чеканили из золота, разменные – из серебра, не то, что сейчас. Вот парень к нам подходил, ты представляешь, какая сумма к его подкладке пришита? Какое-никакое, а состояние.

– Ценники здесь, однако, серьёзные.

– Я и говорю, золото.

Подошёл ещё один продавец-консультант.

– Римская империя, первый век, интересуетесь? Денарии Веспасиана, недорого.

– Спасибо, приятель, у нас другая тема.

– Сергей, – это уже я толкнул его под локоть, – почему первый век и недорого?

– Денарии римляне чеканили из серебра, весили всего-то четыре-пять граммов, да и откуда в то время быть чистому серебру?

– Но они же древние!

– Древние – это да, но империя столько денег за тысячу лет отчеканила, так что у коллекционеров они не дефицит. В Риме постоянно раскопки ведутся, может, кто большой клад нашёл, вот рынок римских монет и обвалился.

Сергей задержался у одного торговца, надел очки, разглядывая бесценную подкладку его куртки.

– Кажется, есть что-то любопытное, – он оглянулся на меня. – Ты пока постой в стороне, понаблюдай. Тут карманники трутся, ищут зазевавшихся вроде меня.

Мой друг долго вглядывался в золотую русскую монету, выкопанную из развала сотен других, неразличимых на мой дилетантский взгляд. Потом держал её на ладони, вертел пальцами, рассматривая детали аверса, реверса, выискивая сколы, вмятины, приценивался. Это было полное погружение в процесс. По его лицу блуждало такое узнаваемое выражение: растянутые в сухой улыбке губы, охотничьи огоньки в глазах. Наконец, несколько тысяч рублей, исполненных в защищённой хрустящей бумаге и находящихся в обороте в XXI веке нашей эры, переключили в карман торговца.

– Вещь! – Сергей торжествовал. – Понимаешь, есть монеты, которых выпущено мало. Только начали чеканить, а император взял да и умер. Вот и с Павлом такая история приключилась. В первый же год правления, в 1796-м, пошли в ход золотые червонцы с его аверсом, а дальше, и сам знаешь, не угодил народу. Ну, смотри!

Старое золото тяжело отсвечивало под апрельским солнцем, и я неумело, крадучись проникнулся осознанием невероятно далекой эпохи, приоткрывшейся мне на мгновение на белом носовом платке. Бог мой, это ещё Суворов был жив... Я поднял взгляд на счастливого обладателя древности:

– Серёга, ну ты челове-ек...

– Значит, понимаешь меня, – он продолжал улыбаться, – ты только Алле не говори, сколько я заплатил.

– Что, супруга ругается?

– Э-э, критикует. Здесь я со своими пристрастиями – здесь семейный бюджет, в общем, противоречия...

– Всё, я молчу, да и с чего бы мне выдавать чужие тайны.

– Ладно, идём, отметим это дело ударами в колокола. Пасха же!

Свернув в переулок на ближайшем перекрёстке и пройдя метров триста, мы оказались у небольшой церквушки, которую можно встретить в русской глубинке, почти в любом селе, но в Москве? Здесь повсюду асфальт с гранитными бордюрами, дорогие иномарки, высотные дома, а дом Божий всё тот же, в нём тихий полумрак, запах ладана, навсегда впитавшийся в стены, деревянные полы, протёртые тысячами ног, прихожанки у иконы Божьей Матери.

Молодой батюшка на нашу просьбу ударить в колокола неожиданно удивился:

– Редко кто сейчас изъявляет такое желание.

– Так можно, святой отец?

– Конечно, дети мои. По Богослужебному уставу, на светлой седмице полагается «целодневный» звон во славу Божию, все православные допускаются на колокольню.

То, что мы «дети» при своих седилах и залысинах, меня чуть развеселило, а Сергей, как всегда, серьёзно выслушал наставление, понимая в нём что-то своё, главное.

– Идём.

По крутой пыльной лестнице мы поднялись на открытую верхнюю площадку под самый купол колокольни. Сергей покрепче взялся за верёвку языка колокола, качнул его.

– Ну, как говорится, с Богом!

Удары колокола всколыхнули таганские окрестности праздничным гулом, всполошили стаю беспородных городских голубей, обитавших поблизости. Потом и я ударил в малые зазвонные колокола, на что они нестройно, вразнобой отозвались весёлым высоким перезвоном. Стая голубей, сделав несколько широких кругов над сосед-

ними дворами, следом за утихающим басовитым гулом возвращалась на облюбованные места.

– Эх, Серёга, смотри, красота какая! Москва в куполах, солнце светит, как летом, голуби летят...

* * *

Я переворачиваю страницу недописанного рассказа. Нет больше Сергея...

Он ушёл нестарым, крепким человеком, когда ещё рано уходить, когда впереди столько идей и планов, когда пришёл срок ими заняться. И, казалось бы, есть всё, но уже нет Времени...

Друзей не бывает много. Они вдруг растворяются, исчезают в суете жизни, но кто-то уходит совсем. Говорят, Господь забирает лучших, они ему особенно дороги, именно они и есть его небесное воинство, сокрушающее зло. По странной, нелогичной причине мы помним их ярче, отчётливее, чем при жизни, как будто только с их смертью раскрываются наши глаза. Вот и Сергей оставил после себя столько доброй памяти, что её хватит всем, – кого росой окропит, кому из родника прольётся. Что-то досталось и мне... Помню, как мы били тогда в колокола, а они празднично, наперебой отвечали нам, мы смеялись, помню, какой красивой была пасхальная Москва. Да что там, она и сейчас красива, и до сих пор летят и летят по небу голуби...



Николай НАСЕДКИН

Два срока...

(Фрагмент повести «Литлабиринты»)

В пятницу 3 октября 2003 года дееспособные члены Тамбовского отделения Союза писателей России собрались в Доме печати на плановое отчётно-выборное собрание. Из тридцати трёх списочных поэтов и прозаиков таковых оказалось двадцать два человека. Остальные — или инвалиды, не выходящие из дома, или внезапно захворавшие, или живущие в дальних районах и пожалевшие денег на автобус, или пофигисты, вообще не желающие голосовать... Но протокольный кворум собрался.

Само собрание проходило на первом этаже, в конференц-зале, а на шестом, где собственно и располагалась в комнате площадью 23 квадратных метра писательская организация, в это время родные действующего председателя А. Акулинина накрывали обильный стол с водкой, салом, колбасой и прочими вкусностями для обмывания очередного, уже третьего, избрания его на новый срок в пять лет.

Сам Александр Михайлович вёл собрание, выступал с отчётным докладом, оглаживая свою седую пышную бороду, и был, судя по всему, спокоен, в запланированном ходе вещей не сомневался. Особенно, когда дело дошло до голосования. Соперника-то выдвинули всего

одного, да и тот — какой соперник? Смехота! Опыта ни граммулечки, даже в правление никогда не входил, да и сам категорически отнекивается, не хочет на место председателя, отказывается – доподлинно известно...

Итоги тайного голосования стали шоком для обоих: восемь голосов за Акулинина, 14 – за Наседкина. Мы с Александром Михайловичем одинаково выпучили глаза, у каждого стукнуло сердце и прилила кровь к лицу. Один потерял в единый миг уже ставшее привычным, дорогим и желанным, второй приобрёл в ту же секунду нечто для себя новое, пугающее и обременительное. Признаюсь, упреждая упрёки, я и кандидатуру свою с голосования только потому не снял, что был уверен, как и мой соперник, – необходимого количества голосов ни за что не наберу.

Никогда не мечтал руководить и командовать. Это просто не моё. В армии как бы был избран и числился комсоргом роты, в университете профоргом группы – вот и весь мой скорбный, вернее, пустяшный опыт. Ничем я там не руководил, ничего толком не организовывал, так, взносы собирал да, как водится, с какими-то формальными отчётами выступал.

И вот меня внезапно избрали вождём писательского племени могикан, которое на тот момент находилось буквально на грани краха-исчезновения. По образному выражению патриарха писательской организации прозаика и драматурга Ивана Захаровича Елегечева – она *лежала на боку*.

Да и то! Когда я сел в кресло председателя (на самом деле – разваливающийся стул) и осмотрелся, а затем и вник в суть дела – сердце моё ещё более скукожилось. Из трёх кабинетов, когда-то принадлежавших писателям, остался один *офис* и совсем не с офисной мебелью – разваливающиеся столы-стулья, четыре обшарпанных шкафа советских времён, пара мягких рваных кресел и облупившийся сейф. Да, ещё пара сломанных пишмашинок. Просмотр жидких папок с документами, хранящихся в сейфе, оптимизма не прибавил. Писательская организация даже не была зарегистрирована! Формально её как бы и не существовало вовсе!!!

Не было, само собой, и счёта в банке. В то время писательская организация по традиции и инерции ещё числилась как бы подразделением областного управления культуры, так что все грошовые финансы (коммуналка, аренда, телефон, чуть-чуть книгоиздание, зарплатишка председателю) проходили через бухгалтерию управления, ну а для потенциальных спонсоров писорганизации прежний председатель, не заморачиваясь, указывал банковский счёт своего частного предприятия «Книжная лавка писателя», где свой бухгалтер имелся.

Вот это и оказалось, может быть, самым сложным, когда управлению культуры уже вскоре окончательно запретили по каким-то там иезуитским законам официально финансировать нашу общественную организацию, и когда я открыл счёт в банке – найти опытного бухгалтера, согласного за небольшое вознаграждение вести нашу убогую, но обильную на бумажные отчёты бухгалтерию.

Но я забегаю вперёд. Сначала я, пересилив себя и отрепетировав жест «протянутая рука» с соответствующей миной на лице, пошёл, что называется, по миру: помогите, люди добрые, кто чем может! Выше уже упоминалось, как однажды я попробовал пойти с протянутой рукой, надеясь после ВЛК найти в Тамбове мецената-спонсора для издания своей первой книги. Быстро выдохся и бросил позорное и бесполезное занятие. Но здесь отступать было некуда, позади целая писательская организация. Пересилил себя – пошёл по кругу с протянутой рукой.

Но прежде мне надо было сориентироваться, чего хоть и сколько просить, пошукал по соседям, заслал письма с просьбой отписать, как они живут, – картина нарисовалась, достойная удивления и зависти. Как-то ещё с советских времён укрепилась-осталась в генной памяти жажда справедливого равенства: раз в одной стране живём, то и жить должны примерно одинаково. Ага, щас! Оказывается, те же писатели где-то (в Орле, Белгороде, Воронеже...) как сыры в масле катаются, а мы, в соседней области, воды с чёрным хлебом вдоволь не имеем. Особенно поразил меня ответ из Белгорода тамошнего председателя В. Молчанова:

Здравствуйте, Николай!

Выполняю Вашу просьбу. Только за последние пять-шесть лет администрации области и городов Белгорода и Старого Оскола выделили писателям бесплатно восемь квартир, а в городе Грайвороне молодой поэтессе, инвалиду первой группы, члену Союза писателей России Жанне Бондаренко горрайадминистрация при содействии губернатора Е.С. Савченко построили дом с приусадебным участком.

Сегодня все без исключения члены Союза писателей, а их 53 человека, состоящие на учёте в Белгородской писательской организации, получают ежемесячные стипендии в размере 1500 рублей каждый.

На издание книг в 2003 году выделено один миллион семьсот тысяч рублей. Таким образом, в течение двух-трёх лет каждый член СП и многие члены литактива имеют возможность издать книгу стихов или прозы.

Писательскую организацию переселили в просторное помещение, оставив за ней старое помещение, в котором разместилось книжное издательство, соучредителем которого является писательская организация...

В 1995 году администрация области приобрела для писательской организации новый служебный автомобиль «Волга», а в 2003 году – новую «Волгу», выделила ставку водителя-механика и средства на приобретение горюче-смазочных материалов и техническое обслуживание автомобиля...

Ну и т. д. В ответном письме я, позоря родную Тамбовщину, откровенно писал:

Добрый день, Владимир!

Большущее спасибо за подробный ответ!

Признаюсь, читал его как рассказ в жанре фэнтези и чуть не лил слёзы – зависти к Белгороду и обиды за Тамбов. Достаточно сказать, что нам на писательскую организацию выделяют одну ставку председателя (сейчас, после повышения – 3,5 тыс. в месяц) и в год всего 400 тыс. на издание книг (и то не на писательскую организацию, а – управлению по делам печати) и 15 тысяч на аренду (у нас один

кабинетик с обшарпанной мебелью в Доме печати), командировки, телефон, почту и канцтовары. Всё. Всё! Не говоря о компьютере, даже пишмашинки ни единой нет. При этом начальница планового отдела управления культуры каждый раз, как я туда прихожу, напоминает мне, что писательская организация получает все эти крохи незаконно, из милости и в любое время субсидии вообще прекратятся: дескать, государство не обязано и не имеет права финансировать общественные организации...

После, утерев слёзы обиды и заглушив рыдания, вот какую бумагу (первую из сотен и тысяч бумаг, которые напишу-составлю потом во все и всяческие инстанции!) сочинил я на имя нашего губернатора:

Уважаемый Олег Иванович!

Если завтра (представим на минуту) во вверенной Вам Тамбовской области не останется ни единого поэта – послезавтра на Тамбовщине можно будет ставить крест, смело вычёркивать её из списка цивилизованных регионов с развитой культурой...

Красноярск, к примеру, славен не только и не столько алюминиевым комбинатом или бандитом Быковым, сколько тем, что там жил и творил Виктор Петрович Астафьев. Мало кто знает имена хоккеистов или борцов, которые родились в Иркутске, кто там сейчас в губернаторах или возглавляет Думу, но то, что там родился и живёт замечательный русский писатель Валентин Григорьевич Распутин – известно в России каждому грамотному человеку... Престиж, имидж, говоря по-современному, городу, губернии, стране создают не только политики, финансисты, промышленники, спортсмены и бандиты, но и, безусловно, в ещё большей мере писатели, композиторы, художники... Это – аксиома.

В связи с этим – две скромные просьбы.

1) Олег Иванович, на Вашей родной Тамбовщине в настоящее время живут и прославляют её чуть более 30-ти членов профессионального Союза писателей России. Они нуждаются в Вашей поддержке. Многие из них живут буквально в нищете. Власти, которые обрекают своих потенциальных Астафьевых, Беловых, Распутиных на голодное существование, на унижительную бедность – поступают недалё-

новидно, неразумно, не в интересах своего региона. Во всех соседних с нами областях (Воронежской, Курской, Липецкой, Белгородской и др.) каждый член Союза писателей сегодня получает из областного бюджета ежемесячное пособие (стипендию, грант, матпомощь) от 800 до 2000 рублей. Конечно, все эти области, может быть, и побогаче нашей, но ведь тамбовские чиновники, депутаты на освобождённой основе получают не меньше своих воронежских и белгородских коллег? Почему же тамбовские писатели должны жить хуже воронежских и белгородских?

Если каждому члену СП у нас доплачивать в месяц по 1500 рублей, это обойдётся областной казне в год – всего около 500 000 рублей;

если по 1000 рублей – 330 000;

если хотя бы по 500 рублей – 165 000.

Цифры не такие уж страшные, и хочется надеяться, Олег Иванович, что данная проблема будет, наконец, и в нашей области решена.

2) В последние годы по разным объективным причинам областная писательская организация, к сожалению, утратила свой былой авторитет, сужается круг читателей, книги, публикации местных поэтов и прозаиков уже не так широко расходятся по градам и весям. Вероятно, иные жители Тамбовщины даже и не знают, что писательская организация в области сохранилась, действует. Именно сейчас как никогда необходимо выпустить коллективный сборник «Тамбовские писатели», в котором будет представлено творчество всех 33-х членов Тамбовской писательской организации, содержаться их краткие биографии, библиография и портреты. Такой сборник стал бы визитной карточкой, коллективным портретом тамбовских писателей, сегодняшней тамбовской литературы, и поверьте, Олег Иванович, вручать его гостям Тамбовщины или оставлять дарить на память там, где руководители Тамбовщины бывают с визитами, – будет престижнее и оригинальнее, чем какой-нибудь стандартный фотоальбом с видами Тамбова...

А потребуется на такой сборник не так уж много средств – всего около 100 000 рублей.

Олег Иванович, мы уверены в Вашем добром отношении к книге, литературе вообще и к тамбовским писателям в частности и надеемся, что просьбы наши не останутся без ответа...

Надо пояснить, что акцент в завязке письма на спортсменов и бандитов, конечно, был не случаен – первые получали завидную финансовую поддержку от администрации области, вторые процветали при её попустительстве. Ну и особенно мне нравилась успешливая подковырка в моей бумаге про доходы местных прихлебателей власти, жирующих не слабже соседей-чинуш. Хотел для смеха добавить ещё про новые квартиры для писателей и машину с водителем, но всё же не стал – не тот случай, чтобы с юмора начинать...

И вот с этим просительным письмом отправился я в местный Белый дом к губернатору. Тут, раздражая своих недоброжелателей, вынужден затронуть весьма деликатную тему. Когда сторонники моего избрания на председательский пост толкали меня на эту авантюру, уговаривали хотя бы принять участие в голосовании, они упирали на то, что я, дескать, самый известный в Тамбове писатель, единственный из тамбовских авторов издаюсь в Москве – мне, мол, будет легче и, так сказать, результативнее общаться с властями предрежащими и выколачивать из них матпомощь для организации. Скромность скромностью, но чего уж там – резон в этом был. Действительно, и глава администрации О. Бетин, и особенно председатель на тот момент областной Думы В. Карев, истинный книголюб и книголюб, писателя Наседкина знали, почитывали, энциклопедию «Достоевский» с автографом автора имели...

Так вот, отправился я со своей челобитной в здание администрации, ещё не зная (раньше бывать как-то не приходилось), что проникнуть в него не так-то просто. Писательская ксива никакого впечатления на двух стражников в милицейской форме у входа не произвела, паспорта, чтобы выписать пропуск, у меня с собой не было – хоть назад поворачивай. Озабочен был бы я личной просьбой, так бы и поступил. Но, повторяю, ощутив-осознав себя представителем коллектива в тридцать с лишком человек (так

и хочется пожалобнее ввернуть – голодных птенцов), я почувал в себе какие-то неведомые ранее силы духа, напористости и даже наглости. Ах вы суки ментовские! Писательское удостоверение вам не пропуск?!

– А ну, – строго приказал, – позвоните в приёмную губернатора, доложите, что председатель правления писательской организации Наседкин пришёл!

Ха, напужал! Мент-охранник лениво пальцем на выход ткнул:

– Вон в тамбуре телефон внутренний – сами, если надо, звоните.

Собрал обратно гонор в тряпочку, в карман подальше засунул и со спецтелефона внутренней связи в тамбуре дозвонился до приёмной. Секретарша меня, оказывается, знала, толком не поняла, чего я хочу, но позвонила на пост, приказала меня пропустить. Поднимаясь на четвёртый этаж в лифте, я перед зеркалом лифтовым репетировал мину на лице, с какой предстану перед *генерал-губернатором* области – и робким забитым просителем всё же выглядеть не хотелось, но и гонором козырять было бы глупо.

Позже, приехав в Москву на первый свой пленум правления Союза писателей России, я у новых своих знакомцев-коллег из других регионов выпытывал секреты их деятельности и взаимодействия-сотрудничества с местными князьками, и один из них, вернее – одна, руководившая Архангельской писорганризацией уже лет двадцать, помню, учила меня: перво-наперво и главное, открывай дверь в кабинет губернатора ногой. Если не будешь этого делать – ничего не добьёшься...

Увы, характер не тот. В приёмной я скромно поинтересовался у доброжелательной секретарши: могу ли я пройти в кабинет?

Вообще-то, пояснила она с некоторым удивлением (кто ж этого не знает?!), на приём к главе администрации надо записываться заранее.

– А что же делать? – спросил я.

Добросердечную женщину, видно, тронула моя искренняя растерянность (ну лопушок ещё в кабинетных делах):

– Пока присядьте, когда Олег Иванович освободится – я спрошу, сможет ли он вас принять.

Я присел в мягкое кресло, поглядел внимательно на дверь в высокий кабинет: да-а-а, такую пинком открыть труднѐхонько. Тем более что она наружу открывается...

И тут эта самая массивная дверь открылась, вышел губернатор с двумя людьми и собрался вместе с ними уходить. Ей-Богу, мне бы и в голову не пришло вскакивать и преграждать ему путь, но он сам, увидев меня, поздоровался и спросил:

– Ко мне?

– К вам, – поднялся я.

– Ну заходи. Минут пять есть – хватит?

– Вполне.

В кабинете в пять минут всё и решилось. Вскоре писательской организации выделили деньги на стипендии-гранты и на издание сборника «Тамбовский писатель-2004». Правда, меньше, чем просилось-ожидалось, но всё же – начало было положено, первый поход с протянутой рукой не оказался провальным, и это весьма таки ободрило меня, прибавило сил и уверенности на будущее. И ещё с этого первого похода с протянутой рукой обозначились и вскоре отточились-сформировались два фундаментальных правила общения с этим в общем-то чужим чиновничьим миром:

1) Если хочешь добиться результата – пробивайся только к высшему начальнику, лично ему в руки вручай свою бумагу-прошение.

2) Проси всегда больше, чем требуется – обязательно дадут меньше просимого.

Сколько раз потом убеждался: пробьёшься с проблемой к губернатору, председателю Думы, мэру города, начальнику управления – вопрос более-менее решится и весьма быстро; попробуешь дело сделать с замом или, не дай Бог, завотделом – только время потеряешь...

Вообще скажу, общение с чиновниками – самый тяжкий груз для интеллигентного человека. Нет, встречались среди них и вполне *нормальные*, с *человеческим* взглядом, с которыми общаться и дела решать было одно удовольствие (вроде упоминаемого уже начальника областного управления культуры А.Н. Кузнецова – жаль, «ушли» его вскоре, понадобилось это место для *пухлого* чиновника), но в боль-

шинстве своём представители чиновничьего племени имели глаза стеклянные, взгляд сановный, мину при общении с посетителем-просителем брезгливую, мол, я дела государственной важности решаю, бюджет пилю, а ты тут со своими мелкими докуками...

Но не будем в эти дебри забредать и повторяться – со времён Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина мало что изменилось.

А общение с чиновниками становилось всё интенсивнее день ото дня. Ибо круг моих обязанностей и должностей, в силу обстоятельств, всё расширялся. Даже перечислить страшно: председатель Тамбовской писательской организации, секретарь Правления Союза писателей России, председатель правления регионального отделения Литфонда России, главный редактор «Тамбовского альманаха», директор, главный редактор, макетировщик и художественный редактор издательства Тамбовского отделения Литфонда, дизайнер, администратор писательского веб-сайта (который сам, своими руками и создал-построил), бухгалтер, курьер и даже – уборщик!.. Да, чтобы не тратиться на уборщицу, долгое время сам ежедневно подметал и раз в неделю мыл шваброй пол в писательском офисе. Само собой, запираясь при этом на ключ, дабы престиж председательский не губить...

И ведь не от жадности всё это взваливал на себя (эх, если б за каждую лямку хоть по минималке платили!) – по безжалостной необходимости, вынуждено. Ну вот, взять, к примеру, историю с Литфондом. Решили мы восстановить-зарегистрировать исчезнувшее в годы перестройки региональное отделение Литературного фонда, дабы через него решать все финансовые вопросы писательской организации. Один поэт попробовал себя в качестве председателя Литфонда, другой – ну не идут дела. В Москве, в правлении, мне подсказали: во многих областях председатели писательских организаций возглавляют и отделения Литфонда – не бойся, впрягайся, главное, найти толкового директора и бухгалтера, а ты будешь только координировать. И выделили на становление тридцать тысяч рублей. Решился, впрягся и даже директора нашёл-взял – пенсионера, бывшего преподавателя вуза, которого мне рекомендовали как делового мужика и

который за мизерную (пока!) зарплату согласился возглавить наш Литфонд, дабы вскоре уже озолотить писательскую организацию и себя самого. Бухгалтерию согласилась вести тоже пока на полставки бухгалтерша одной из газет Дома печати. *Сладкая парочка* тут же открыла в коммерческом банке зачем-то два счёта (а за открытие надо заплатить полторы тысячи и потом ежемесячно за обслуживание каждого отстёгивать по четыреста рублей!), начали они зарплату себе выписывать и получать. Ну ладно, бухгалтерша хотя бы отчёты в налоговые составляла и с банком дела вела, а пенсионер-директор ходил с важным видом и всё обещал: вот-вот чего-нибудь и придумаем. Через полгода сели мы с ним за стол, подвели итоги: в кассе кой-какие денежки появились, но только те, что я заработал в созданном мной издательстве, доходов от деятельности директора оказалось нуль, одни расходы на зарплату... Пришлось уволить со скандалом – ещё не хотел уходить, клялся, что исправится. Ну а с первой бухгалтершей и вовсе конфуз вышел. Уехал я как-то из города дней на десять, возвращаюсь, а меня типография за горло берёт: почему, дескать, оставшиеся десять тысяч за готовый альманах не платите? Я в непонятках: да как же, бухгалтер должна была неделю назад перевести вам на счёт, я её предупреждал! Кликнул финансистку нашу полуставочную, пытаться начал, что и как да почему? Смотрит девушка на меня голубыми глазищами и, не моргнув ими, поясняет: мол, последние эти десять тысяч из кассы себе взяла в качестве зарплаты – ей ведь уже задержали выплату за два месяца, да вперёд за два решила взять, чтобы в отпуск было с чем ехать...

Ну как с такой дальше было работать?

Следующая бухгалтерша, которую нашёл по объявлению в газете, была надомницей. Приезжала раз в неделю, забирала какие надо документы, дома с ними работала, потом привозила готовые результаты. Не очень удобно, но деваться некуда. Однако ж и эта бухгалтерская особь учудила: взяла и через три месяца исчезла. Буквально. На звонки отвечать перестала, а адреса её мы и не знали. Может, и случилось с ней чего, или уехала внезапно – не знаю, только с нею

пропала целая кипа бухгалтерских документов, кои пришлось потом с муками и скрежетом зубным восстанавливать.

В итоге я в очередной раз пришёл к здравому выводу: лучше всё делать самому, ни на кого не надеясь и ни от кого не завися. Пошёл в банк, один ненужный счёт закрыл, оформил на себя право подписи банковских операций, наведалься в налоговые службы, проконсультировался насчёт отчётов, со скрипом, с переделками и не с первого раза сдал один отчёт, второй, третий...

И Боже ж ты мой, сколько отчётов надо было готовить-сдавать, сколько бумаги, времени, компьютерных ресурсов и собственных сил на это тратить. За каждый выделенный или заработанный рубль надо было сдать отчёты в управление культуры, управление финансов, управление юстиции, налоговые органы, банк, ревизионную комиссию Литфонда, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, кроме того, отчитаться перед правлением своей организации и перед общим собранием... Мы с моим домашним компом, на котором я первые годы всё это делал, чуть с ума не сошли.

Это был тихий ужас!

* * *

Кто-то из читателей удивится: а когда же о творчестве речь пойдёт? Организация-то всё же творческая. Да, занимались мы и творчеством – писали и выпускали книги, издавали альманах, устраивали презентации, литературные вечера, отмечали юбилеи, встречались с читателями, проводили фестивали книги и чтения... Но вот запомнилось больше то, что как раз мешало всему этому творческому началу в работе, отнимало силы, время, буквально последние гроши. И, помимо чиновников с их скаредностью и давящей бумажно-отчётной волокитой, в ещё большей, может быть, степени – так называемая оппозиция, попросту говоря, обиженные, считающие, что председатель писательской организации их обделяет, принижает, недооценивает и мало воздаёт им почестей и наград. Причём как те, так и другие зачастую привлекали для мщенья, давления, порчи настроения лично

председателю и вставления палок в колёса всей организации угнетающую судебную систему.

Сначала по судам начали таскать меня бессовестные чиновники – то отчёт какой-то вовремя не сдал, то налог не доплатил, то какой-то закон об общественных организациях нарушил... Напрасно пытался я размягчить покрытые панцирем чиновничьи сердца, объяснить и разжалобить: мол, я не волшебник, я только учусь, простите на первый раз! Бесполезно – тащили в суд, а там уж всё по букве, всё автоматически: нарушил – плати штраф! Нечем – имущество опишем! Последние буквально гроши могли забрать...

Ну да хватит о чиновниках, пора вернуться к проблемам внутри писательской организации. Признаться, в моих ранних произведениях и даже позже, когда был уже принят в Союз писателей, но ещё пребывал в статусе, так сказать, рядового бойца, образы литоднополчан рисовались у меня почему-то весьма комическими и даже сатирическими красками. Вот хотя бы кусочек из романа «Алкаш» (1996):

«Впрочем, надо признать, писатели барановские в целом и общем люди неплохие. Они писали и пишут книжки, учат читателей жить и любить друг друга. Есть среди них свои герои *соцреалистического* труда, свои гении местного масштаба и свои графоманы чистой воды, есть детские писатели и взрослые, есть деревенщики и детективщики, поэты-философы и поэты-сатирики, есть, наконец, свои алкоголики и свои сумасшедшие...

Добавлю ещё, что с разгаром перестройки появились в барановской писательской организации и свои *коммуняки* и свои *дерьмократы*. Короче, всё как у людей – в Москве, Питере, Воронеже... И недостатки у барановских сочинителей тоже были неоригинальные. Неискренность в творчестве, к примеру, робость. Так, многих барановских прозаиков можно было сравнить с... Хемингуэем. В том смысле, в каком сказал однажды о соотечественнике и сопернике в литературе Фолкнер: мол, Хемингуэй робок в работе со словом – боится употребить его в необычном значении или контексте...

И каждому местному литератору-профи какой-нибудь существенный изъян мешал стать *настоящим* писателем: к примеру, Алевтинин владел словом, но совершенно не имел творческой фантазии и тянул из книги в книгу утомительно-воспоминательную тяготию о босоногом деревенском детстве; Савченко, напротив, умел ловко фантазировать, но кропал-писал совершенно суконным языком и газетным стилем; а вот Заскорузлычев имел и фантазию, и чувство языка, но каким-то чудом умудрялся писать тяжело, совершенно нечитабельно, *заскорузло*...

Ещё у барановских сочинителей поголовно проявлялась странная черта: они не читали друг друга. Никогда и ни под каким соусом! Я же, наоборот, прилежно просматривал всё, что выходило из-под перьев местных исаевых и проскуриных, убивая при этом двух зайцев: я подзарабатывал на рецензиях и учился одновременно – как *не надо* писать. И, увы, я убеждался зачастую, что барановские наши литераторы пренебрегают мудрой истиной: быть интересным – первая обязанность малоизвестного автора; право быть скучным принадлежит только писателям, которые уже прославились...»

И вот такая чудная и чудная метаморфоза приключилась со мной сразу после того, как возглавил я писательскую организацию. Я, можно сказать, возлюбил сразу и безоговорочно всех своих собратьев по перу. Ну, может, про «возлюбил» – это слишком категорично и громко, но факт: с первого дня председательства я сам себе сказал и другим потом пытался внушить и словом и делом, что для меня нет в нашей организации ни эллина ни иудея, ни гения ни графомана, ни любимчика ни изгоя – все равны. Вот именно, – как перед Богом. Я сразу начал твёрдо пресекать любые попытки в разговоре со мной обсудить за спиною и тем более осудить творчество того или иного собрата по перу. По моему предложению Правила приёма в СП были дополнены пунктом, по которому председатель не имел права давать рекомендации желающим вступить в союз. И на первом же собрании я этот свой постулат озвучил: для меня все члены нашей организации абсолютно равны. Если мы решили, к примеру, что каждому юбиляру

будем издавать к дате книгу, то именно каждый юбиляр, независимо от степени заслуг и таланта, а также от того, нравится он и его творчество мне лично, такой подарок получит. Если удастся пробить гранты-стипендии для писателей, их должны получать все в нашей организации...

Я, конечно, прекрасно сознавал, что не червонец и тем более не бакс-доллар – всем и каждому нравится не могу: и восемь, проголосовавших против меня, и кто-то из не принимавших участия в голосовании могут меня не любить – это их право. А моё право, вернее, обязанность, пока я возглавляю организацию, – опекать всех и каждого, делать всё для их блага и процветания. Звучит пафосно, но ведь и наивным я тогда человеком, вернее, писпредседателем был, что ж поделать. Я готов был в глотку вцепиться, на дуэль вызвать любого, кто говорил при мне плохое о тамбовской писательской организации вообще и каждом из её поэтов и прозаиков в частности. И вцеплялся, и вызывал – образно, конечно, говоря.

И, к слову, это ведь совсем не трудно, потому что как бы я ни иронизировал в прозе своей над сотоварищами по перу, не подсмеивался, но в глубине души, в своих основных мировоззренческих принципах я всегда знал, что любой самый завалающий, самый затрапезный писателишка всегда выше и значимее для мира, страны, своего региона и города любого самого сановного чиновника, любого доморощенного бизнесмена и тем более офисного планктона. Так что все дискуссии на темы нужны ли писатели городу (региону, стране) в таком количестве, столь ли уж необходима писательская организация и не разорит ли она бюджет города (области, страны) – кажутся мне подловатыми и недостойными участия в них...

Несмотря однако ж на мой общеприимительный, уравнительный и доброжелательный ко всем и каждому из писателей и членам литактива настрой, с первых же дней не очень большая, но весьма агрессивная кучка оппозиционеров домашней выпечки сплотилась вокруг добрейшего Александра Михайловича, который, увы, никак не мог пережить такой внезапной потери председательского «трона». Тут следует, вероятно, чуть углубиться в историю Тамбовской

писательской организации. Образована она была официально в 1960 году, и я стал шестым по счёту её руководителем. Первый ответственный секретарь (так тогда это называлось) прозаик Александр Стрыгин был у руля восемь лет и ушёл, по слухам, не по своей воле – место писательского вождя пришлось освободить для московской поэтессы М. Румянцевой, переехавшей на ПМЖ в Тамбов. Стрыгин вскоре даже уехал из родных мест в далёкий Краснодар, а Майя Александровна правила (и очень успешно) писорганризацией целых 12 лет (пока это рекорд), вплоть до смертельной болезни. В 1980-м к рулю встал её заместитель поэт Иван Кучин, руководивший организацией восемь лет и мирно ушедший на заслуженный отдых по болезни. Прозаик Виктор Герасин, избранный следующим, самый молодой (49 лет) и энергичный, казалось, пришёл руководить и проворачивать громадѐ писательских дел всерьѐз и надолго, но всего через пять лет, в 1993 году, добровольно сложил с себя обязанности вождя писательской организации, всё более хиреющей во времена буржуазно-криминального переворота в России, и ушёл на твёрдый оклад редактора городской газеты. И вот после него два срока правил писательской общиной Александр Акулинин. Худобедно костерок в печи писательского дома поддерживал и намерен был делать это и впредь до конца дней своих. Это, между прочим, вполне в духе времени: в иных соседних областях писвожди сидят в своих креслах по двадцать и более лет (тот же Владимир Молчанов в Белгороде уже четверть века!)...

Надо сказать, что иные из примкнувших к оппозиции в самом начале, априори, потом, спустя какое-то время, увидев и ощутив начавшиеся перемены в жизни писорганризации, вредничать перестали, но на смену им появлялись новые недовольные или обиженные, привлекаемые на так называемых «Литературных пятницах» в доме милейшего Александра Михайловича.

На что же обижались? Да вот, к примеру, как упоминал уже, на стипендии выделили нам сумму меньшую, чем просили. Получилось всего 19 грантов по 500 рублей, а писателей-то 33. Как делить? Была создана комиссия при администрации области, которая и выбирала

по результатам конкурса самых достойных кандидатов на стипендию. То есть пишешь, публикуешься, участвуешь активно в жизни писательской организации – все шансы есть получить грант. Какие обиды начались, какой шум поднялся, особенно со стороны тех, кто год был стипендиатом, а на другой выпал из счастливого списка. У-у-у, гад председатель, ты за что меня стипендии лишил?! Полетели кляузы в администрацию, Думу, управление культуры. Да это не я решаю, пытаюсь оправдываться, комиссия из пяти человек во главе с вице-губернатором... Бесплезно.

В конце концов я не выдержал, опять пробился к губернатору и слѐзно умолил добавить-увеличить количество грантов. Упросил – сделали 30 стипендий. Целых два года её получали практически все члены писательской организации, кроме «мѐртвых душ» (три писателя стояли у нас на учёте, но жили в столице или за границей – обычное дело). Увы, подключились на сей раз завистники из других творческих организаций (почему, мол, писателям стипендии, а художникам или артистам нет?), чиновники и депутаты начали менять положение о стипендиях, перекраивать его так и этак и в результате осталось на область 50 единовременных творческих грантов по сколько-то там тысяч, на которые могли претендовать и претендовали не только писатели (30 человек), художники (а их человек 60 и все они имели возможность зарабатывать и подрабатывать своей кистью), артисты (100 или более лицедеев, которые все получали зарплаты), но, допустим, преподаватели музыкального училища и даже чиновники от культуры...

Загубили, одним словом, благое дело!

Обижались, само собой, и крепко обижались на председателя писорганризации те, кому не удавалось с ходу попасть в её ряды. Тем более что ранее это было сделать довольно легко. Порой даже на собрании кандидата не обсуждали, только на бюро, куда, кроме председателя, входило ещё два-три человека. В результате за предыдущие десять лет организация увеличилась вдвое, и сразу надо сказать – в основном количественно, но отнюдь не качественно. Как уже упомянул, новое правление внесло некоторые уточнения, подсказанные

временем и практикой, в Правила приёма, и на общем собрании мы их обсудили-утвердили в новой редакции.

Теперь председатель в какой-то мере ограничивался в праве по-полнять организацию по своему усмотрению, значительно повышалась ответственность авторов рекомендаций и голосующих заочно. Ну, и очень важен пункт, затруднявший постановку на учёт в Тамбовском отделении СП тех прятких «писателей», которых дома прокатили на собрании, а они отправлялись напрямик в столицу, какими-то неведомыми путями-способами добывали там заветные писательские корочки, возвращались в родные недружелюбные пенаты, спокойно становились на учёт и вливались полноправными членами в писорганизацию, да ещё оказывались, как правило, самыми горластыми и недовольными. Я ещё предлагал дополнить в пункте первом строку о наличии трёх книг у кандидата примечанием, что хотя бы одна из книг должна быть издана не за счёт автора или спонсора, но тут меня сотоварищи не поддержали – тогда в Тамбове и принимать было бы некого...

Кому-то Правила и порядок приёма в СП казались чересчур жёсткими и сложными, я в ответ «успокаивал»: к примеру, защитить кандидатскую и тем более докторскую диссертацию намного труднее, сложнее и нервомотательнее, однако ж, гляньте, этих кандидатов и докторов в одной нашей области человек триста, а писателей-то всего тридцать...

Наши обновлённые правила начали действовать (и даже, можно сказать, чересчур жёстко) уже на первом «приёмном» собрании. Кандидатов было трое – все поэты, все мужики. Двое помоложе, один уж в возрасте. У каждого не менее трёх книг, изданных за свой счёт, имеются все рекомендации, какие надо, горячее желание влиться в наши ряды и продолжать творить-пополнять поэтическую библиотеку своими новыми книгами. Больше того, все трое уже удачно прошли обсуждение в правлении. Раньше проскочили бы без лишних разговоров. Теперь же при тайном голосовании ни один из них не набрал нужных двух третей голосов. Признаться, это даже для меня стало неожиданностью. По крайней мере один из трёх кандидатов, тот, ко-

торый в возрасте, был несомненно уже сложившимся поэтом, причём уже автором пяти, а то и шести сборников. Тем не менее все трое было рекомендовано не опускать руки, творить дальше и после издания следующей книги повторить попытку вступления...

И вот как по разному воспринимают люди один и тот же факт, одну и ту же ситуацию – в зависимости от характера, натуры, воспитания, степени ума и таланта. Все трое, естественно, результатами голосования огорчились (а кто бы не огорчился?), но те двое, что помоложе, ещё и озлобились. Причём обида-озлобленность их почему-то избрала вектор направления явно в адрес председателя: мол, это я не пущаю их в СП...

* * *

Недовольных оппозиционеров было явное меньшинство (в октябре 2008 года на очередном отчётно-выборном собрании за выдвижение меня на второй срок председательства проголосовали 90 процентов членов организации), но бузили они довольно активно и некоторые даже, как уже упоминал, грозили писательской организации и лично председателю судом. Однако ж чаще всего дело угрозам и заканчивалось. Грозители творцами были, может, и бездарными, но людьми всё же более-менее адекватными: понимали – только время, деньги и остатки репутации потеряют в судах. Но нервомотательные сутяжные волны накатили со стороны, откуда и ждаться не ждали – из литактива. Нашёлся один перец, явно не совсем здоровый, который взялся изводить и не только меня судебными тяжбами. Потом, правда, прояснилось, что за спиной его всё же стояли недовольные из писательской организации, которые подсуживали бедолагу, подсказывали ему темы для исков, помогали оформлять бумаги в суды...

Уже ближе к окончательному финалу своего председательства, когда нервы натянулись до звона, до предела, я опять не сдержался и уже по собственной инициативе накатал злой фельетон «Неадекватканье» про наши скорбные дела и вынес-выплеснул этот сор домашний на страницы центральной «Литературной газеты» (14 сентября 2011 г.)...

* * *

Впрочем, что ж мы всё о плохом да о плохом? Был же и хоть какой-то позитив! Чему-то же и я научился за эти десять лет...

Да, кое-чему научился, в том числе и тому, что мне и раньше не особо требовалось, да и теперь в оставшиеся годы жизни вряд ли пригодится.

К примеру – выступать-трибунствовать. А на настоящую или воображаемую трибуну за эти десять председательских лет приходилось выходить и произносить-толкать речи через день да каждый день. Собрания, конференции, юбилеи, литвечера, праздники, фестивали, презентации, бесчисленные культмероприятия городского и областного масштаба... И везде: «А сейчас слово предоставляется председателю писательской организации...» Хошь не хошь, надо встряхиваться, ломать свою натуру, ковылять к микрофону и чего-то там стараться не банального выдать (пысатэл же!), а перед этим ещё, готовясь, составлять-репетировать спич свой в голове – без бумажки же надо выступить, форс держать...

Ну каким ещё опытом обогатили меня десять председательских лет, какими знаниями? Научился-приспособился, как уже упоминал, с чиновниками общаться, грошовую матпомощь на писательскую организацию выпрашивать... Да нормальному человеку на кой хрен такой опыт вообще нужен! Освоил волею обстоятельств азы бухгалтерского дела, дебет-кредит, баланс-маланс составлять, банковский счёт вести, чеки, ведомости заполнять и отчёты в налоговые органы и всякие фонды составлять-стряпать? Да мне этот опыт до фени, бизнесом я и раньше не занимался, теперь и вовсе не собираюсь – мне и пенсии хватает...

Что же не вспоминается никак что-нибудь приятное?!

Во, вспомнил – навыки издательского дела! Вот то действительно ценное, что пополнило копилку моего житейского опыта. Мне всегда хотелось самому от и до сотворить-создать свою книгу...

Слава Богу, соблазна в те годы, когда меня ещё упорно не издавали, пробиваться к читателю в виде «самиздата» по примеру Николая Глазкова или «Метрополя» я избежал. Печатать-размножать

на пишмашинке свои творения в 5-10 бледных экземплярах, сшивать в брошюрки нитками или скрепками, рисовать самодельные обложки... Всё же несолидно. Но вот когда я вполне уже освоил компьютер и осознал его возможности, я с помощью программы Word создал, на принтере распечатал и степлером сброшюровал в виде книжечки рассказ «Перекрёсток». Всё честь по чести: обложка (правда чёрно-белая), титул, оборот титула с аннотацией, копирайтом и даже ISBN (из нулей), 12 страниц текста, выходные данные, портрет автора на задней обложке... Получилось симпатично.

Баловство баловством, но макетную эту пробу в 2003 году я взял за основу и соорудил опять же в Ворде уже настоящий макет своей книжки «Наша прекрасная страшная жизнь», которую писательская организация издавала к моему 50-летию, придумал оформление. В тамбовской типографии «Пролетарский светоч», где печаталась моя скромная книжица (небольшой формат, мягкая обложка, двести страничек), авторский макет (распечатку и файл на CD-диске) взяли, посмотрели, усмехнулись, объяснили, что в Ворде такие вещи не делаются, но обещали максимально близко к моему создать новый макет в своих специальных издательских программах. Так и получилось – книжка вышла один в один по моему макету (образцу). Вот я и считаю это своим вторым издательским блином. (Напомню, что первым был громадный макет тома «Достоевский: портрет через авторский текст» в университетском издательстве – только там, видимо, прямо с вордовского макета тираж и распечатали – благо, всего 67 экземпляров.)

Когда было решено восстановить Литфонд в Тамбове, опытные люди подсказали мне чудесную вещь – непременно внести в устав организации строку о праве на издательскую деятельность. Оказалось, что если такая строка имеется в уставе – можно создавать своё издательство без всякой регистрации и отдельных бумаг-документов, издавать брошюры и книги любыми тиражами и даже газеты-журналы, опять же без регистрации, если тираж их будет менее одной тысячи экземпляров... Ну да нам больше и не надо!

Когда все предварительные вопросы-проблемы были решены и пора было приступить непосредственно к запуску издательского процесса, я изучил расценки типографские и обнаружил, что издательский, так называемый, допечатный цикл (изготовление макета, попросту говоря) стоит ни много ни мало – 20 процентов общих затрат на книгу. Эге, сказал я сам себе, да с какой же стати мы будем из наших и без того скудных средств на издание книг отдавать-дарить типографии аж пятую часть. Да ведь не боги же программы издательские осваивают и макеты-вёрстки делают...

Короче, взялся по самоучителю доосваивать «Photoshop» («Фотошоп»), который в целом был уже мне знаком, и с азав разбираться в самой мощной на тот момент программе вёрстки «ПиджМейкер» («PageMaker»). А практический первый опыт набирал я, конструируя в этом сложном «Мейкере» сборник стихов юной поэтессочки из литактива, которая накопила денежек на третью свою книжку, решила издать её солидно, в переплёте (первые две были пробой пера, брошюрочки), и вот доверилась мне – старому дядьке, но, можно сказать, молодому (начинающему) издателю. До сих пор я искренне ей за это благодарен! Выиграли от альянса (мезальянса!) нашего мы оба. Девочка, пусть и с некоторой задержкой (понятно, что копался я долго, делал-перedelывал каждую страничку неоднократно), но получила красивую и вполне добротную изданную книжку, потратила на неё меньше, чем содрали бы с неё в других тамбовских издательствах, и бонусом обрела негласный титул «Автор самой первой изданной в Тамбовском писательском издательстве книжки». Я же действительно настолько освоил издательскую программу, делая-перedelывая и оформляя сборничек карманного формата в 4,5 издательских листа (180 страничек), что следом замахнулся сразу на супер-пупер книжищу, коллективный сборник «Тамбовский писатель-2004» – фолиант в переплёте на 640 страниц! Даже сейчас, глядя на него, я сам себе не верю, что решился тогда взяться за этот грандиозный макет и сотворил его!..

И дела пошли. За девять лет, что издательство существовало, было выпущено 135 книг, как за счёт бюджета, так и на деньги

самих авторов. Реальное финансовое подспорье как для организации в целом, так и для поддержания штанов председателя-издателя – вскоре после избрания писвождём мне пришлось уволиться из университетского издательства, где подрабатывал я редактором долгие годы. Управление культуры, как уже упоминалось, подкидывало правдами и неправдами минимальный оклад председателю писорганизации, но, вот именно, – минимальный из минимальных, на который прожить в наши времена дикого капитализма и кусачих цен было нереально. Итак, после расчётов с типографией (а её аппетиты год от года росли неудержимо), после выплат вознаграждения редактору и корректору, после затрат на расходные материалы (бумага, картриджи для принтера, диски) от каждого проекта какая-то сумма оставалась в кассе организации. На это и выживали. Из бюджета деньги нам выделялись (в рамках конкурса общественных организаций на получение субсидий) ближе к осени, а то и поздней осенью и истратить их надо было до копейки и отчитаться за них до нового года, так что порой полгода или больше только издательство и спасало... Какая-то книжка приносила тыщу, какая-то – тысяч пять.

Увы, признаться, приходилось иногда, так сказать, *поступаться принципами*. Иной раз, когда в кассе организации пусто, а надо оплачивать счета за телефон, Интернет, покупать венок на очередные похороны или срочно оплатить какой-то штраф – невольно и априори рад любому автору-заказчику, пожелавшему издать сборник стихов за свои деньги. Только молишь Бога, чтоб принесённая им рукопись не оказалась уж совсем макулатурой. Однако ж бывали случаи, когда совершенно слабый, но самонадеянный автор вдруг начинал спорить, не соглашаться с редакторской правкой, наотрез отказывался доводить до более-менее приемлемого уровня свои стихотворные опусы – скрепя сердце я возвращал ему уплаченный аванс (за вычетом уже понесённых расходов), его дурацкую рукопись и предлагал отправляться в другое издательство – тем паче, в Тамбове доморощенных издательских лавочек, не предъявляющих больших требований к авторам, развелось как плесени.

Одно утешение, что все эти книжечки доморощенных пиитов издавались, как правило, небольшим тиражом в 100–300 экземпляров, без обязательной рассылки (на ISBN эти авторы сэкономили), и никто и никогда, кроме самих рифмоплётов и их родных-близких, сборники эти не читал и читать не собирается.

Зато стоят сейчас на полках шестнадцати крупнейших книгохранилищ страны и многих библиотек Тамбовщины однотомник «Тамбовский писатель-2004» и двухтомник «Тамбовский писатель-2009», сборники «Тамбовский рассказ» и «Дети Солнца», томики серии «Поэтический Тамбов» и серии «Издание книг тамбовских авторов для библиотек области», книжки для детей Марины Гусевой «Я шагаю по тропинке» и Михаила Гришина «Приключения Витьки Картошкина», «Дорога жизни» Валентины Дорожкиной и «Избранное» Валерия Кудрина, поэтические сборники мэтров Ивана Акулова и Александра Макарова, молодых Марии Знобищевой и Елены Луканкиной... Да немало и других изданий, за которые мне как издателю, опять же, не стыдно. Выпустил я в писательском издательстве за десять лет и один свой томик прозы «Рано иль поздно», к 60-летию, как раз в рамках программы издания книг для библиотек области. За него мне (и как автору, и как издателю) уж точно не стыдно – вот фиг вам! (Это я всё тем же недоброжелателям-завистникам.)

Ну и отдельная песня – «Тамбовский альманах».

Когда-то в романе «Алкаш» я пофантазировал, что и как бы я делал, если б стал вдруг редактором журнала. Там главному герою поэту и журналисту Вадиму Неустроеву (моему альтер-эго) предложили возглавить журнал «Квазар», который задумали издавать в провинциальном городе Баранове (сиречь Тамбове). И есть любопытный абзац, который стоит привести дословно:

«Не откладывая, я запустил письма по стране – Косте Рябенькому в Тверь, ещё двум-трём вээлкашникам, способным дать в журнал ВЕЩЬ. Я даже пошёл на авантюру и отправил запрос-просьбу на Енисей Астафьеву: так и так, мол, Виктор Петрович, новый российский журнал рождается – поддержите! Хоть полстранички, одну из малю-ю-юсеньких «Затесей»... Я не надеялся, что из одной лишь

местной литпродукции можно собрать-выпечь ХОРОШИЙ увлекательный журнал...»

Напомню, я в те годы был литературно-тамбовским антипатриотом, можно даже сказать, литкосмополитом. Но вот спустя несколько лет, став писвождём местного розлива и затеяв «Тамбовский альманах», я заделался таким радикальным патриотом, что решил составлять его только и непременно из творений авторов, живущих на Тамбовщине или имеющих к ней какое-либо отношение. И это стало главным отличием «ТА» от других региональных изданий, которые наперегонки спешат, как романый «Квазар», завлечь читателей громкими именами со стороны. Нет, сказал я членам правления (они же суть члены редколлегии), на деньги из тамбовского бюджета мы будем издавать альманах не только для тамбовских читателей, но, в первую и главную очередь, альманах тамбовских писателей. И, в общем, все двенадцать вышедших номеров это кредо подтверждают: да, это именно и непреложно – «ТАМБОВСКИЙ альманах». Кому это не нравилось, я советовал читать «Подъём», «Волгу», «Урал», а ещё лучше – «Наш современник» или «Москву»...

Но даже в тех фантазиях, когда писал «Алкаша», я и подумать-вообразить не мог, что можно быть не только редактором, но и в полном смысле – АВТОРОМ издания по типу толстого журнала. Да, «Тамбовский альманах» – АВТОРСКОЕ издание. То есть я не только определял содержание каждого номера, не только подбирал-отбирал тексты для публикации, но сам от и до делал-изготавливал в компьютере макет и оформление каждого выпуска. В типографию я сдавал распечатку макета номера и файл PDF на флешке, там оставалось только распечатать тираж в количестве 600 экземпляров. К слову, тиражом тоже можно гордиться: для небольшой области – это более чем. К примеру, «Подъём», журнал Центрального Черноземья (5 областей), или даже столичный толстяк «Октябрь», издающийся на всю необъятную Россию, имеют в наши славные времена тираж в 1 (одну) тысячу экземпляров...

Издательство в целом и «Тамбовский альманах» – самое светлое в воспоминаниях о десяти годах писательского председательства. Силы и желания нести этот крест дальше год от года истоньшались-таяли. Доставали и всё больше мешали работать наши непризнан-

ные гении. Особливо две особи, ражий мужик-пиит и тихая на вид старушка-пиитесска, испражнялись злобой и пустыми обидами. Да и непрерывная борьба с чиновниками, с ведомствами, с нехваткой средств, с наплевательским отношением к литературе и писателям со стороны властей предрержащих – достали уже до не могу...

Каплей, переполнившей чашу моего терпения, стало то, что у писательской организации отобрали последний кабинет в Доме печати, который она занимала 35 лет, ибо весь шестой этаж администрация области решила забрать под управление то ли дорог, то ли оврагов области. Сначала нас выселили в кабинетишко этажом ниже, а затем и вовсе вышвырнули на улицу из Дома печати, который советская власть в своё время построила как раз для редакций газет и писательской организации...

На отчётно-выборном собрании 3 октября 2013 года, день в день через десять лет после избрания меня вождём тамбовской писательской братии, я категорически и даже, можно сказать, истерически (пытались уговаривать) отказался идти на третий срок и – получил свободу...

* * *

Иной дотошный читатель, увидев, что глава эта уже заканчивается, может в недоумении воскликнуть-спросить: да когда же наконец автор расскажет о роли Москвы, центра, правления СПР в жизни Тамбовского регионального отделения? Отвечу на это обтекаемо. Вспомните историю с романом «Молодая гвардия» А. Фадеева. Когда был опубликован первый вариант, автора строго спросили: а где же у вас в романе руководящая и направляющая роль Коммунистической партии?! Напуганный автор бросился дорабатывать книгу, добавлять в неё небылиц, домысливать, чем несомненно её только испортил...

Нет, Москва, конечно, в чём-то и чем-то помогала бедному провинциальному писателю, но больше морально, чем материально и практически. В столице литературные люди сами озабочены проблемами выживания и борьбой с внутренней оппозиций.

Но это уж совсем другая история...



Евстахий НАЧАС

Морозная в округе тишина

Стихи

* * *

Делит нас земля, а перед небом
все мы одинаково равны.
ранний месяц, как краюха хлеба,
засветился с южной стороны.

Вся она затянута перкалью
низких сыроватых облаков,
ветры их прицнинские соткали
из туманов, плывших над рекой.

Я молюсь о том, что небо вижу,
рядом с храмом я живу в селе.
Чем к высотам горним мы поближе,
тем родней друг другу на земле.

* * *

Морозная в округе тишина,
лишь снег хрустит, шаги мои считая,
мне кажется, что каждая сосна
все мои мысли про себя читает.

А вот одна – причудливый портал
в другое время, в жизнь совсем иную,
но там никто из близких не бывал,
с кем до сих пор делю судьбу земную.

Прости, сосна, я тоже не смогу
уйти туда, где, может, всё чудесней –
мне по душе сосновый бор в снегу,
где никому и никогда не тесно!

Молюсь Христу за то, что даровал
высоких крон хрустальные узоры,
что открываю каждый день портал –
калитку деревянную в заборе.

* * *

Я в самоизоляции, в местах,
Где мы с тобой встречали каждый вечер,
Где нежно обнимал тебя за плечи,
Где в небеса смотрели мы с моста.
По Млечному Пути вода текла,
Но над Мошляйкой жизнь остановилась:
Добрался и сюда коронавирус
И липнет, как горячая смола.
Нам дочка навезла с тобой еды,
Она, как ангел, нас оберегает.

Я знаю, что наступит жизнь другая,
Не станет в мире вирусной беды.
Не будет дезинфекции дорог,
Друг друга перестанем все бояться,
А будем, улыбаясь, обниматься...
Каким всё будет, знает только Бог!

* * *

«А завтра быть чему, то будет».

Фёдор Тютчев

В открытую твердят все о войне,
и это будет третья мировая.
Подснежников хрустальный свет весне
не прозвенит, с росой густой играя.

А если прозвенит, то лишь для тех,
кто в ядерном аду спасётся чудом.
Убежища принять не смогут всех,
поскольку сладить их нельзя повсюду...

Моя тревога, может быть, грешна,
но не могу никак с собой поладить.
Лежит в траве сентябрьской тишина,
как внуков, я хочу её погладить.

Своею болью с ними не делюсь –
никто меня за это не осудит.
Живу, надеюсь, как могу тружусь,
а что поделать: будет то, что будет!

* * *

Молитесь, просите и кайтесь,
земля почернела окрест.
От прошлого не отрекайтесь,
прошлое – это наш крест.
Просите, чтоб Бог не оставил
наш мир без опеки святой,
чтоб хуже, чем были, не стали,
чтоб были людьми, не толпой.
Чтоб шли мы не по наклонной,
чтоб вьюги нас не замели,
чтоб каялись только с поклоном
и лбами касались земли!

* * *

Деревья разговаривают с небом
на только им понятном языке.
Октябрь забросил разноцветный невод,
и он завис на каждом стебельке.
На каждой ещё жизненной травинке,
на каждой кочке в поле и в лесу...
И в невод попадают все искринки,
что вспыхивали прямо на вису.
Они горят по-прежнему, не тлеют,
к последнему приникнув рубежу...
Я в каждую тамбовскую аллею
как будто в свет небесный захожу.
И чудится – я говорю со светом,
я позабыть сумел земной содом.
Октябрь – пора прощанья с близким летом
и время, чтобы вспомнить о былом.
Там каждая берёза, как жар-птица,
которую нашёл, но не настиг.

И каждый лист кленовый, как десница,
тебя перекрестившая на миг.
И падал снег на золотые кроны,
и в ранний час роддом был на замке.
Но ты в окне стояла, как мадонна
с младенцем – нашей дочкой – на руке.

* * *

«С чудным именем Глазкова
Я родился в пьянваре»...
«Я всё ещё стою под Сталинградом,
А мне необходимо взять рейхстаг!»

Николай Глазков

С чудным именем Глазкова
он не просто жил, творил
и по улицам Тамбова
в сентябре не раз кружил.
Где ронял под ноги блики
золотистый листопад,
он считал себя великим,
хоть дела не шли на лад.
Лужи – мутные преграды –
вброд пластал в любых местах.
Как поэт был в Сталинграде,
чтобы позже взять рейхстаг.
Фильм «Андрей Рублёв» по праву
наши души озарил,
в нём, не пряча глаз лукавых,
Николай Глазков парил.
Ведь в России колокольни
дарят веру в высоту,

только людям падать больно –
крылья лишь у птиц растут!
Так Глазков справлялся с болью
как летающий мужик,
чтобы быть самим собою –
он сдаваться не привык.
Для поэтов крылья – книги,
им замены просто нет,
чтоб, расстроив все интриги,
Написать «Автопортрет»*.
Улыбаться хитровато,
слыть в столице мудрецом,
стать отцом самоиздата,
кстати, крёстным стать отцом.
И нести зимой и летом
по Арбату свою грусть,
чтоб советские поэты
Тебя знали наизусть.
Был Глазков порой обманут,
втянут был в игру стихий,
чаще всех в Тамбове НАНу**
посвящал акrostихи.
В Дом Ладыгина богемный
приезжал, как в свой родной.
В беспокойной жизни брэнной
он покой искал над Цной.
Там, где остров Эльдорадо
прятал солнышко в кустах...
Вёл бои под Сталинградом,
а потом взял свой рейхстаг!

*«Автопортрет» – поэтический сборник Н. Глазкова

** НАН – тамбовский краевед Николай Алексеевич Никифоров

* * *

Сентябрьский ветер резкий и неловкий
из запада на сосны налетел,
с высоких крон посыпались иголки
в траву и мох, на вереск, чистотел.
Костёр кленовый без огня и дыма
мне душу греет солнечным теплом,
листвы кленовой свет неповторимый,
ещё он здесь, но он уже в былом.
Хвоинки золотистые на тропки
затейливый просыпали узор,
у листопада век всегда короткий,
зато красив всегда сосновый бор.
От всех кустов, от всех деревьев тени,
куда ни глянь, везде переплелись,
моя душа по ним, как по ступеням,
с какой-то грустью всё уходит ввысь.
Кресты сияют на Успенском храме,
лазурные сияют купола,
и Матерь Божия повсюду с нами,
пока звенят в селе колокола.
Пока иголки-колки бор роняет
и листик клёна – как благая весть,
я как слова молитвы повторяю:
– На этом свете счастье в жизни есть!





Александра НИКОЛАЕВА

«Напишите из камня роман...»

Стихи

* * *

Великое чудо! Душа, умирая,
Отправится к Богу в единственный дом.
И, может быть, в память о дантовом Рае
Ждёт ангел поэта на небе седьмом.

Его обитатели праведным светом
Окутаны. За монастырской стеной
Легко созерцателем-анакоретом
К спасенью прийти по дороге земной.

Почти не доступны для грешного взора
Их лики – от солнца страдают глаза,
Мелеют моря, осыпаются горы
И гибнет в жару винограда лоза.

Способен лишь краткое время Создатель
Пречистой душою рассеивать тьму.
Не так ли несчастен поэт-созерцатель,
Когда его мир не открыт никому?

В такие минуты он просто блаженный,
Ребёнок, утративший веру в мечту,
Покинутый Богом в огромной Вселенной
Стихами наполнить её красоту.

Собор

Напишите из камня роман,
Философский роман-эпопею.
Вы родились, месье Монферран,
Архитектором и чародеем.

Величайший из всех фантазёр,
Вдохновение трепетной птицей
Отпустите, и вечный собор
Вознесётся в имперской столице.

Он мечта. Он спасенье в аду.
На войне вдалеке от России,
Тяжко раненый, в жарком бреду,
Вы собор увидели впервые.

И пока удивительный сон
Не окончился выздоровленьем,
Сорок восемь пурпурных колонн
Оставались для Вас наважденьем.

Сочиняйте, творец, не боясь
Ошибиться в работе любимой,
Колоколен ажурную вязь,
Мощный купол из Древнего Рима.

Для наветов, интриг, клеветы
Так легко отыскать оправданье,
Но художника мысли чисты
И душа – в светозарном молчанье.

Дописать до финала роман,
Притчу в камне сумеет не всякий.
Ваше дело, месье Монферран,
Защищает святой Исаакий.

* * *

Когда весна ушла на карантин,
Земля и небо потеряли краски.
На улицу в соседний магазин
Нельзя прийти без медицинской маски.

Здороваться за руку, обнимать –
Движения, запретные для тела,
А для души мучительным пределом
Недавно стали кресло и кровать.

В предвидении Страшного суда
Закрыла эпидемия границы.
В Европе опустели города,
И вслед за ними – русская столица.

Что делать? В Интернете на дому
Забиться? С другом убежать на дачу?
(Хороший способ одолеть чуму
В «Декамероне» завещал Бокаччо).

В моём Тамбове не читают СМИ:
Кому нужны пугливые статейки?
Гуляют в парке бабушки с детьми,
Целуются подростки на скамейке.

И я сама у мостика над Цной
С природою назначила свиданье...
Такое безрассудство лишь весной
Имеет право на существованье.

Подснежники

Душа залечивает раны
Непредсказуемой весной.
Я в марте встретила (так рано!)
Подснежники в тиши лесной.

Они цветут, напоминая,
Что есть заблудшие сердца,
Но даже изгнанных из рая
Ждёт милосердие Отца.

Забыл Господь о страшном гневе
От непослушных чад вдали,
И слёзы кающейся Евы
Сквозь вечный холод проросли.

И так зимою престарелой
Нисходит чудо наяву
На чернозём обледенелый
И полумёртвую листву.

Причастна светлой благодатью,
Я радуюсь издалека
Небесно-голубому платью
На хрупком стебельке цветка.

Два города

Два города на улице одной
Нерадостно соседствуют друг с другом:
Пространства, разделённые стеной,
Как прежде – мир дворянства и прислуги.

Безжалостны истории шаги,
Вначале не заметные для глаза
Простых людей... Так лютая проказа
Берёт больного до конца в тиски.

Сто лет хранит особенный уют
Тамбова полусельского ровесник,
И, кажется, прабабушкины песни
Зимою ставни в доме том поют.

А позади над улицей растёт
Безликая фигура небоскрёба,
Стального и уродливого гроба,
Чтоб разорвать на части небосвод.

Два мира меж собой не говорят,
Не станет слушать ни один другого...
И только снег над городом Тамбовом
Идёт, как будто сотню лет назад.

Державин

Осенним утром, позабыв истому
Подушек и пуховых одеял,
В саду у губернаторского дома
Его Превосходительство гулял.

Потом спускался по крутому склону
К студёной и стремительной реке
Тамбовщины правитель просвещённый,
Чужой в провинциальном городке.

Мирская власть – мучительная ноша
Служителю небесной красоты,
Поэту и сановному вельможе,
Наследнику воинственной Орды.

За труд великий царскую награду
Ему приуготовил демиург:
Чиновных лис – льстецов и казнокрадов –
Интриги и доносы в Петербург.

Слепой Фортуны баловень опальный
Уедет из Тамбова навсегда...
А он мечтал со сцены театральной
Вас приобщить к искусству, господа!

Для вас он создал первую газету,
Губернское училище открыл.
...Но даже гениальному поэту
На битвы эти не достанет сил.

Нет, не был счастлив никогда наместник,
Покинув ради суеты земной
Своё перо, ямбические песни
И преданность Поэзии одной.

Победа

Весною сорок пятого само
Цветение природы было внове.
Но, даже сбросив адское ярмо,
Мир помнил о прошедшей катастрофе.

В такие дни в советских городах,
Поднятых из руин дыханьем мая,
Шла женщина в платке немолодая
С букетом первых ландышей в руках.

Благую Весть несла она с собой
На землю, что казалась белым садом,
В госпиталя к израненным солдатам
И жёнам их на службе заводской.

В квартиры к одиноким старикам,
Веснушчатым мальчишкам у подъезда...
И в их сердцах не оставалось места
Иным, а только радостным слезам.

Страна отдохновения ждала,
Как ждут во мраке солнца и рассвета...
Шла женщина, которая была
Великой и Единственной Победой.

* * *

Стихи – моё мучение,
Болезнь души моей.
Стихи – моё спасение
От одиноких дней.

Стихи – моё желание
Быть нужной и живой,
Молитва, покаяние,
Победа над собой.

Но чаще – поражение,
Паденье с высоты,
Когда пера движения
Так мелки и пусты.

Но я ищу погибели,
В ней истинная жизнь...
Стихи – одна религия
Язычницы-души.





Лидия ПЕРЦЕВА

Звонаръ звонил

Стихи

О творчестве

Гордыня, гордость и тщеславье –
Не вы ли движете пером?
Тогда молю я, Бога славя,
Не посещай строкой мой дом.

Скрепи уста печатью, руки,
Чтоб ни сказать ни написать,
Минуют творческие муки,
Молиться буду и молчать.

Но если вдруг души порывом
Заставлю сердце трепетать –
Я снова сделаюсь счастливой
И буду вновь писать, писать...

Аллея любви

Я иду по аллее тенистой
В лепестках увядающих роз.
Путь, обласканный памятью чистой,
Поцелуями плачущих рос.

Окропили они ли, заря ли
Обронила сквозь кроны рассвет,
Вновь и вновь вспоминаю в печали
Ваш оставленный розовый след.

Вы, бывало, бродили часами
В аромате деревьев и кустов.
Я безмолвно шагал рядом с вами,
Бесконечно вас слушать готов.

Ветер дул, или белые вьюги
Изменили окрас лепестков,
Но забвенья коварные слуги
Не смели из аллеи любовь.

Погубленная любовь

Улицы все заметает снегами,
Вьюжит и вьюжит метель.
Что-то случилось сейчас между нами...
Двери сорвало с петель.

Окна захлопали ставней ушами,
Свет просигналил беду.
Что-то случилось сегодня меж нами...
– Знаешь, сейчас я уйду.

Печь загудит, заискрит головешкой,
Жар сизым дымом в трубу.
– Если уходишь, – иди, и не мешкай,
Через пустую избу...

Жалобно вслед проскрипят половицы,
Треснет доска у крыльца,
Небо своею незримой десницей
Бросит завесу свинца.

Я завернусь в полушубок метели,
Скроюсь за призрачной мглой.
Может, всё зимние ветры напели?
Но не гонись ты за мной.

Пёс заскулил, словно в доме покойник,
Выгнулась дерева бровь,
Выдоив души в бездонный подойник –
Мы погубили любовь...

Деревенская зарисовка

Задождило, окна плачут
За оконным за стеклом.
Подспела осень, значит,
Приуныл и отчий дом.

Посерел и стиснул зубы –
Не протёк бы потолок.
Конюх сено, сноп соломы
На конюшню поволок.

Ведь кобыла – дождь ли, ведро –
В стойле стой, да жуй, да ешь,
Чтоб назавтра снова бодро
Косарей везти за лес.

На луга, где сочны травы,
В человечесий вышли рост
На покос, нечасто правый
Жаркий день сулил прогноз.

Звонарь звонил

Язык тяжёлый, в беге несвободный,
По телу колокола бил и бил,
И перезвон мелодики Господней
Над куполами храмов плыл и плыл.
Звонарь звонил.

Зазвонный зов далёких наших предков
Весь растворялся где-то в глубине.
Он отражался эхом в каждой клетке,
Волной нахлынув, ликовал во мне.
Звонарь звонил.

От тех извечных, памятных всем, звонов
Вся нечисть гибла, рассыпаясь в прах,
И оседала в мрак подземных стонов.
Торжествовали звоны, ад поправ.
Звонарь звонил.

Звонарь уже давно лишён был слуха,
От глухоты нимало не страдал –
По памяти звонил он силой духа,
И колокол по-разному взывал.
Звонарь звонил.

Во время бедствия, нашествий супостата
Набат гудел над Русью, как всегда,
Его призывам каждый верил свято –
Всех собирал, подъявля на врага.
Звонарь звонил.

Пришла война, порог переступила,
Враг, крадучись, в предместье входил.
Но тишину взорвав, вдруг огласило
Рыданье звонов – то звонарь звонил.
Звонарь звонил.

Его сразили снайперские пули,
Горячей кровью обагрив лоб,
А в двух руках зажаты смертью были
Живые нервы колокольных строп.
Звонарь звонил.

Без чувств упав на стремненные нити,
Так, не разжав окоченевших рук,
И всё звонил: «Врага громите,
За Бога, Русь – вставайте все вокруг».
Звонарь звонил.

Соборный гул погласицы мятежной
Ввысь поднимался, таял в облаках,
Хор ангелов, возвышенно-безбрежный,
Пел звонарю «за упокой» в веках.

Стучит Господь

Чу, в двери стук: «Отверзи Мне!
Я твой Господь, и в тишине,
Чтоб в твой молитвенный настрой
Войти, ты двери Мне открой!»

Но спит душа, не пробудить,
Легко ей в лености почить.
С закрытой дверью будет жить,
Невозмогу ей дверь открыть.

А Бог стучится день от дня:
«Когда жепустишь ты Меня?
В твоём жилище сор и смрад.
Тебе помочь Я был бы рад.

Всё ожидаю день от дня,
Найдёшь ли время для Меня?»
Не устаёт Господь стучать,
Да не спешим мы отвечать.

Связь с небом мы в душе храним,
Но не живём в согласье с ним,
Не понуждаем день от дня
Внять зову: «Жду. Впусти Меня!»

Откровение

Ты слишком много дал мне, Боже,
Чтоб я осилила снести.
Ещё сомненье душу гложет –
За всё ответ должна нести?

Я цепенею вмиг от страха –
Как отвечать мне на Суде?
От пота взмокла вся рубаха –
Чем оправдаюсь я Тебе?

Моих трудов листы пустые,
Деревья, дом, дитя, цветы,
Удачи редкие, скупые –
И что ж тогда ответишь Ты?

Но пощади... Ведь не напрасно
Глаз не смыкала я в ночи.
Суди, хотя и так всё ясно,
Вслух приговор не огласи...

Приговорённая по жизни
Стихами сердце надорвать,
Петь для народа, для Отчизны –
Высокопарно, коль сказать...

Уже судима я публично
За неумелый дар пера.
Не Ты ли, Господи, Сам лично
Его вручил ещё вчера?

Достичь триумфа не сумела,
По пустякам растратив пыл,
Уж лучше бы простое дело
Ты при рожденьи мне вручил...

Грешу – не надо мне иного,
За ропот – слов не отнимай,
А лучше дай мне Силу Слова
Воспеть в стихах родимый край.

И пусть печально всё на свете,
Но всё же радостно как жить!
И людям откровенья эти
Строкой бегущей обронить.

Напевно, хоть и неискусно,
Слух чей-то рифмой усладить.
И в час, когда бывает грустно,
Бокал поэзии испить!





Лариса ПОЛЯКОВА

Творческая индивидуальность А.П. Чехова в системе художественных координат

(К юбилею русского классика)

Самое время сказать, что нам сегодня ощутимо не хватает интеллигентов с «просвещённым и научно-дисциплинированным умом, мыслящим критически и рационально»¹, как охарактеризовал чеховский интеллект Д.Н. Овсяннико-Куликовский. Нам не хватает таких деятелей культуры, как А.П. Чехов (1860–1904), личность которого отмечена значимым общественным и гражданским неравнодушием, выраженным, конечно, не только в принципиальной позиции писателя по делу Дрейфуса, отказе от звания Почётного академика одновременно с В.Г. Короленко в 1902 году в знак протеста против отмены Николаем II избрания Почётным академиком М. Горького, а также в защите А.В. Амфитеатрова, высланного за фельетон, на страницах которого высмеивалась династия Романовых, или в строительстве школ для крестьянских детей в Мелихове. Одним из самых ярких поступков Чехова-гражданина, граничащих с героизмом, была поездка

¹ Овсяннико-Куликовский Д.Н. История русской интеллигенции // Собр. соч.: в 3 т. Ч. 3. СПб., 1911. С. 59.

в 1890 году на остров Сахалин, о котором сам он писал как о «месте невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный»¹. Туда Чехов поехал не как художник, а как исследователь, «врач» и «диагност» народной жизни в условиях каторги и ссылки. Свои впечатления Чехов изложил в книге «Остров Сахалин» (1891–1894).

Нам не хватает и по-чеховски великих художников, которые ныне, во времена смены духовно-нравственной парадигмы жизни общества, могли бы в полный голос сказать так, как сказал чеховский герой «Рассказа старшего садовника» (1894) Михаил Карлович, образованный, «умный, очень добрый, всеми уважаемый человек»: «Веровать в бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа»².

В наши дни личность и наследие А.П. Чехова, как магический кристалл, определяет вектор развития и литературоведческой науки, и в целом гуманитарного знания. Сегодня у нас утеряна университетская традиция, придерживаясь которой профессора считали целесообразным открывать историко-литературный курс с освещения предмета и задач литературоведения. Так поступали А.Н. Веселовский, Н.С. Тихонравов, А.Н. Пыпин, В.В. Сиповский... Как правило, эти вступительные лекции публиковались отдельно, им придавалось особое значение: они организовывали, дисциплинировали и активизировали теоретическое мышление молодых филологов.

Исчезновение университетской традиции во многом обусловлено тем, что сегодня и невозможно предвдвять историко-литературные курсы вводным экскурсом в литературоведение: существует колоссальный разрыв, обособленность теории и истории литературы. Сегодня у истории литературы как отрасли литературоведческой науки как будто бы исчез «хребет»: всё в ней зыбко, неопределённо, приблизительно и бесконечно спорно. Теоретическая оснастка литературной

¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. Т. 15. М., 1949. С. 29.

² Чехов А.П. Собр. соч.: в 12 т. Т. 8. М., 1985. С. 298. Далее, кроме специально оговорённых случаев, цит. это издание с указанием тома и страницы.

истории давно нуждается в капитальном ремонте. Эту ситуацию в историко-литературной науке особенно наглядно продемонстрировали дискуссии 1990-х годов на страницах «Вопросов литературы», когда даже само ключевое понятие «история литературы» лишилось более или менее зримых очертаний¹.

Речь, конечно, идёт не только о теоретической основе истории литературы, но и в целом о современном состоянии отечественного литературоведения. В наши дни оно, как представляется, способно лишь очаровать. Избыток разрозненных идей, формул, определений, оценок; пестрота, разноцветье понятий и терминов на страницах литературоведческих монографий, статей, докладов, учебных пособий – всё напоминает фонтан: красиво, но малопродуктивно. В теоретических системах творческих методов, жанров, стилей, в исследовательской методологии отсутствуют надёжные скрепы и опоры. А когда задумываешься о причинах, главная из них видится в том, что в последние пятнадцать лет вместо «теория в кризисе, и её надо спасать» был провозглашён лозунг, претендующий на «смену вех», – «теория есть зло, и её надо разрушить». Вместе с методологией методично разрушались подходы, границы, традиции, почва. Словом, достижения. И достижения не только, конечно, за предшествующие десятилетия, но и столетия. Нужен, например, профессиональный поступок, чтобы в связи с художественной литературой в наши дни употребить понятие «народность», которым В.Г. Белинский, а к концу XIX века и Д.С. Мережковский, характеризовали открытия литературы «золотого века». А ведь насколько дальновиден был В.Г. Белинский, дифференцируя литературные таланты и их направленность. Талант Чехова бесспорно народен.

Каждая эпоха прочитывает классику по-своему, расставляет свои акценты. Это вопрос о функциональной роли искусства. Великая национальная классика неисчерпаема по своему нравственно-философскому потенциалу. В наше время, когда в литературоведении, в

¹ См.: Вопросы лит. 1987. № 9; 1988. № 6; 1989. № 2; 1996. № 3; 1997. № 2; 1998. № 1, 3, а также монографию: Полякова Л.В. Теоретические и методологические аспекты истории русской литературы XX–XXI веков. Тамбов, 2007. С. 3–24.

гуманитаристике в целом, укореняется процесс формализации научного знания, воспринимаю как профессиональный поступок учебник Воронежского университета «Русская литературная классика XIX века»¹: на его страницах расставлены такие акценты, которые должны звучать не только в студенческих аудиториях, но и в дискуссиях профессионалов, – о человеке, его общественном статусе и предназначении. В учебном пособии сделан акцент на том, что место русской литературы XIX века в мировой культуре, начавшееся с постулата Пушкина «Самостоянье человека – залог величия его», определяется как век личности, век борьбы за личность, за человека. «Основную мысль всего искусства девятнадцатого столетия» Ф.М. Достоевский сформулировал как «восстановление погибшего человека», задавленного несправедливо гнётом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков», «оправдание униженных и всеми отринутых парий общества»². К месту будет процитировать и размышления В.С. Соловьёва, которыми закончился XIX век: «У русского народа есть важные добродетели преимущественно перед народами Запада, – это именно те, которые общи нам с близким нам Востоком: созерцательность, покорность, терпение. Этими добродетелями долго держалась наша духовная метрополия – Византия, однако они не могли спасти её. Значит, одних восточных свойств и преимуществ самих по себе – мало. Они не могут уберечь великую нацию, если к ним не присоединится тот другой элемент, который, конечно, не чужд и России как стране европейской и христианской, но по историческим условиям имел доселе у нас (как и в Византии) лишь слабое развитие – я разумею сознание безусловного человеческого достоинства, принцип самостоятельной и самодеятельной личности»³.

«Восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнётом обстоятельств», было главной болью и художника А.П. Че-

¹ Русская литературная классика XIX века. Учебное пособие / Под ред. А.А. Слинко и В.А. Свительского. Воронеж, 2003.

² Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 28.

³ Соловьёв В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. С. 317.

хова. Ещё в ранний период своего творчества он нарочито стремился привлечь внимание именно к современному человеку, поражённому пороками самой жизни. Помещики, чиновники, купцы, мещане сравнивались с насекомыми, животными, рыбами: герой толстый и круглый, «как жук», а рядом супруга «тонкая, как голландская сельдь» («Папаша», 1880); «баран в человеческом облике» («Баран и барышня», 1883); свинья («Ряженые», 1886); нечто вопящее «таким голосом, каким во время оно до потопа кричали голодные мастодонты...» («В вагоне», 1881). Символом этих характеристик стал хамелеон: двудушный приспособленец, пустомеля и пустобрёх, лгун, предатель, мастер произвола и интриг («Хамелеон», 1884). К этим чертам Чехов прибавил ещё «тот сволочной дух, который живёт в мелком, измощенничевшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба»¹, о чём он писал в одном из своих писем. Хамелеонство Чехов считал главным пороком, разъедающим всё общество. Потому и вёл борьбу за личность, равную богу.

В современных условиях литературного и общекультурного развития принципиально важным становится вопрос о творческом методе А.П. Чехова, ибо понятие «метод» базируется на представлениях художника о мироздании и человеке, путях преобразования жизни, на степени глубины и ясности этих представлений, словом, на творческой индивидуальности и её очаровании. Анализ именно художественного метода писателя позволяет вписать его в контекст философских, политических и социальных идей своего времени. В записной книжке Чехов однажды записал: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». И ещё: «чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление»². Установка на объективность повествования, верность действительности, пренебрежение всякой литературной «косметикой» – эти черты, бесспорно, характеризуют Чехова как художника-реалиста.

О творчестве великого Чехова, в том числе и о структуре его художественных координат, написана целая научная библиотека. Его

¹ История русской литературы: в 4 т. Т. 4. Л.: Наука, 1983. С. 184.

² Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 1949. Т. 12. С. 270; Т. 15. С. 35.

называли и называют реалистом, символистом, импрессионистом, неореалистом. Словом, каждый исследователь включает Чехова в бездонное пространство своих научных интересов. А вот прочитан автореферат докторской диссертации известного китайского русиста Ван Цзунху «Экспрессионистская тенденция в русской прозе первой трети XX века», на страницах которого Чехов рассматривается по ведомству экспрессионистской эстетики¹.

Среди многочисленных работ о Чехове огромный научный интерес представляет статья Е.И. Замятина «Чехов», написанная на основе замятинской речи на юбилейном вечере в Московском художественном театре в феврале 1925 года. Она интересна не только в плане конкретного анализа художественной ткани чеховских произведений, но и обширностью взгляда и глубиной ощущения творческой индивидуальности писателя, созданием особой методологии в оценках философии и мастерства именно Чехова. Автор романа «Мы» отмечал: «Чехов смотрел на жизнь без всяких очков – и именно это помогло ему стать подлинным писателем-реалистом. «Беспристрастным свидетелем» прошёл он через конец 19-го и начало 20-го века, и для изучения русской жизни в эту эпоху всё написанное Чеховым – такой документ, как летопись Нестора – для изучения начала Руси», «в рассказах Чехова – всё реально, всё имеет меру и всё можно видеть и осязать всё – на земле. Ничего фантастического, ничего таинственного, ничего потустороннего – нет у него ни в одном рассказе... Для душевных движений, казалось бы, самых неуловимых, самых тонких – Чехов находит реалистический, с весом и мерой, образ...»². Замятин акцентировал внимание на чрезвычайной взволнованности Чехова социальными вопросами, на его философии «человекобожества», на вере в человека, «той самой вере, которая двигает горы» (с. 37). Одновременно писатель отмечал мастерство художника, оригинальность и смелость его образов. Приводил примеры, дающие основа-

¹ Ван Цзунху. Экспрессионистская тенденция в русской прозе первой трети XX века: автореф. дис. ... докт. филол. наук. Пекин, 2004. С. 2, 5.

² Замятин Е. И. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. Лица / Сост., подгот. текста и коммент. Ст. С. Никоненко и А. Н. Тюрина. М., 2004. С. 36-37. Далее цит. это издание с указанием страниц в тексте.

ние утверждать: «До Чехова – сказать так не рискнули бы. Тут Чехов выступает в роли новатора: он впервые начинает пользоваться приёмами импрессионизма» (с. 37–38). Более того, автор речи о Чехове, называя имена Бунина, Шмелёва, Тренёва «и других писателей младшего поколения», акцентировал наше внимание на том, что «всё это одна группа, одно созвездие – реалистов».

По созвездиям моряки определяют курс; по литературным, объединяющим более или менее близких писателей, группам приходится определять курс в широком море русской литературы. Но чтобы найти созвездие, нужно сначала опереться глазом на какую-нибудь особенно яркую и крупную звезду. В созвездии писателей-реалистов такая опора для глаза – Чехов» (с. 38). Е.И. Замятин, разворачивая разными гранями мысль о реализме Чехова, одним из первых, если не первым, как видим, назвав Чехова импрессионистом, с именем именно Чехова связывал и новый реализм начала XX столетия, к которому принадлежал сам и который теоретически сам формулировал.

Таким образом, замятинский подход к творчеству Чехова в его художественно-системном выражении был, ещё раз повторим, вполне конкретен и весьма широк. Главное в этом подходе – не зауженная характеристика реализма, а оценка, исключая тождественность реализма жизнеподобию, не только допускающая, но даже, наоборот, предполагающая использование разных приёмов, разных стилевых тенденций и функций условного искусства. Основное в замятинском подходе к Чехову: писатель – реалист.

Не литературовед, а художник Замятин помогает нам сегодня в какой-то мере разгадать литературоведческую задачу, связанную с творческим методом автора «Чайки». В правильности решения этой задачи убеждает и Ф.М. Достоевский, в связи со своим творческим методом однажды написавший: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой»¹. Реализм никоим образом не исключает ни глу-

¹ См. об этом в аннотации к книге: Степанян К.А. Явление и диалог в романах Ф.М. Достоевского. СПб., 2010 // Лит. газета. 2010. № 15. 21–27 апр. С. 1.

бинного психологизма, ни символизма, ни экспрессионизма или неореализма. Не исключает он и импрессионистической эстетики.

Эстетическая программа импрессионизма, как известно, предполагает особый тип сюжета, не описание событий жизни, а «событий» в характере, настроении, мелодии души, но без угасания мысли. Восприятие действительности ставится в зависимость от темперамента и натуры художника, физиология становится психологией, эстетическим опытом. В художественном творчестве импрессионистов велика роль цвета, воздуха, в целом колористики; звуки предельно уплотнены, особенно различимы разные музыкальные тона. Всё передаёт уникальное душевно-поэтическое состояние литературного героя. Проблема импрессионистического повествования А.П. Чехова наименее разработана в современном чеховедении.

И ещё одна деталь. Собираясь написать «биографию духа, линию внутреннего развития» Чехова, Замятин сначала цитировал одну из записей Чехова, опубликованную уже после смерти автора «Вишнёвого сада»: «Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу одиноким». Действительно, тема одиночества, столь актуальная для модернистской («декадентской») литературы конца XIX – начала XX веков, возбуждала творческое вдохновение и Чехова, даже в тех произведениях, где, казалось, этой темы не должно быть. В 1898 году опубликован рассказ Чехова «Случай из практики», из практики молодого ординатора Королёва, посланного профессором на ткацкую фабрику Ляликовых для лечения их дочери. Автор колоритно описывает жизнь всех пяти корпусов фабрики «с их длинными трубами, бараки и склады». «Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрике смотрел, как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустраима...

Тысячи полторы-две фабричных работают без отдыха, в нездоровой обстановке, делая плохой ситец, живут впроголодь и только изредка в кабаке отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надзирает за работой и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости, и только двое-трое, так на-

зываемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец»¹. Никакой импрессионизм не способен скрыть, уменьшить, снивелировать трагические краски жизни фабричных рабочих и отношение к ним А.П.Чехова.

Первая страница рассказа «Случай из практики» заполнена лёгкими, пастельными, солнечно-закатными, жизнетворящими красками, и проза звучит как поэтическая мелодия: «Был субботний вечер, заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал Королёв. И его пленял вечер, и усадьбы, и дачи по сторонам, и берёзы, и это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь, накануне праздника, собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, – отдыхать и, быть может, молиться ...» (с. 3). Постепенно намечается снижение вдохновения, впечатления, импрессиона героя. Потом, уже в зале и гостиной, где для него зажгли все лампы и свечи, и где он сидел у рояля, перелистывая ноты, на картинах, написанных масляными красками, в золотых рамах, были виды Крыма, «бурное море с корабликом, католический монах с рюмкой, и всё это сухо, зализано, бездарно... Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная, как этот мундир; полы раздражают своим блеском, раздражает люстра, и вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее...» (с. 7). И – кульминация, а может быть, апофеоз повествования: именно в этот момент Королёв вдруг услышал доносившиеся со двора «резкие, отрывистые, металлические звуки», которых он раньше никогда не слышал, но которые «отозвались в его душе странно и неприятно» (с. 7). Так появляется тема дьявола, и далее эти звуки обретут вполне реальное воспроизведение:

«– Дер... дер... дер... дер...

Двенадцать раз. Потом тихо, тихо полминуты и – раздаётся в другом конце двора:

– Дрын... дрын... дрын...

«Ужасно неприятно!» – подумал Королёв.

¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч.: в XVI т. Т. XII. Изд. 2-е. СПб.: Издание А. Ф. Маркса, 1903. С. 8, 9. Далее рассказ цит. по этому изданию с указанием страниц в тексте.

– Жак... жак... – раздалось в третьем месте отрывисто, резко, точно с досадой, – жак... жак...

И чтобы пробить двенадцать часов, понадобилось минуты четыре. Потом затихло; и опять такое впечатление, будто вымерло всё кругом» (с. 10).

Главный, для кого всё делается на фабрике, – это дьявол. «И он думал о дьяволе, в которого не верил, и оглядывался на два окна, в которых светился огонь. Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы...» (с. 10). Своеобразная тема Молоха разработана А.И. Куприным, художником-реалистом с резко обозначенным импрессионистическим письмом, за два года до «Случая из практики» Чехова.

Именно дьявол способствует душевной болезни Лизаньки: «Я одинока. У меня есть мать, я люблю её, но всё же я одинока. Так жизнь сложилась... Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна; они мистики и часто видят дьявола там, где его нет. Тамара у Лермонтова была одинока и видела дьявола» (с. 12). Условная форма, образ мировой литературы, разработанный Чеховым в напряжённо лирическом повествовании, не только не ослабляет писательского реализма, а наоборот, закрепляет и поэтически разнообразит его.

Совмещение приговора существующим условиям жизни простых людей с импрессионистической поэтикой находим мы и в цикле рассказов, трилогии А.П. Чехова («Человек в футляре» (1898), «Крыжовник» (1898), «О любви» (1898)), объединённых одними главными героями, реализующими свой душевный настрой в рассказывании разных случаев, потрясших их. В «Крыжовнике», к примеру, автор специально ставит акцент, который в полную силу раскрывается в финале произведения. Удивительно привлекательны раздумья писателя о земле. Чехов вступает в полемику с рассказом Л.Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно» (1886). Полемика крайне метафо-

ризирована и проникнута верой в бесконечные возможности свободного человека, богочеловека, в необходимость преобразования существующего положения: «Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе – это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа» (т. 9, с. 237).

В текст включается целая самостоятельная по-особому поэтизированная часть, капрично, виртуозное и неожиданное по мыслям повествование о человеческом счастье. «Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! – вдохновенно говорит ветеринарный врач Иван Иванович. – Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, враньё... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днём едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то вёдер выпито, сколько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут своё бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он

ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясётся беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живёт себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, – и всё обстоит благополучно» (т. 9, с. 241–242).

Столь же пафосно Иван Иванович завершил свой повествовательный апофеоз, теперь уже в совершенно иной, чем в начале рассказа, тональности: «Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжёлого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досаую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если бы я был молод!» (т. 9, с. 242).

Мастер создания звукового повествования, Чехов здесь, в рассказе 1898 года, говорит о том, что героя «угнетают тишина и спокойствие», а через пять-шесть лет завершит пьесу «Вишнёвый сад» (1904) звуковой ремаркой ужасающе трагического накала: «Слышится отдалённый звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву» (т. 10, с. 357). Здесь уже не «тяжёлое зрелище» чаепития «счастливого семейства», а человека забыли, обрекли его на нечеловеческую смерть.

Биография, сюжет развития духа чеховского героя, пожалуй, колоритнее всего представлены в портрете Андрея Васильича Коврина из рассказа «Чёрный монах» (1894), создававшегося одновременно с книгой «Остров Сахалин». Остановимся на этом рассказе чуть подробнее. В письме к А.С. Суворину от 25 января 1894 года А.П. Чехов в связи с публикацией рассказа и с предположениями критиков, что произведение автобиографично, писал: «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски есте-

ственное. Во всяком разе, если автор изображает психически больно-го, то это не значит, что он сам болен. «Чёрного монаха» я писал без всяких унылых мыслей, по холодном размышлении. Просто пришла охота изобразить манию величия. Монах же, несущийся через поле, приснился мне...» (т. 8, с. 420).

В центре повествования магистр психологии, увлекающийся философией, Коврин, утомившийся длительной работой и расстроивший себе нервы. Приятель доктор посоветовал провести весну и лето в деревне, в той самой семье, которая воспитывала его с раннего детства, после потери матери и отца. Однако и в деревне, в доме своего бывшего опекуна и воспитателя, известного в России садовода Егора Семёныча Песоцкого и его дочери Тани, где им гордились как учёным и необыкновенным человеком, сделавшим блестящую карьеру, «величиной», «он продолжал вести такую же нервную и беспокойную жизнь, как в городе» (т. 8, с. 189). Семья же Песоцких жила заботами о саде, приносящем им доход.

Рассказ построен как бы на подчёркнуто резко балансирующем повествовании, от негативных эмоций к взрывам восторга. Этот тип повествования выдержан от начала до конца произведения. Более того, именно «Чёрный монах» даёт основание говорить об укрепляющемся процессе новеллизации малой прозы Чехова, наиболее ярко выраженном в рассказах последних лет жизни писателя. В относительно небольшом произведении (тридцать страниц) уложена вся напряжённо драматизированная жизнь героя, с раннего детства до кончины. И с развитием сюжетного действия постепенно, с чётко переданными красками и мелодиями повествования нарастал, становился доминирующим трагизм и жизненных ситуаций, и самочувствия героя. Этот трагизм подчёркнут и кольцевой композиционной оппозицией: повествование открывается картиной старинного парка, угрюмого и строгого, оканчивающегося у реки обрывистым, крутым глинистым берегом, где «росли сосны с обнажившимися корнями, похожими на мохнатые лапы; внизу нелюдимо блестела вода, носились с жалобным писком кулики, и всегда тут было такое настроение, что хоть садись и балладу пиши» (т. 8, с. 184–185). В резком контра-

сте старинному парку изображён фруктовый сад, там «было весело и жизнерадостно даже в дурную погоду». Сад описан с каким-то буйством красок, с использованием мощного музыкального ритма и аллитерации, что бесспорно усиливает импрессионистический эффект повествования. «Таких удивительных роз, лилий, камелий, таких тюльпанов всевозможных цветов, начиная с ярко-белого и кончая чёрным как сажа, вообще такого богатства цветов, как у Песоцкого, Коврину не случалось видеть нигде в другом месте. Весна была ещё только в начале, и самая настоящая роскошь цветников пряталась ещё в теплицах, но уж и того, что цвело вдоль аллей и там и сям на клумбах, было достаточно, чтобы, гуляя по саду, почувствовать себя в царстве нежных красок, особенно в ранние часы, когда на каждом лепестке сверкала роса» (т. 8, с. 185), «пели соловьи, из полей доносился крик перепелов» (т. 8, с. 187). Чехов подчёркивает: «Прекрасное настоящее и просыпавшиеся в нём впечатления прошлого сливались вместе; от них в душе было тесно, но хорошо», «и ему казалось, что в нём каждая жилочка дрожит и играет от удовольствия» (т. 8, с. 189).

В удивительный симфонизм повествования мастерски вплетаются звуки рояля и скрипки, пение серенады Брага. Контральто барышни, сопрано Тани и скрипка молодого человека звучали настолько гармонично, что в звучавших русских словах Коврин никак не мог понять смысла. И чеховский герой решил, что «девушка, больная воображением, слышала ночью в саду какие-то таинственные звуки, до такой степени прекрасные и странные, что должна была признать их гармонией священной, которая нам, смертным, непонятна и потому обратно улетает в небеса» (т. 8, с. 190). И следом за этой сдержанно музыкальной картиной впервые появляется именно эпическая мелодия, мелодия контрастов, тема монаха, человека среднего роста с непокрытою седою головой, всего в тёмном и босого, похожего на нищего. На его бледном, точно мёртвом лице, резко выделялись чёрные брови. У него «очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо», словно прожил он больше тысячи лет. В памяти Коврина явилась какая-то странная легенда о монахе в чёрном, шедшем

по пустыне, где-то в Сирии или в Аравии... За несколько миль от того места, где он шёл, рыбаки видели другого чёрного монаха, который медленно двигался по поверхности озера. «Этот второй монах был мираж», «потом от другого третий, так что образ чёрного монаха стал без конца передаваться из одного слоя атмосферы в другой... Наконец он вышел из пределов земной атмосферы и теперь блуждает по всей вселенной, всё никак не попадая в те условия, при которых он мог бы померкнуть...» (т. 8, с. 190). И, естественно, Коврин не мог вспомнить, откуда попала ему в голову эта легенда.

Чёрный монах, этот классический образ двойника, искусителя, преследует Коврина в течение всей его жизни, ведёт с ним беседы, и при каждом появлении монаха душа героя одухотворяется, преобразуется, начинает жить полной и красивой жизнью. Передаётся это преобразование в ритмизированном, музыкальном слове, соответствующем настроению персонажа: «Но вот по ржи пробежали волны, и лёгкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее, – зашумела рожь, и послышался сзади глухой ропот сосен. Коврин остановился в изумлении. На горизонте, точно вихрь или смерч, поднимался от земли до неба высокий чёрный столб. Контуры у него были неясны, но в первое же мгновение можно было понять, что он не стоял на месте, а двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина, и чем ближе он подвигался, тем становился всё меньше и яснее. Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать... Монах в чёрной одежде, с седою головой и чёрными бровями, скрестив на груди руки, пронёсся мимо... Босые ноги его не касались земли. Уже пронесся сажени на три, он оглянулся на Коврина, кивнул головой и улыбнулся ему ласково и в то же время лукаво. Но какое бледное, страшно бледное, худое лицо! Опять начиная расти, он пролетел через реку, неслышно ударился о глинистый берег и сосны и, пройдя сквозь них, исчез как дым» (т. 8, с. 191–192). И Коврин «громко смеялся, пел, танцевал мазурку, ему было весело и все, гости и Таня, находили, что сегодня у него лицо какое-то особенное, лучезарное, вдохновенное, и что он очень инте-

ресен» (т. 8, с. 192). «Ему хотелось чего-то гигантского, необъятного, поражающего» (т. 8, с. 196).

Диалоги Коврина с чёрным монахом разнообразны, однако преимущественно психогенны. Собеседник убеждает героя в том, что он божий избранник, что «служит вечной правде, а мысли, намерения, наука, вся его жизнь носят на себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно» (т. 8, с. 199).

«– Да, конечно. Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно; развиваясь естественным порядком, оно долго бы ещё ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введёте его в царство вечной правды – и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете собой благословение божие, которое почило на людях.

– А какая цель вечной жизни? – спросил Коврин.

– Как и всякой жизни – наслаждение. Истинное наслаждение в познании, а вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: в доме Отца Моего обители многи суть.

– Если бы ты знал, как приятно слушать тебя! – сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.

– Очень рад» (т. 8, с. 199).

Новелла «Чёрный монах» создавалась в период развития философии и эстетики декаданса, одним из идеологов которого был Макс Нордау. Своё отрицательное отношение к его идеям Чехов выразил в письме к А.С. Суворину от 27 марта 1894 года. Увлечение европейской интеллигенции психопатическими явлениями как в художественной литературе, так и в философии, эстетике писатель объяснял болезнью века, вырождением, психической усталостью, переутомлением, ненормальными условиями жизни (т. 8, с. 421). На страницах рассказа представлена идеологизированная полемика монаха с Ковриным, полемика, которая разрешается единомыслием.

«– А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков? Говорят же теперь учёные, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. Соображения насчёт нервного века, переутомления, вырождения и т. п. могут серьёзно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.

– Римляне говорили: *mens sana in corpore sano*.

– Не всё то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз – всё то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю: если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.

– Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, – сказал Коврин. – Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечною правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьёй и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

– Галлюцинация кончилась! – сказал Коврин и засмеялся. – А жаль.

Он пошёл назад к дому весёлый и счастливый. То небольшое, что сказал ему чёрный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным царствия божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее всё – молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага, – какой высокий, какой счастливый удел! У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда, он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения» (т. 8, с. 200).

Лицо Коврина стало восторженным, сияющим, и глаза наполнились слезами. Он пережил «светлые, чудные, неземные минуты»:

«Я больше чем доволен, я счастлив!», «я хочу любви, которая захватила бы меня всего», «я не знаю, что такое грусть, печаль или скука» (т. 8, с. 201, 205).

Коврин принёс глубокие страдания Тане, несчастье её семье. Страдал и сам, ибо понимал, что глубоко болен, не подозревал, что воображение способно создавать «такие феномены», как чёрный монах. После лечения стал раздражителен, зауряден, «им овладело беспокойство, похожее на страх». «Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть» (т. 8, с. 213).

Уже спустя пять лет после публикации рассказа «Чёрный монах», в 1889 году, Чехов в письме к А.Н. Плещееву писал, что пишет роман: «В основу сего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли и надежды; цель моя – убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы. Норма мне неизвестна, как неизвестна никому из нас. Все мы знаем, что такое бесчестный поступок, но что такое честь – мы не знаем»¹. Норма неизвестна, и почему «жизнь хороших людей» «уклоняется от нормы»? Не потому ли быть творчески сильным и жизнелюбивым в русской жизни можно лишь сойдя с ума?

Таким образом, болезненная фантазия, психопатические потрясения Коврина, весь фантастический, импрессионистический сюжет его состояния вполне синхронизируют с реалистической канвой произведения. Параллельно с сюжетом внутреннего состояния героя развивается сюжет вполне реальных жизненных событий, связанных не только с жизнью семьи Песоцкого, но и реалистической канвой жизни самого Коврина.

¹ Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма. Т. 3. М., 1977. С. 186.



Юрий РАССТЕГАЕВ

Оклахома

Рассказ

Я заехал в маленькую деревушку Княжино, примостившуюся на берегу речушки Журавец, чтобы набрать воды для пасеки. Три молочные фляги, аккурат, помещались в багажник моей старенькой «Нивы», и чтобы не пестать на пупке четырёхведёрные ёмкости, я запасся трёхметровым резиновым шлангом. Один конец шланга я надел на носик колонки, другой опустил во флягу, следя за тем, чтобы он ненароком не выскочил наружу и не залил салон водой. Спустя пятнадцать минут фляги были уже полны. Этого вполне хватало, чтобы заправить поилку для пчёл и самим целую неделю поддерживать немудрёный пчеловодный быт.

Я решил разведать новую, менее ухабистую дорогу к пасеке и сделал небольшой вояж по деревне. Она состояла всего из одной зигзагообразной улицы Набережной, протянувшейся, как и все улицы с этим названием, вдоль реки. «Нива» неспешно ползла вдоль неказистых, сереньких домишек с чахлыми палисадами, в которых плодовых деревьев днём с огнём не сыскать. Видно, здесь ещё живы в памяти уродливые хрущёвские новации, когда за каждое растущее на усадьбе деревцо нужно было платить государству дань.

Черета огородов, засеянных картошкой и тыквами, оборвалась, я выехал за околицу села. Вскоре грейдер перешёл в асфальт. Прорехав метров двести, я упёрся в металлические кованые ворота, сработанные в каком то роскошном стиле. Может, это был «модерн», а может, «ампир», но скорее всего, смешение стилей. Четырёхгранные вертикальные прутья были рельефно изогнуты в форме полуподковы, верхние их концы снабжены острыми пиками и закручены, словно штопор. Между собой прутья соединялись с помощью ковки тремя поперечными профилями. Изнутри на воротах висел увесистый навесной замок.

За воротами располагался особняк, больше напоминающий средневековый замок с портиками и колоннадой, окружённый декоративным рвом с водой, в котором бултыхались пара белоснежных лебедей и десяток серых прозаических уток. Через водную преграду был перекинут неширокий разводной мосток. Красоту замка подчёркивал парк с молодыми плодовыми деревьями.

И парк, и замок были окружены массивным двухметровым забором, сложенным «под расшивку» из красного отделочного кирпича. Через каждые три метра над основной стеной ограждения возвышались ажурные сторожевые башенки с бойницами, покрытые синей финской черепицей, гармонировавшей с крышей замка. Всё выглядело так, будто было нарисовано на картинке.

Я опешил: не померещилось ли, и протёр кулаками глаза. Ну откуда здесь, среди убогой серости и нищеты, взяться таким царским палатам!? Выйдя из машины, я на всякий случай потрогал холодные металлические прутья, даже дотянулся до замка. Нет, вовсе не померещилось – всё было настоящим! С трудом придя в себя от увиденного, я развернул машину и вернулся на старую колею. Права пословица – самая лучшая дорога та, которая хорошо знакома.

Я машинально крутил руль, переключал передачи, но мысли сводились к одному: какому Карабасу-Барабасу принадлежат такие хоромы? Председателю колхоза? Вряд ли. Здешнее хозяйство весной едва отсыялось в долг. На полях – сорняки в три аршина, что для нас, пчеловодов, суцкая находка. Красть здесь давно уже нечего. Крутые

бизнесмены вряд ли поедут в такую глушь, им и в городе, на худой конец в райцентре, землицы вволю. Размышляя над тайной «княжинского двора», я благополучно добрался до пасеки.

* * *

Наутро ни свет ни заря был разбужен раскатистым ржаньем. Колхозный меринок Мальчик, я узнал его по трубному голосу, напоминающему скрип несмазанной воротины, старался вовсю. Это говорило о том, что в гости заехал колхозный водовоз дядя Альвис.

– Ничего не скажешь, вовремя пожаловал, – недовольно буркнул я, безудержно зевая во весь рот и пожимая его здоровенную лапшу. – Поднял спозаранку. Вчера уже сам за водой съездил, машину в деревню гонял. Что так долго не навещал? Сам знаешь, без воды – ни туды и ни сюды.

– Да, понимаешь, – начал оправдываться водовоз, – уборку начали с Андреевских полей, а оттуда не наездишься. Крюк километров в тридцать давать, не меньше. Да и старуха моя, слышь, что гутарит? Ты, говорит, больше у пчеловодов не обедай, для кого я стряпаю? Готовлю, готовлю, а всё впустую. Вон, вчерашний обед собаке вылила. Нечего людей объедать, дома столуйся. Ну, я несколько дней кряду домой и заезжал. А сегодня решил: дай, всёш-ки, загляну, а то хлопцы без воды пропадают...

Дед Альвис, по фамилии Шкраб, – из обрусевших немцев. С Поволжья во время войны переехал в чернозёмные края, да так здесь и остался. Поговору его от местных жителей не отличишь. И всё же национальные особенности налицо. Он мало похож на деревенского мужика: одет опрятно, чистенько, хотя рубашка, штаны и пиджак изрядно поношенные. Всегда приветлив, обходителен. На моложавом лице ни единой щетинки. Аккуратность чувствуется и в хозяйстве. Я как-то наведалься к нему прикупить деревенского молочка: дом обшит шелёвочкой – доска к доске, ни единого сучочка и задоринки. Наличники резные, крыша из оцинковки. Штакетник покрашен в весёлые тона, труба на крыше затёрта и побелена извёсткой, сараи сверкают – как гусары в строю. Во дворе всё прибрано, чистенько и

гладенько, ничего лишнего. И водовозка его выглядит, словно иномарка. Дубовая двухсотведёрная бочка и обода колёс отдают матовым зелёным цветом. Мальчик вычищен, помыт, накормлен.

К спиртному Альвис равнодушен. Разве что из уважения к хозяину выпьет рюмку-другую по-немецки мелкими глоточками, не более того.

Я разогрел «змеиный» супчик из пакета, поставил стаканчики, вскрыл ножом банку с любимой закуской водовоза – килькой в томатном соусе.

– А что, Николав, привёз ты, что обещал? – спросил дед Альвис после первой рюмки.

– Ясное дело.

– Так чего же ты молчишь, злодей этакий! Не забыл всё ж, – радостно воскликнул он. – Тащи обнову, не томи душу!

Я принёс из палатки бэушное, но вполне сносное дерматиновое сиденье от «Уазика»:

– Вот, пользуйся, почти новое, подпружиненное, с регулировкой спинки.

– Да ну! Уж и не знаю, как тебя благодарить. Удружил, так удружил! Я теперь почище председателя рассекать буду. Никакие рытвины-ухабы не страшны! Амортизация! Я тебе молочка свойского подвезу и маслица. А хочешь, деньгами отдам, идёт?

– Не надо ничего, это мой подарок.

– Ну, как знаешь, – не стал настаивать он. – Спасибочки!

Выпив второпях вторую рюмку, немного «поклевав» хлеба с солью, дед тут же начал примерять к телеге новое приобретение, не переставая меня благодарить. Я понял, что настал самый удобный момент для расспросов.

– Скажи, дядя Альвис, а чей это дворец раскинулся на краю деревни?

Водовоз будто ожидал моего вопроса:

– Как чей, Степаниды, конечно. Всю жизнь в колхозе ишачила, теперь вот цацей живёт.

Заметив моё удивление, пояснил:

– Ейный сын, Стёпка, в прошлом году построил. Большой человек, промежду прочим! В Питере такими делами заправляет! Быстро управились, почитай, за полгода всего. Людей, техники понагнал – уймаищу! А что толку, одна в таких хоромах пропадает. Будь я помоложе, может, бросил бы свою старуху да в райскую жизнь подался. Такие вот дела, это цельная история.

* * *

Стёпка Звягин – настоящий увалень. Здоровенный, неповоротливый малый ростом метра под два. Руки длиннющие, словно у гиббона, кулаки – с человеческую голову! Шея – как у борова, плечи – аршин! И в кого он такой дылдой уродился, ведь мать росту приземистого? Видно, в отца потянулся, которого отродясь не видал. По соседским сплетням, прижила его мать от прикомандированного шофёра, что на уборке урожая колхозу «Красный прогресс» подсоблял.

Мать Звягина, тётка Степанида, сыну об отце – ни слова, ни полслова, будто и не было его на свете вовсе. Но ведь такого не бывает, Стёпка об этом доподлинно знает. Какой-никакой, а отец должен быть.

Степанида работала в колхозе свекловичницей, с утра до вечера пропадала в поле. Свёклу пропалывала, прореживала, окучивала, подкармливала, убирала, сортировала. Короче, ей было не до воспитания сына, потому Стёпка рос предоставленный самому себе.

Жили они с матерью на отшибе села в крохотной избушке с земляным полом. С самого раннего детства у пацана большие проблемы с речью – картавит и шепелявит так, что ничего не поймешь.

К Стёпке, как репей к заднему месту, напрочь приклеилась непонятная кличка – Оклахома. Почему его так зовут? Об этом никто точно не знает, хотя догадок на этот счёт высказывалось немало.

Одна из версий – потому как букву «д» не выговаривает. Стёпку, по-хорошему, надо было бы логопеду показать. Но какие в деревне логопеды? Так и остался малый на всю жизнь с недосказанной буквой «д», случай весьма редкостный. Обычно у картавых с «р» или «л» нелады. Стёпка же вместо «д» говорит «х». Например, нужно произ-

нести: «Около дома». А у него выходит: «Около хома». А если скороговоркой, то «оклахома» и получается.

А другая, заезжим тряпичником подсказанная, человеком начитанным и шибко грамотным, – по названию американского штата. Есть, говорит, такое место в США, Оклахома, где до сих пор бизоны водятся, а индейцы на них охотятся.

В деревне Стёпку иначе никто и не звал. Забыли, видно, что имя ему наречено. Степан Иванович Звягин – в святцах записано. Даже учителя грешили: Оклахома, к доске, Оклахома, остаёшься после уроков. Оклахома, пригласи мать, совсем от рук отбился!

В школе Стёпка «сидел» по два года в каждом классе, и к восьмому классу был не то что «второгодник», а целый «шестигодник». Учителя давно махнули на него рукой: пусть себе торчит, как дерево долговязое посреди подлеска. Лишь бы не мешал своими глупыми остротами и кривляниями уроки вести. Для этого Оклахома был посажен под учительский присмотр на первую парту и застил своей макушкой доброй половине класса. Его длиннющие ноги-ходули торчали из-под стола, а руки-грабли выступали из рукавов форменной рубашки чуть ли не до локтей. Воротник сорок второго размера не сходился на его борцовской шее.

На свою кликуху Стёпка не обижался, отзывался, будто это и есть его настоящее имя. Бывало, правда, отвешивал обидчикам оплеухи, подзатыльники и щелбаны. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он смирился с неизбежностью.

В шестом классе он чувствовал себя на равных с преподавателями. У учителя истории Петра Кузьмича «стрелял» сигаретку. К англичанке, Софье Павловне, «кадрился» в открытую. Она даже водила Оклахому к директору, но Стёпка ухаживать не перестал. Директор лишь руками развёл – любовь, ничего не попишешь. И училка вынуждена была сменить модную юбочку на длинное платье фасона благородных девиц из Смольного института. К доске она рисковала поворачиваться только боком.

* * *

Одновременно с окончанием восьмилетки Оклахома справил совершеннолетие. Брат матери Егор Строков увёз его из деревни в областной центр, поселил в своей семье и пристроил на механический завод рабочим кузнечно-прессового цеха. Стёпка легко жонглировал кувалдой и вначале завоевал авторитет у кузнецов – самородок, крепок, как дамасская сталь! Но потом рассмотрели, что парень, хоть и могуч телом, да что-то «не того», к кузнечному ремеслу не лнёт. Почти год прошёл, а он ничегошеньки из огненной науки не освоил. Даром, что кувалдой махал исправно: где надо было согнуть – кромсал, где расплющить – ломал.

Но вскоре жизнь Стёпки Оклахомы совершила крутой поворот, фортуна подмигнула ему лиловым глазом.

Однажды комсомольский активист, бригадир медников Колюха Ремнев, в обеденный перерыв затеял разговор «по душам». Биографию из Стёпки выжимал. Потом, как бы ненароком, поинтересовался:

– Ты, Звягин, у нас комсомолец или несоюзная молодёжь?

– А пёс его знает, как хочешь, так и числи. У меня башка не Хом Советов, об этом не хумал, потому как неча мысли хумами забивать!

– Не может быть, и как это мы просмотрели! На таком заводе не член союза! Пиши заявление под мою диктовку! – подвёл логическую черту под разговором комсорг.

Волей-неволей пришлось согласиться. С превеликим трудом Оклахома одолел: «Прашу принять мне в ряхи ВЛКСМ, так как я хачу быть в переходном отряхе советской малахёжи».

– Ну, ты и грамотей, однако, – удивился бригадир. Но это ничего, по строке «рабочей» идёшь.

Ремнев, исправив ошибки, заставил Стёпку переписать заявление. Тот старательно выводил буквы, от усердия даже вспотел, но, в конце концов, с задачей справился.

Приём вели в райкоме комсомола. За столом сидели члены бюро во главе с первым секретарём, бывшим работником их завода Леонидом Золотухиным. Заведующий организационным отделом, неболь-

шого росточка жирный парень с потным лицом, заученно пробубнил Стёпкину анкету.

– Ну что ж, ученик молотобойца, без пяти минут кузнец, рабочая жилка! Нам такие нужны, – похвалил секретарь райкома. – Только не пойму, почему в анкете указал, что спортом не занимаешься. Это непорядок! Партия требует от нас: комсомолец – в спортзал! – И тут же скороговоркой подытожил:

– Есть предложение принять товарища Звягина в комсомол! А в качестве комсомольского поручения обязать его записаться в секцию бокса или тяжёлой атлетики.

– Нет возражений, – хором пропели члены бюро и встопорщили руки вверх.

В секции бокса «Удар», действовавшей при заводе, он освоился быстро. В состязаниях раз за разом отправлял соперников железной десницей в нокауты и нокдауны. Сам же ни разу не был бит. Сначала ему присвоили первый спортивный разряд, затем он выбил кулаками норму кандидата в мастера спорта. Тренеры стали направлять его на сборы и соревнования. С тех пор о кувалде Оклахома и думать забыл, а в цех заходил лишь дважды в месяц – в аванс и получку.

Однажды дядька возмутился:

– Стыдно мне за тебя, Степан. Перед рабочим людом стыдно, перед друзьями-товарищами цеховыми. Я-то думал, из тебя толк выйдет, а ты вон чего удумал – кулаками махать. Разве ж это стоящее ремесло? Безделица! Ты вот что, давай подбру-поздорову с завода уматывай, не позорь нашу рабочую косточку. Отец мой своими руками завод строил, полвека здесь отпахал. И я двадцать пять годков отдербал. А ты весь авторитет нашей строковской династии по ветру пустил. Что обо мне люди стали говорить, знаешь? Вон, этот, что Оклахома-кувалдометра дядька. Как хочешь, иди куда хочешь, а чтобы тебя на заводе не было. Баста.

* * *

Вскоре Стёпка Оклахома уехал в Ленинград – его как победителя зонального турнира пригласил тренер спортклуба «Титан» выступать за тамошнее оборонное предприятие. Он же помог получить комнату в заводской общежитии, прописаться по лимиту. Так Звягин стал интеллектуальным довеском города на Неве.

По вечерам Оклахома подрабатывал вышибалой в третьесортном кафе «Дебют». Здесь же заработал и срок. По-глупому всё вышло, случайно – переборщил малость. Однажды клиент, низкорослый хлипкий очкарик с синюшным носом и длинными патлами, недовольный тем, что его обсчитали, начал «качать права». Официант позвал охранника. Стёпка, не долго думая, легонько съездил бузотёра по физии и вышвырнул из зала. В результате клиент отлежал на больничной койке три недели, лишился пенсне и уха, которым ударился о бордюр. Парень оказался чьим-то сыном, написал заявление в милицию. Возбудили уголовное дело, и вскоре предприятие общепита и спортклуб «Титан» на целых пять лет остались без верного стража и убойного спортсмена.

От дома Оклахома почти отвык. Лишь иногда во сне вспоминались река, мать с натруженными руками, тёмно-красным обветренным, подкопчённым на солнце лицом. Красавица англичанка с распущенными русыми волосами, точёной, будто из бронзы, фигурой.

Матери писал редко, одно-два письма в год. В письме несколько дежурных фраз: «жив-здоров», «как вы поживаете», да ещё про погоду. Этому было несколько причин. Во-первых, его каракули матери с её грамотёнкой разобрать было не под силу, а вводить соседей в курс своей непутёвой жизни Стёпка не хотел. Во-вторых, писать и подбирать на бумаге слова для него самого было несусветной мукой. В-третьих, сообщать, в общем-то, было не о чем. В колонии дни проходили один на другой, как подложенные под наседку куриные яйца. По той же самой причине и не звонил, тем более что на всё село телефон был только на почте да в правлении колхоза.

От матери он тоже ответа не получал. То ли почта плохо работала, то ли в оперчасти творили «подянку» за отказ сотрудничать с

«кумом» – заместителем начальника колонии по оперативной работе. «Стучать» на заключённых, таких же, как и он, горемык, Оклахома считал унижением.

Перед самым освобождением он случайно встретил деревенского знакомого Славку Хрыча. Того только-только перевели в зону из следственного изолятора. Встретились после отбоя, Хрыч рассказал деревенские новости. Мать, слава богу, жива-здорова. Колхоз дышит на ладан, потому большинство живут за счёт скотины – держат на подворье по десять-двенадцать поросят, коровку, курей, гусей и прочую живность. А кому скотину водить не под силу, у тех дела плохи. Перебиваются на пенсию да случайными приработками.

Бывший председатель колхоза, Виталий Иванович Посохов, земличку поудобнее по-дешёвке покупал, почти всю колхозную технику, фермочки с поросятками, бычками к рукам прибрал. «Прихватизировал» ток, мастерские и мельницу, да в фермеры подался. Живёт – не тужит. Тётка Степанида теперь на него горбатится за гроши. А куда податься, работать негде, приходится терпеть.

– Вот, падла, на людях наживается! Я ему устрою! – Оклахома в гневе сжал кулаки.

– Да ни хрена ты, Стёпка, ему не сделаешь, вся власть нынче за таких, как он. А простой работяга – тьфу! Плесень! Плюнул и растёр! Опять же всё по согласию, не хочешь работать – скатертью дорога. Никто не держит, иди на все четыре стороны! Думаешь, чего я в квартиру к чистоплюю городскому забрался? По нужде великой ремесло воровское изучать начал. Вот и загребли...

* * *

Когда Стёпка вышел за ворота колонии, на дворе стояли совсем другие времена. Ленинград переименовали в Санкт-Петербург. «Титан» вместе с родной «оборонкой» развалился, в его цехах теперь располагался супермаркет «Карат» и картинговый полигон «Эх, прокачу!». Кафе «Дебют» стало частным рестораном «Парламент».

«Парламентарии» в Стёпкиных услугах не нуждались, их безопасность верой и правдой охраняла местная братва.

В общежитие, переоборудованное под офис пейджинговой компании, его на порог не пустили. Где находятся вещи, которые он перед отсидкой оставил комендантше, Оклахома так и не дознался. Да и вещей-то почти не было – грамоты, кубки и медали вполне помещались в спортивной сумке. Единственное, о чём он жалел, это красные импортные боксёрские перчатки, подаренные ему за победу в турнире на первенство Ленинградской области.

Стёпка понял – его нигде не ждут. Надо было начинать жизнь заново, как говорится, с чистого листа. Специальность Оклахома так и не приобрёл, о чём пожалел. Ведь в колонии учили ходовым профессиям газосварщиков, электриков, крановщиков. Прав был начальник отряда Смердин, любивший повторять: учитесь, знания за плечами не носить. Не послушал, пролодырничал, на койке провалялся. Теперь бы пригодилось...

Но, как говорится, что бог ни делает, всё к лучшему. Оклахома нанялся грузчиком в одну из питерских фирм. Утром часам к семи он приходил к складу, которым заведовал усатый «хачик» по кличке Амстердам. По-русски тот говорил плохо, смешно коверкал язык, но этого вполне хватало, чтобы понять, какой груз, откуда брать, куда везти, нужно ли ехать на станцию разгружать вагоны с техникой или отправляться с экспедитором по торговым точкам. Фирма торговала компьютерами, оргтехникой, поставляла на заказ видео- и фотоаппаратуру.

Для накачанного Оклахомы погрузка-разгрузка особого труда не представляла, он работал за троих и мог один за смену переворочать целый товарный вагон.

Платили прилично, на жизнь хватало, и вскоре Оклахома снял маленькую комнатку в старинном доме на Васильевском острове, в двадцати минутах езды от работы. Комната пахла плесенью, отдавала сыростью, накопившейся за трёхвековое существование дома, ровесника Петра Великого. От этой сопричастности к истории Стёпка чувствовал себя настоящим питерцем.

Видя его усердие и учитывая физические данные, владелец фирмы известный питерский бизнесмен Парамон Разгуляев приблизил

Стёпку к себе. С этих самых пор жизнь Оклахомы круто переменялась. Он переселился в особняк под Петергофом, где ему отвели специальную комнату, неподалёку от покоев шефа. В его обязанности входило днём и ночью охранять Разгуляева и его семью: жену да дочь на выданье.

Оклахома с присущим ему рвением выполнял обязанности телохранителя. Он был готов растерзать собственными руками каждого, кто бы посмел покуситься на самое святое.

Ему завидовали, поскольку часто стали видеть в обществе хозяйской дочери – высокой взбалмошной блондинки с броской внешностью и весьма раскованными манерами поведения. Марго – так звали эту сногшибательную двадцатилетнюю диву – любила проводить время в ресторанах, казино или элитном дамском клубе «Элен». Стёпка неотлучно находился рядом. Дочь шефа вела себя, мягко говоря, неадекватно. Ей ничего не стоило в своё удовольствие влить пощёчину очередному кавалеру или закатить скандалчик в ресторанном зале с крушением посуды и громогласными истериками из-за сущего пустяка.

После таких потрясений она, довольная произведённым эффектом, за последствия которого исправно платил отец, делилась с Оклахой впечатлениями.

– Знаешь, Стёпчик, как мне надоела вся эта напыщенная питерская шелупень, эти богатые прыщавые мерзавцы, – в возбуждении вешалась она на шею телохранителя. – Не на кого даже взгляд положить! Не на кого, буквально, – в пьяном откровении изливала она свою душу. – А эти убогие рестораны, настоящие свинарники, в которые порядочному человеку заходить стыдно! Ты видел, сегодня мне официант шампанское принёс, а в бокале волос женский плескается! Этой сволочи, ублюдку говорить бесполезно. Он пойдёт на кухню, своими жирными пальцами волосок выловит и этот же бокал принесёт. Нет, меня не проведёшь... Я ему прямо в морду выплеснула. А что делать? Впредь умнее будет... И почему ты, Стёпочка, не из нашего круга? Деревня деревней, но мне нравишься! С тобой надёжно и спокойно, как в танке!

Её вело в сторону. Стёпка молча терпеливо волок её на себе к машине, усаживал на заднее сиденье, садился рядом, бросив шофёру: «Трогай!» И так же молча всю дорогу впитывал в себя всякую чепуху, лившуюся из уст пресыщенной девицы. Он знал, что у Маруси, он так называл её на сельский манер, были десятки поклонников, которые слыли состоятельными, уважаемыми людьми города, и не строил на её счёт никаких иллюзий. Но также знал, что только он один со своим спокойным немногословием, покладистым уравновешенным нравом и богатырской силой мог легко и свободно управлять этой неукротимой женщиной. Любое его слово она воспринимала как приказ.

– Всё, всё, Маруся, побузила и хостаточно. Хавай хомой, позхно уже. Спать пора. А то Парамон Ильич переживает.

– Да плевать я на него хотела с высокой колокольни! И на мамочку тоже! Знаешь, кто у неё любовник? Нет? А-а-а, а я знаю. Она у меня вот где, – Марго упруго сжала изящный, влажный от возбуждения кулачок. – Ну, прости, Стёпочка, больше не буду. Маруся – хорошая девочка.

* * *

Произошло то, что часто случается между слугами и господами – Марго затащила Стёпку в постель. Как это произошло, он и сам понять не мог, но факт остаётся фактом: любовная связь перешла на постоянную основу. Разгуляев, узнав о случившемся, метал громы и молнии:

– Срам-то какой! Шалава, с кем спуталась, а? С плебеем, деревенщиной! Он и слова-то дельного сказать не может!

Вначале он хотел закатать мерзавца в бетон и сбросить тело в Финский залив, но потом одумался. Хорошенько поразмыслив, пришёл к однозначному выводу – чтобы избежать скандала, Оклахому и Маргариту надо поженить.

– А чем Стёпка не жених: видный малый, далеко не глуп, за себя и дочку постоять сумеет, ни на что не претендует, – доказывал он жене. – А то, что грамотешки маловато, так это вовсе не беда. Можно

подучить малость, за деньги любого стоумового учителя можно нанять. Пусть картавит, ему же не с трибуны Организации Объединённых Наций речь держать. Без него пропадёт девка, совсем от рук отбилась: университет бросила, по кабакам и ночным клубам шляется. А Стёпку она слушается, он её на путь истинный наставит.

– Не ровня он ей, Парамон, гол как сокол. Одним словом, деревенщина!

– Денег у нас у самих хоть ж...й ешь. На что нам чужие капиталы, со своими бы управиться, выгодно в дело вложить. А займеть такого богатыря не помешало бы. И Маргарита его любит. И позора не хочется, журналисты спят и видят, чем бы ущипнуть Парамона Разгуляева. Но я им козырную карту на руки не сдам!

– Не по душе он мне, и всё тут.

– А тебя, милочка, никто и не спрашивает. Сиди и сопи в тряпочку. Сам решу, казнить или миловать! Моё решение окончательное – миловать!

Сменив гнев на милость, Разгуляев пригласил Стёпку на беседу. О чём у них шла речь, неизвестно. Но только с этого самого момента Оклахома официально стал считаться фаворитом дочки хозяина. Начальник охраны и все его бывшие коллеги-охранники стали уважительно величать его по имени-отчеству – Степан Иванович.

Вскоре Стёпка, не без помощи будущего тестя, открыл молодёжный спортивный клуб «Удар». Так когда-то называлась заводская боксёрская секция, в память о которой Оклахома и дал название клубу. Он оказался прекрасным организатором и знатоком своего дела. Спортивное заведение быстро стало приносить неплохой доход. На эти деньги построили сауну, открыли при клубе шикарный салон массажа. Вскоре появились салон красоты, который возглавила Марго, школа шейпинга, художественной гимнастики. Приступили к строительству пятидесятиметрового плавательного бассейна.

Деловая хватка новоявленного бизнесмена поразила Разгуляева. Вот тебе и двоечник, вот тебе и второгодник. Налицо расторопный, разумный бизнесмен! Видно, правильно говорят: жизнь всё рас-

ставляет на свои места. Она мало верит школьным оценкам, выставленными запрограммированными на «два», «три», «четыре», «пять» учителями. У неё, у жизни, другие критерии: смог или не смог, есть или нет деловая хватка, умение пробивать, приспособливаться, нестандартно мыслить, выживать на её крутых поворотах. Как бы там ни было, Оклахома завоевал полное доверие могущественного олигарха, своего будущего тестя.

На свадьбу Оклахома и Марго съехался чуть ли не весь деловой и криминальный Петербург. Впрочем, Разгуляев почти не различал эти два понятия. На три дня, пока шла свадебная церемония с цыганами, салютом, выступлениями артистов эстрады, оперы и балета, оригинального жанра, один из лучших ресторанов города «Клондайк» был закрыт для посетителей. На столе было всё, что душе угодно: от омаров до ананасов и птичьих язычков. Гостей потчевали изысканными блюдами и яствами на посуде царственных особ из запасников Эрмитажа, превосходными французскими винами, коньяками, доставленными специальным рейсом из Парижа.

Пожалуй, один Оклахома оставался трезвым на этом празднике жизни. Он не был искушённым гурманом, ценителем и знатоком изысканного вкуса французских виноделов. К танцам, льстивым речам и спиртному он был одинаково равнодушен.

В самый разгар веселья он неожиданно вспомнил о матери, которую постеснялся пригласить на торжество.

* * *

На Марго иногда «находило». Тогда она бесновалась, ругала всех и вся на чём свет стоит, не выбирая выражений, невзирая на лица. Часто дело доходило до рукоприкладства, в этот момент подчинённые, родственники и друзья старались не попадаться ей на глаза. И только Стёпка мог её успокоить где зуботычиной, а где мужской лаской.

– Хурашка ты моя, ну чего ты разошлась? Чего тебе не хватает? – ласково обнимал он жену.

– А чего они выручку прячут? Я у Брянкиной из кармана полторы тысячи неучтёнки выгребла! Воровка, сука драная! Завтра же выгоню с позором на улицу. На панель пусть идёт.

– Это Маринка-то на панель? Ха она лучший косметолог в горохе. У неё клиентов – отбоя нет. Завтра же её в «Веснушки» с грабушками возьмут, тебе спасибочки скажут. Ты вот что, извинись перех ней, а хеньги верни. И зарплату прибавь, чтоб не приворовывала, специалистов ценить нахо, они нам бабки хеляют. Кто мы без них? Ноль без палочки!

– И правда, Стёпочка, я об этом не подумала. Только мне перед ней унижаться не хочется, – остывая, соглашалась супруга.

– Хорошо, сам всё улажу. Ты угомонилась? Вот и хорошо. Рохить тебе нахо, может поспокойнее станешь. Мне хочку хочется, все хела к чертям собачьим брошу, буху ей в косички ленточки заплетать.

Но через неделю Маруся вновь устроила разборки. Разбила в косметическом салоне зеркала, разогнала клиентов, избила двух молодых сотрудниц и, закрывшись в кабинете, грозилась выброситься из окна.

Свесив ноги на улицу, она сидела на подоконнике и невидящим, шальным взором провожаладвигающийся по улице сплошной поток машин. Даже если бы она и не разбилась, выпрыгнув из окна третьего этажа, то неминуемо погибла под колёсами автомобилей.

Стёпка, как только ему позвонили, мигом примчался, но было поздно – Марго увезла карета скорой психиатрической помощи. Он поспешил в больницу, но увидеться с женой ему не позволили. Главврач, чем-то напоминающий Хаджу Насреддина, ласково заявил:

– Э, дорогой, любезный, свет очей моих! Заболевание очень серьёзное, оно запущено, прогрессировало постепенно. Осложнено на фоне употребления наркотиков. Надо было давным-давно к наркологу, психотерапевту обращаться. А у нас как: стыдно, боязно да неохота. Вот и дождались, пока психиатры за дело возьмутся. Такие вот дела, яхонт мой бриллиантовый. Психиатрия – дело тонкое, не знаешь, как повернётся там, – постучал он указательным пальцем по лысому продолговатому черепу. – Диагноз ставить пока рано, но, похоже...

Он назвал какое-то мудрёное латинское название, но Стёпка не смог его запомнить.

– Требуется абсолютный покой и длительное комплексное лечение. Удастся или нет вернуться к нормальной жизни – вопрос!

– Я всё оплачу, скажите, какие лекарства требуются, из-под земли хостану!

– Не беспокойтесь, у нас всё есть. Так что езжайте домой. О состоянии жены можете справляться у лечащего врача. Насчёт свидания тоже к нему, достопочтимый властелин мой!

Прошёл месяц, Стёпка крутился как белка в колесе. Тесть всё более и более наваливал на него проблемы фирм, он старался решать их, но дела не убавлялись, снова и снова накатывали, наплывали, как волны морского прибоя на податливый песчаный берег. Заботы захлестнули жёсткой удавкой, и вырваться из этой мёртвой петли он не мог. Мотался по городу, решая вопросы с землёй, строительством новых терминалов, сбытом, привлечением инвестиций, получением кредитов. Дважды выезжал в Москву, связывался с партнёрами из Швеции и Финляндии. И лишь однажды выкроил кусочек времени, чтобы посетить больницу. Но и на этот раз, как ни старался, к жене не допустили. Лечащий врач ничего утешительного не сказал, молча взял конверт с долларами, даже не поблагодарил.

* * *

Нежданно-негаданно нагрянула новая беда. Среди бела дня было совершено покушение на Разгуляева. Снайпер стрелял откуда-то сверху, из окна старинного особняка. Машина, потеряв управление, сбита ограждение и упала в воду.

Стёпка подъехал на Дворцовую набережную, когда водолазы уже сделали своё дело – нашли на дне Невы машину и прикрепили к её кузову стропы подъёмного крана. Вскоре из воды показался чёрный, с простреленной во многих местах крышей, шестисотый «Мерседес». В машине обнаружили четыре трупа: Разгуляева, его жены, охранника и шофёра. Оклахома в одночасье сделался наследником сказочно богатства.

Фирмы Разгуляева и бизнес Звягина приносили огромный доход. Деньги сами плыли в руки, их в буквальном смысле слова мешками возили в банк. Как умно распорядиться наследством? Как выгодно пустить в оборот средства? Как уберечь капитал от инфляции? Как не заглотив хитроумную наживку конкурентов? Ничего этого Стёпка не знал, а пускать дело на самотёк было глупо. Поэтому он нанял молодых, знающих консультантов, которые понимали толк в бизнесе: юристов, экономистов, менеджеров, специалистов по финансовым вопросам.

Сменил службу безопасности. За то, что проворонили покушение на тестя, уволил своего бывшего шефа и приближённых ему людей. К тому же они слишком много знали и не было никакой уверенности, что будут держать язык за зубами. Этот участок он доверил бывшему комитетчику полковнику Бастрыкину, с которым его незадолго до свадьбы познакомил тесть. Тот, получив выгодное предложение от Оклахомы, быстренько уволился со службы, прихватив с собой надёжных сослуживцев. Они-то и составили костяк службы безопасности и личной охраны Звягина.

Ему не хватало элементарных знаний, он зачастую поступал по наитию, как подсказывала интуиция, и она редко его подводила. Теперь он всерьёз жалел, что так бездарно учился в школе, в прямом смысле слова валял дурака. Выправив за небольшую мзду аттестат о среднем образовании, он поступил на экономический факультет Санкт-Петербургского университета. Вскоре образование у него стало высшим, но познания в экономике так и остались средними.

Между тем дела в фирмах процветали. Исполнительный директор Самуил Исаакович Кутерман был просто находкой! Но и Стёпка в долгу не оставался: платил как надо, не препятствовал своей правой руке заниматься собственным бизнесом. Но, как говорится, доверяй, но проверяй! За Кутерманом приглядывал ещё один ас от экономики, его заместитель Георгий Приходько. Он докладывал Оклахоме о каждом шаге своего начальника и часто любил повторять спорную по своей сути фразу: там, где хохол прошёл, еврею делать нечего!

Система тотального контроля завершалась на Андрее Мишине, с которым Оклахома вместе мотал срок. Простой охранник, он, тем не менее, был наделён особыми полномочиями шефа, как и земляк Славка Хрыч.

* * *

Звягину приснился страшный сон, будто он работает в аду кузнецом, гнёт подковы и куёт коней, на которых ездят знатные вельможи чиновничьего звания, обитающие в райской куще.

– За что им выпала такая честь? Вехь они на Земле взятки брали, карманы набивали за счёт своего положения, хурили народ. И вот они попали в рай, а мне ищачить на них! Зхесь на небесах тоже, ви-хать, справехливости не сыщешь! – возмутился он, орудуя, как когда-то в цехе, кувалдой.

Соседи по аду старались не слушать его крамольных речей, каждый боялся впасть в немилость ко Всевышнему. Стёпку поражало их поведение: чего бояться-то, ведь хуже ада ничего не бывает!

Мать пришла навестить сына. Она тут же на углях испекла ему оладушки, румяные, пышные, сдобные. Точь-в-точь такие, какие пекла на Рождество. Они аппетитно шкворчали на сковородке, будто о чём-то разговаривали со Стёпкой на непонятном ему языке.

– Скушай, сынок, должно проголодался, ишь, вспотел, притомился. Отдохни, я молочка в бутылочке принесла, свойского, деревенского. У соседей купила, нашу-то коровёнку давно продала, кормить вовсе нечем...

Мать обняла его, поцеловала в лоб и трижды перекрестила, как давным-давно, когда он с дядькой уезжал в незнакомый неприветливый город.

Стёпка проснулся в холодном поту, долго не мог успокоиться. Рядом, бесстыже распластав по кровати холёное тело, безмятежно дрыхла заведующая рекламным отделом Муська Стокина. Он взглянул на часы: стрелки показывали половину второго ночи. Позвонил Хрычу.

– Срочно ко мне! – прохрипел он в трубку, облизывая ссохшимся языком шершавые губы. – Немедленно!

Земляк, не задавая лишних вопросов, был у босса через двадцать минут.

– Слушай меня внимательно, Славок! Сон приснился страшный, хо сих пор не отойху. Тут такое хело, не к хобру это. Хочу мать навестить, хавненько не вихелись! Только боязно мне в село возвращаться, объявляться, как блухному сыну. В ноги матери поклониться за терпение её, хоброту и бескорыстие. Похоронила меня, вихно, столько лет ни слуху ни хуху. Боюсь, не выхержит сердце, нужно постепенно. Езжай, разузнай, что к чему, её похготовишь, мне позвонишь, холодишь обстановку.

Вот ещё что, хом наш, похи, на похпорках стоит, если совсем не развалился. Возвехешь новый, как мой в точности! Проект прихвати заранее, чтобы время не терять. Хенег сколько нахо трать. Не жалей, всё оплачу. Пока не построишь, не возвращайся! Ты всё понял?

– Обижаешь, Окла... Тфу, чёрт, простите, Степан Иванович!

В один из июньских дней на улице Княжино появилась вереница КамАЗов с белым силикатным и красным отделочным кирпичом. Водитель первой машины взвизгнул тормозами возле невзрачного саманного домишки с покривившимися тесовыми воротами. На серых некрашенных ступеньках веранды, отошедшей на вершок от стены дома, пригревшись на солнце, придрёмывал старичок. Опершись сухонькими сморщенными руками на суковатую палку, он уставился невидящим взором на дорогу, вздрогнул от неожиданности, но остался сидеть, как сидел. Лишь вопросительно с любопытством вскинул седую голову со слезящимися хитроватыми глазками, покрытую замусоленным суконным картузом.

– Добрый день, отец! – высунулся из кабины камазист.

– Здорово были! – неожиданно задиристым петушиным голоском отозвался старик.

– Скажи, отец, это село Княжино?

– Княжино, Княжино. Оно самое, что ни на есть, княжеское поселение. И дом барский здесь когда-то стоял.

– Мне барский дом по барабану. А вот где Степан Иванович Звягин живёт?

Дед призадумался, почесал затылок:

– Я здесь полвека обитаю, а такого не знамши. Как гришь, Звягин? Нет, тута таких нет.

– Вот те на, б..., – смачно выругался шофёр и заглушил мотор. – Пятьдесят километров зазря отмотали!

Он вылез из кабины недовольный и злой. Вслед за ним захлопали дверьми и остальные водители. Встав в кружок, посоветались и на всякий случай решили проверить, не напутал ли чего старик. Вскоре на улице появилась небольшого росточка пожилая женщина. Несмотря на теплую погоду, она зябко куталась в коричневую, с тёмной бахромой шаль.

Поравнявшись, поздоровалась по деревенской привычке, хотя впервые видела незнакомцев.

– Скажите, мамаша, не живёт ли здесь Степан Иванович Звягин? – вместо приветствия чуть ли ни хором спросили они.

Женщина остановилась, ответила нараспев:

– Такой тут не проживает. А как его по уличному-то кличут?

– А пёс его знает, – шофёр задумчиво почесал затылок. – Постой, постой, сейчас узнаем. Как это Хрычу звонить...

Он достал мобильник и нетерпеливо большим толстым пальцем заскользил по клавиатуре. Спустя минуту обрадованно выдал:

– Оклахома, вот как!

Женщина вздрогнула, взволнованно заголосила:

– Господи! Да это же мой сын! Что, что с ним? Пропаций он, сгинул лет двадцать тому назад!

– Да, собственно, нам велели кирпич подвезти. Фамилия его в накладной указана. А больше ничего сказать не могу, – растерянно развёл руками водитель.

Ему вдруг сделалось жалко эту незнакомую женщину, и он незамысловато, по-простому успокоил её:

– Отыщется, нынче не война. Объявится, раз кирпич выписал, стало быть, не пропащий...

Вскоре с бригадой строителей приехал Славка Хрыч и всё объяснил бабке Степаниде. К апрелю, как в сказке, на берегу реки вырос прекрасный замок.

* * *

В родную деревню Стёпка прикатил на «Хаммере» в конце весны. Тёплые майские грозы уже отгремели. Расточая духмяный аромат, благоухали травы. На месте, где когда-то стоял их старый дом, остались только кусты сирени да вывороченные бульдозером комья глины от дряблых саманных стен. Он растерянно огляделся по сторонам и только тут заметил ближе к реке, метрах в трёхстах, укрытый от любопытного взора осокорями и кирпичным забором особняк. Он догадался, что это и есть их новое жилище, и, сняв модные лакированные штиблеты, засучив до колен стильные, с сиреневым отливом брюки, пошлёпал босиком по мягкой изумрудной мураве.

Он шёл, осторожно касаясь изнеженными ступнями комковатой чернозёмной земли, вдыхая пьянящий деревенский воздух. Ему припомнилось, как в детстве он резво бегал по этим же самым дорожкам, не чувствуя толстыми, покрытыми «цыпками» подошвами ног, её щекочущих прикосновений. Как давно это было! Прошло-промелькнуло незаметно и бесповоротно, словно реактивный лайнер по безоблачному небу, оставляя за собой расплывающийся, блёкнущий со временем дымчатый след.

Навстречу Звягину, погромыхая пустым ведром, стремительно приближалась необычайно лёгкой походкой черноволосая девчушка, почти подросток. Она была стройна, курноса и розовощёка. Несмотря на видимую угловатость, её фигурка выглядела женственно и привлекательно. Через год-другой ароматный бутон этого цветка раскроется и превратится в удивительную по красоте, радующую глаз и душу орхидею. На её груди чуть подрагивало при ходьбе дешёвое золотистое кольцо с разноцветными стекляшками. В тон украшению были подобраны и серёжки, поблёскивающие в изящных ушах девушки радужным разноцветьем. Эта простая, незамысловатая бижутерия удивительно шла ей, подчёркивала её молодость и красоту.

Стёпка залюбовался юной принцессой, будто прикованный, обшаривал взглядом её бедра и грудь, прикрытые лёгким, просвечивающим на солнце шёлковым, с розоватым оттенком платицем. Оно

выгодно подчёркивало стройные загорелые ноги незнакомки, обутые в простенькие светлые босоножки. Так неотразимо очаровательны бывают только деревенские девушки, выросшие на свежем воздухе, парном молоке, здоровых деревенских харчах. Он невольно сравнил её со своими питерскими знакомыми. Их серые, прокуренные, вечно озабоченные хищные лица не шли ни в какое сравнение с этой свежестью и красотой!

Девушка тоже обратила внимание на Стёпку, хотя упорно делала вид, будто в появлении на деревенской улице двухметрового босоногого великана в заграничном костюме и галстукe нет ничего необычного.

О своём приезде Оклахома заранее не сообщал. Лишь в самый последний момент он предупредил Хрыча, что прибудет не позднее, как к полудню. Тот мигом собрался, отдал ключи от городской квартиры соседям, чтобы следили за аквариумом, и сел в «Тойоту». По пути заехал в супермаркет, затарился продуктами и через два часа был в Княжино. Тётка Степанида уже ушла в поле, и Хрыч послал за ней охранника. Сам же, надвинув на лицо дежурную осклабистую улыбку, остался встречать шефа.

Романтическое настроение Стёпки мигом развеялось, едва он ступил на вымощенные тротуарной плиткой дорожки дворца. В нём проснулся инстинкт делового человека, знающего себе цену хозяина. Он присел на парковую скамеечку, стильно вырезанную из распиленных вдоль оцилиндрованных брёвен, зашнуровал модные остроносые туфли и сердито проворчал:

– Ну, что ж, посмотрим, чего вы тут натворили.

Славок заискивающе засеменил рядом. Он хорошо изучил привычки Звягина и знал, что осмотр будет придирчивым, а спрос за недоделки строгим.

Звягин обходил комнату за комнатой и сосредоточенно молчал. За ним таинственной тенью крался Хрыч. Он вжал голову в плечи, боязливо вздрагивал от малейшего жеста, едва уловимого движения босса и боялся, что за какую-либо оплошность, недогляд может упасть под его горячую руку. А рука у Звягина тяжёлая!

Он вошёл в бильярдную, вынул из широкой лузы канадского профессионального бильярда костяной шар и, ловя на себе недоумённый взгляд сопровождающего, положил его в карман. Из бильярдной вышли в прихожую, пол которой был отделан французской керамогранитной плиткой. Оклахома встал посередине комнаты, достал шар и аккуратно, чтобы не разбить плитку, положил его на пол. Тот замер на месте. Это говорило о том, что пол не имел ни малейшего уклона.

Качеством постройки Звягин остался доволен. Стены выделялись ровными плоскостями, углы были прямыми, без завалов. Потолки, метра под три с половиной высотой, без единой шероховатости и изъяна.

– Хвалю, хвалю, неплохо сработали. Только в прихожей охна плита уложена относительно хругой на сантиметр выше. Ты куха, хрен милай, смотрел? Завтра же устрани нехохелку...

Неожиданно Стёпка замолчал, обернулся. На пороге стояла седая тщедушная женщина в сморщенном, замусоленном платье, линялой розовой кофточке. Большие руки с землисто-серыми узловатыми ладонями бессильно обмякли на узеньких сгорбленных плечиках. Она несмело смотрела на Стёпку, ещё не веря своим глазам: он это или не он? Затем бросилась навстречу:

– Стёпа, Стёпушка, дорогой мой! Приехал, родимый! Объявился наконец! Слава Богу, живой и здоровый! А я уж и не чаяла свидеться. Заживо тебя похоронила, и в молитвах за упокой поминаю, и в церкви панихиду заказываю. Шутка ли сказать, почти два десятка лет не видала. Как на завод уехал, так сгинул словно. Сколько я слёз пролила, ночей бессонных провела в одиночестве и ожидании. Видно, Бог услышал мои молитвы, и вон он ты, живой и здоровый! Теперь ты со мной, а всё остальное пустяки!

У Стёпки что-то сжалось внутри, лопнула какая-то сдерживающая пружинка, всё время контролировавшая его мысли, чувства, поступки. Он весь сжался, сделался маленьким, беззащитным, беспомощным. На глаза навернулись капельки влаги. Он инстинктивно провёл по лицу рукой и бросился навстречу матери. Старушка утонула в его размашистых нежных объятьях.

Мать бессильно прижималась к его могучей груди, пыталась поцеловать, нежно дотрагиваясь до его лица заскорузлыми пальцами. Стёпка не отстранял мать, как когда-то в детстве, молча по-мужски сочувствовал ей. Всю жизнь без мужской ласки промаялась, без сыновней заботы. Всю трудную, сгорбленную жизнь!

Степанида ещё долго не могла успокоиться, охала, ахала, обнимала сына, целовала и плакала. Будто не в радость, а на печаль её объявился, будто правила по нему горькую тризну. Сын не оправдывался, не просил прощения. Ему было стыдно перед матерью за глупое беспутство, пресыщенную несправедную жизнь, за нажитое непонятно каким образом богатство. Он сидел молча, недвижимый, потухший и угнетённый, вновь чувствовал себя малолетним, затравленным, забитым пареньком, беспросветным двоечником и неудачником. Самое главное, весомое и ключевое проскользнуло мимо него в этой жизни – сыновняя любовь и бесконечная благодарность матери. И не было для него в целом свете человека роднее, ближе и любимей!

Постепенно мать успокоилась. Отлегло на сердце и у Стёпки. Хрыч достал из багажника продукты, накрыл на стол. Степанида, как когда-то в детстве, разлила по эмалированным чашкам густые ароматные щи, приправленные луком и морковью, поджаренными на подсолнечном масле. Опустила в щи стручки задиристого, вышибающего слезу кроваво-красного перца, сорванного с подоконника.

Звягин с большим удовольствием хлебал деревенское варево, вкус которого давно забыл. И ему казалось, что нет на свете ничего вкуснее, сытнее и слаще незамысловатых деревенских щей.

– Ты, вот что, мам, чтобы я в первый и последний раз вихел тебя в поле. Погорбатилась – хватит, – властным тоном приказал Оклахома, – пора на покой, пожить по-человечески. Посмотри на свои руки, вены вон как вылегли.

– Тридцать лет колхозного стажа набрала, а вот что заработала. Виталий Иванович и зернеца, и маслица подсолнушкового на пай подбросит. Кур, уток чем-то кормить надоть...

Звягин снисходительно улыбнулся:

– Ты мать, не перечь и своего Посохова не защищай. Он при Советской власти в начальниках хохил и сейчас на чужом горбу в рай проехать желает. Не выйхет. Я ему сам об этом скажу. Без него найдем, чем твою живность накормить.

И, обращаясь к Хрычу, приказным тоном добавил:

– Завтра от моего имени позвони Кутерману, пусть просчитает все «за» и «против», почему бы нам не заняться землей? Растениеводством, животноводством или переработкой, что выгодней. Может, скупить все паи Княжинские и окрестных хозяйств, земля здесь знатная, тучные чернозёмы, сама рохит, только посеи. Скважины хлявохы пробурить, газ протянуть, хороги заасфальтировать, хетсах, больницу построить, чтобы нарох не разбежался.

– Как вы скажете, шеф, – по военному вытянулся Хрыч. – А сейчас позвольте откланяться, пора на покой.

Мать с сыном долго не ложились, всё не могли наговориться. Стёпка рассказывал о себе, обсуждали деревенские новости, а их накопилось предостаточно.

– Учитель истории ваш, Пётр Кузьмич, несколько лет назад помер. Как перестройка зачалась, сильно переживал, вот и не выдержало сердце, – рассказывала Степанида, горестно смыкая губы. – Хороший был человек, царствие ему небесное. Хучь и коммунист, а жил по совести.

– Мам, а англичанка, Софья Павловна, как поживает? – спросил Стёпка и слегка покраснел.

– А ничего, как все. Вышла замуж, к нам физкультурника апосля институту прислали, они и сдружились. Уже двое детей у нее, дочке старшей шашнадцатый годок пошёл. А парню семь, восьмой. Славная девчонка, кровь с молоком...

– Такая курносенькая, в розовом платъице?

– Во, во, оне самое. А ты почём знаешь?

– Встретил её у колохца, когха от старой усахьбы шёл. А может, это и не она была.

– Кому же окромя в нашем захолустье взяться? На будущий год школу кончает, как мать, на иностранщину учиться собирается.

Вот невеста, так невеста. Только староват ты для неё. Чай, женился уже, ай не?

– Женился, мама, женился, – невесело отозвался Оклахома.

Степанида поняла, что ненароком затронула больную струну в душе сына, и дальше расспрашивать не решилась.

* * *

На следующий день Стёпка познакомился с фермером. Посох оказался мужиком правильным, с головой, и Оклахоме понравился. Техника стояла у него на хозяйственном дворе в полном порядке. Звягин насчитал единиц сорок тракторов, комбайнов, автомашин и прицепного инвентаря. Землицы у него было гектаров под тысячу. Не много, но вполне прилично, и вся она была ухожена и давала неплохой урожай. «Вполне управляющим можно сделать, лучшего кадра не сыскать», – машинально отметил он про себя.

Заехал в школу и прямо на пороге столкнулся с англичанкой.

– Здравствуйте, Софья Павловна! – волнуясь, проговорил Звягин, видя перед собой красивую, средних лет женщину, одетую в строгий тёмно-серый костюм, с потрёпанным портфелем в руках.

– Здравствуйте, – приветливо отозвалась та. – Вы, наверное, из управления образования? А директор наш болен, я временно замещаю. Чем обязаны неожиданным визитом?

– Нет, нет, я просто так зашёл, учился когда-то зхесь, – ещё более смущаясь, проговорил Стёпка. – Звягин моя фамилия, Степан Звягин.

– Что-то не припомню такого, – извиняющимся тоном произнесла она, – наверное, до меня ещё школу закончили?

– Как же не помните, Стёпка Оклахома... Это я и есть!

– Не может быть! – смутилась учительница. Она явно не знала, что сказать стоящему перед ней человеку, прибывшему в школу на чудной иностранной машине в сопровождении охранника.

– Вы так здорово изменились! Я вас часто вспоминаю, – каким-то неестественным, вымученно-фальшивым тоном проговорила учительница.

Ей и самой сделалось неловко и неудобно от собственной неискренности, от всплывшего в глубине памяти дурацкого прозвища. Будто наяву предстал перед ней долговязый переросток, безнадежно отстающий по всем предметам, на которого они всем педколлективом махнули рукой. Вспомнились и его по-взрослому серьезные ухаживания.

– Я вас часто в пример детям ставлю, вы были лучшим учеником нашей школы.

Стёпку больно резанули её откровенное враньё и лицемерие. Неужели она позабыла, что и как было на самом деле? Уж лучше бы промолчала. А может, она что-то напутала, приняла за кого-то другого, тихого, послушного очкарика-отличника? Будто и не было вовсе никакого влюблённого второгодника, хулигана и двоечника Стёпки Оклахома?

Они молча шли по невзрачному, пустому коридору школы, заглядывали в такие же безликие неудобные классы, где он когда-то добровольно-принудительно отбывал наказание учёбой. Всё осталось тут неизменным, недвижимым, неподвластным времени перемен, словно и не было этих двадцати долгих лет.

Что-то щемящее, грустное шевельнулось в его романтической душе.

– Ты вот что, – обратился он к Хрычу, – срок команхировки прошли до сентября. За это время отремонтируешь школу, купишь компьютерный класс.

И вспомнив, что муж учительницы физкультурник, добавил:

– Оборудуешь стадион, приобретёшь мячи, лыжи и комплект гимнастических снарядов.

* * *

Как хорошо в деревне! И спится, и дышится по-другому. Бросить всё, остаться здесь навсегда, жениться, нарожать детишек. А что там, в Питере? Беспросветность! Дела, больная жена, завистливые друзья, от которых не знаешь чего ожидать. «Боже, спаси меня от друзей моих, а от врагов я сам спасусь, – тяжело вздохнул Оклахома. – Вечные-бесконечные гонки по замкнутому кругу, словно цирке

на аттракционе мотогогонщиков. Будь он проклят, этот постылый, ненавистный город, выматывающий душу бизнес. Ни сна, ни отдыха измученной душе»...

Как бы в продолжение этих мыслей пронзительно заверещал мобильник. Стёпка уже знал – что-то случилось, и с тревогой взял трубку. Ему сообщили, что остановился мебельный цех. Надо было ехать разруливать ситуацию. Он торопливо засобирился. Мать, почуяв неладное, спросила:

– Ай случилось что, Стёпушка?

– Случилось, мама, случилось. Нахо ехать.

– Надолго уезжаешь то?

– Я и сам не знаю, мама.

– Ты пиши или звони, не пропадай надолго. У нас телефон в дом провели. Ведь мне от тебя ничегошеньки не надо. Только знать, что живой и здоровый, а больше ничего и не требуется.

Стёпка промолчал. К горлу подступило что-то, будто кто-то намертво сжал его холодными цепкими пальцами.

– Может, со мной поедешь, а, мам? – преодолевая внезапный спазм, прохрипел он. – Горох посмотришь, где цари жили. Крейсер, что по госухарям стрелял...

– Да нет, Стёпушка. Куда мне на старости лет от родных мест отрываться? Я уж тут как-нибудь, век коротать стану, да тебя дожидаться.

– Я вернусь, я скоро вернусь, мама! – неуверенно пообещал Звягин. На его глаза, как и при встрече, предательски навернулись слёзы. Чтобы не заплакать, он шумно вобрал в себя воздух.

«Хаммер», взревев многосильным мотором, в мгновение ока скрылся из глаз. Одинокая сторбленная фигурка долго всматривалась в запылённую даль.

* * *

Время близилось к полудню. Мы, размышляя каждый о своём, пили чай с ароматным мёдом. Потом я наливал из бочки родниковую воду, что привёз водовоз. Она весело струилась из крана, прохладна, вкусна и прозрачна, словно наша жизнь. Хорошо жить на свете!

– Эх, жизнь! – кряхтя поднялся из-за стола дядя Альвис. – Я, вон, в школе отличником числился, чуть серебряную медаль не заполучил. Только что толку, сам видишь – воду вожу, а Стёпка-двоечник пол-Питера заграбастал. Ну почему так, почему Всевышний допускает явную несправедливость? – искал у меня сочувствия расстроенный Шкраб.

– Жизнь – сложная штука, – отделался я банальной фразой. – У каждого своё понятие о смысле жизни. Как говорил китайский мудрец Конфуций, знаешь? «Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали». Лучше не скажешь, правда? Поэтому нечего завидовать, мы тут с тобой чаи гоняем, природой любимся, и никаких проблем. А у Звягина их тысячи, голову сломать можно. Так что ещё неизвестно, кому лучше живётся. Свободу, её, брат, ни за какие деньги не купишь. Вот ты на сегодняшний день свободный человек?

– Конечно!

– Вот и цени эту свободу.

Водовоз помолчал с минутку, крякнул, заёрзал на месте:

– Не согласный я с твоими доводами. Хучь я и свободный, а всё-таки проблемы имеются!

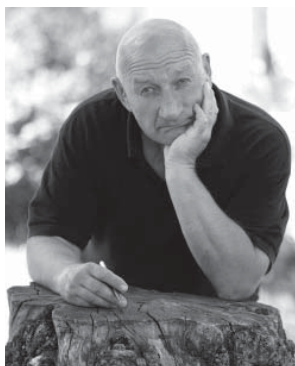
– Скажите, пожалуйста, какие у тебя могут быть проблемы? – улыбнулся я.

– В мастерские заехать, сиденье к телеге пришпандорить. Тут без сварки не обойтись. Мишка Чулканов просто клад – стакашок накатит и ни в одном глазу! Приварит, так приварит – зубами не оторвёшь. Главное, продумать надо, чтобы кресло не прожечь. Ну, мне, пожалуй, пора, прощевай! Засиделся у тебя, а людей поить надо, – внезапно оборвал разговор водовоз.

Он, кряхтя, взобрался на повозку, пронзительно свистнул. Лошадь настороженно запрядала ушами.

– Но, пошёл, Мальчик! Балуй у меня!

Телега мягко запылила по сизому чернозёму, всё дальше удаляясь от пасеки.



Владимир СЕЛИВЁРСТОВ

Перекрёсток

Рассказы

Политбоец

Мой родной дядя по отцу Николай Иванович Селивёрстов прожил 80 лет – с 1910 до 1990 года. Чуть больше, чем СССР, уложился в его рамки, улёгся навечно в землю Ленинграда, и не узнав, что такого государства и города на планете больше нет, чем и был счастлив, как и многие его ровесники по жизни и смерти. Уродился он могучим и суровым. Даже когда его парализовало, рядом с кроватью лежали чёрные чугунные гантели. Приезжая в Питер, я занимался с ними под его улыбку. Тело его напоминало плохо подстриженную мощную гориллу, а лицо украшали умные карие глаза и добрая усмешка. Иногда он сожалительно и жалительно смотрел на меня. Похоже я смотрю на внуков. Он хотел сына, а рождались дочки, не такие разгильдяи, как я, красивые гордые, сильные душой и телом. Я приходился ему племянником, но ощущал себя другого племени – незначительным.

Он любил меня, но командирской, строевой любовью, как нерадивого солдата, которого надо воспитывать. Лет до десяти я дядю Колю

больше боялся, чем уважал, повзрослев, наоборот. В армии ходят строем, на войне погибают в одиночку. В атаку поднимаются все скопом, а убивают отдельно каждого. Есть общежитие, но нет общесмертия. Общей смерти не бывает, общей бывает только жизнь. Наверяд ли на миру и смерть красна. Она всегда черна. Страх постепенно превратился в поклонение. Дядя Коля стал живым воплощением нашей армии, победившей самую сильную армию мира – германскую. 75 лет прошло с той Великой войны, а она не отпускает, не уходит, живёт в нас, не знавших её. Все мы в плену у неё, и побег невозможен. Все племянники, внуки и правнуки – все дети войны. В неоплатном плену и долгу.

Сражавшиеся в окопах остались живы только чудом и стали чудесными людьми.

– Дядя Коля, что тебя спасало в этом долгом пекле?

– Ты знаешь, Вовка (вся семья так меня называла грубовато-ласково), вряд ли кто из фронтовиков ответит тебе на этот вопрос. Сам понимаешь, если бы все знали «что», то знали ли бы и кто останется живым. Если бы не было войны, то все бы были живы. Первыми погибали не трусы, а пьяные. Трезвыми мало кто в атаку поднимался – больно страшно. Сидишь в окопе – трус, ноги и руки в канатах ужаса, поднялся в атаку – храбрец. Я бы Героя Советского Союза всем давал, кто в атаке погиб. Расчухали: трезвого, а не смелого пуля не берёт, он бережётся, а пьяный прёт дуром, ну а пуля, сам знаешь, тоже дура. Вот только кто дурнее, тот и труп.

Все мы всю жизнь заземляемся, прячемся от несчастий, а кто и от счастья, пока не заземлимся, успокоимся, упокоимся навечно.

– Ты знаешь, земля вроде везде одинаковая, а пахнет по-разному. В России – хлебом и травой-муравой. В Польше – ромашками. В Чехии – розами. В Германии – пылью и мертвечиной.

У дяди Коли был трудный характер. От слова труд. Он всю жизнь трудился, но как-то не очень карьерно. Полковником не стал, оставшись подполковником. Кандидатскую не защитил, хотя на кафедре политэкономии умнее докторов наук уважался. Что-то не давало ему пробить потолок, не пускало вверх. Бился могучей головой об лёд, да

не вынырнул наверх. Заземляться ему было необходимо и в мирное время, потому что прямо-таки искрился от статического напряжения. В семье он был диктатором и господином, любящим своих домочадцев-подданных. Муж, дочери ездили на тётке Лиде, да она и рада была такому домашнему рабству-счастью.

Дядя Коля бегал по мокрому лугу и кричал: «Я заземляюсь!», оставляя темные дорожки на осоке-траве. Я представил, как ему холодно, и содрогнулся. Родной дядя Коля, ты при жизни меня близко к себе не допускал. Теперь я сам к тебе приблизился и годами, и душой. А может, ты ждал, чтобы подошёл я к тебе, обнял, прижался к большому, могучему... А теперь хватаю руками пустоту. Дядя Коля последние годы заземлился после инсульта на диван и больше не вставал. Тело отказало, а мозг остёр, как в молодости, и голос молодой. Его большая голова так же приветственно меня встречала, а здоровая рука выпрастывалась из-под одеяла и горячо сжимала мою руку, сильно, до боли, и каждый раз он спрашивал:

– Ты в каком звании?

Видно, его беспокоило, не обогнал ли я его. Вот этой рукой-лопатой и заземлялся он все четыре года войны. Вгрызался в рыжий суглинок Подмосковья, песок Белоруссии, каменистые поля Европы.

– Если б не заземлялся, пуля приземлила бы. Я, Володя, столько земли перелопатил, ни одному экскаватору не под силу. Жить хотел, потому и рыл, крыл в Бога душу мать... И, ты знаешь, наша земля укрывала надёжнее. Ни одной царапины, как только в Польшу – поймал пулю в руку. В Германии плечо разрывной разворотило. Там, вроде, и окоп в полный рост, а всё одно гибнет личный состав, потому что земля там родная для немцев. Там я и зарубил себе на лбу и на теле двумя шрамами, что такое родимая сторонка. Тогда я и понял, почему наш народ землю родной зовёт. У них луга бобриком стриженные, а у нас косматые. У нас люди, как танки, грязи не боятся, а у них её и в помине нет. У нас дятел красноперый, а у них попугай зелёный.

Глядя на его могучую ширь, я всегда поражался, как его не нашла пуля.

– Политбоец – это смертный приговор, и выносился он на партсобрании. В августе сорок первого политрук Трегубов предложил мне возглавить парторганизацию роты. За что он меня невзлюбил, ума не приложу. Может, за то, что я в университете учился, а он двух слов связать не мог, звание получил после курсов «выстрел». Был он косоглазый и косодушный. Только потом я понял, что он ещё тогда задумал избрать меня политбойцом. На том собрании захватил я сразу три должности – секретаря, политбойца и редактора боевого листка.

Я десятки раз пытался представить себе, что переживал и ощущал дядя Коля, первым поднимаясь в атаку, под кинжальный огонь пулемётов, автоматов, снайперов – и не мог, не хватало фантазии. Для этого надо было быть с ним там, на великой войне, но я не мог, меня ещё не было на Земле. Теперь, в старости, как подумая об этом, учащается пульс и поднимается давление – так остро ожидание близкой и вероятной смерти-пули. Дядя Коля не отвечал мне. Что переживал он в эти секунды, может быть, не воспринимал меня всерьёз..., только смотрел на меня застывшими глазами, как бы отгораживаясь от назойливого вздорного племянника. Думаю, и у него тогда учащался пульс и появлялась гипертензия. Потому, может, и не хотел вспоминать – стресс.

– Так почему же ты выжил? – настырничал я.

– Потому как не пил и не курил.

– А причём тут это?

– Я наркомовские сто грамм перед атакой всегда отдавал соседу по окопу, и такие были, кроме меня. Так что кто хлобыстнёт грамм 300 и – вперёд. Пуля, она пьяного первым находила. Пьяный не бережётся... Дураки придумали поговорку, что пьяному море по колено, он и в луже захлебнётся. Страх потерял, а значит, и жизнь. Трезвого Бог бережёт. На курево я выменивал сахар или тушёнку. Полезнее, чем никотин.

Преподавал дядя Коля политэкономии в Военно-медицинской академии, расположенной недалеко от их дома и от метро «Политехническая».

– Политбойцы первыми погибали, а ты уберёшься.

В конце войны маршал Жуков встретился с румынским королём Михаем в Констанце. Идёт сквозь строй почётного караула, а там великаны один к одному. Почувствовал он себя лилипутом. На следующий день дал команду собрать со всего фронта богатырей русских самых-самых. Одели эту сотню великанов в парадные мундиры, все ордена и медали начистили. Король, идя сквозь строй, почувствовал себя пигмеем среди русских Ильей Муромцев и Микулов Селяниновичей. За обедом король и маршал смеялись от души, поняв ситуацию. В том почётном карауле стоял и гвардии майор Селивёрстов, грудь колесом, сапоги в голенищах чуть не лопаются.

Я, дядя Коля, пожизненно стою для тебя в почётном карауле. Селивёрстов В.

Акулинины

(поминальное эссе)

Они сошли с лица Земли тихо и незаметно, как и жили, не затрудняя никого. Жили долго и счастливо и умерли в один год. Полебединому, не смогли друг без друга.

Не попрощались не от обиды, а, напротив, от любви ко всем нам, кого оставили жить. Смерть, она самый сильный примиритель, с нею любая вражда умирает.

Сейчас, когда они стали вечными, казавшаяся мне наивной фраза, сказанная Александром Михайловичем, светится совсем по-иному:

– Я никогда не изменял своей жене.

Редко говоримая мужиками, она доказывает – жила между нами красивая пара людей-лебедей. Тогда эта фраза меня поразила. С такой естественной лёгкостью и гордостью он её говорил. Оно так и было. Сколько я ни наблюдал его общение с женщинами, даже весьма привлекательными, никогда не исходило от него пошлость или похоть. Интерес у него к дамам дальше литературного не простирался.

Уникальность четы Акулининых многогранна. Живя много лет в современном многоквартирном доме на улице Интернациональной, им чудесным образом удавалось сохранять деревенский уклад. У них и пахло свежим сеном, полыньёю и подсолнечным маслом. Каким образом им удавалось оставаться в городе русскими крестьянами, остаётся загадкой.

Зинаида Никитична обитала в кухне, коридоре и маленькой спальне. Писатель – в кабинете-библиотеке и зале. Хотя библиотекой служила вся их квартира, книги заполняли все стены. Что тут странного? Дом писателя и должен состоять из книг, а не из хрусталя и дорогих сервизов.

Искренне жаль, что кончились вместе с ними писательские вечера – акулининские литературные пятницы. Это была их семейная странность, добровольные право и обязанность. Представьте себе, что каждую пятницу в течение нескольких лет в ваше жилище приходит много людей, разных, знакомых и не очень, и весь вечер толкуются по комнатам, местам индивидуального и общего пользования, едят, пьют, громко кричат, что-то читают, ругаются. Я попытался посчитать, сколько людей прошло через горнило этого дружеского и благосклонного литсуда. Сбился на второй сотне. Без преувеличения вся пишущая тамбовская братия.

Ни одна жена такого не выдержала бы и на второй или третий раз разогнала всех к едрёной фене. Любая, кроме жены писателя Акулина. На стол из семейных запасов каждый раз металось: варёная картошка с укропом (хозяйка умела её варить так вкусно, что пальчики не только оближешь, но и откусишь), солёные огурцы и помидоры, сало с аппетитными прожилками. Летом всякая зелень и овощи. Ну, конечно, хамса или селёдка, хлеб. Выпивку приносили литераторы на добровольной основе, да и было её – так, по традиции, для затравки разговора, а больше пива.

Он был настоящим писателем, а она настоящей женой писателя. Когда в молодости Саша бросил сносно оплачиваемую работу и стал только писать, Зинаида через год снесла в ломбард последнее колечко и пошла работать за двоих, создав все условия, чтобы он создал то, чем мы сейчас гордимся.

Справедливости ради надо поправить Акулинина: он никогда не изменял двух дамам – супруге и литературе, а они платили ему взаимностью.

Часто снимаю с полки книжку «Крепость на Цне». Откроешь, и сразу лётся со страниц негромкая, но слышимая и услышанная людьми, сильная, спокойная многоцветная русская проза. Заканчивается книга пророческими словами: «Где-то я читал, что деревья своими клетками запоминают происходящее вокруг, надо только понять, расшифровать их язык».

Так и с писателем Акулининым. Ещё предстоит понять, расшифровать его творения. В них он закодировал много, а надобно для этого немного – только читать.

Он мало распространялся о секретах своего творческого процесса. Но мысли его о слове и его применении я записал на литературном форуме в Белгороде, куда он меня повёз вступать в члены Союза писателей России.

– Самое каторжное для меня – работа со словом. Почему надо отдавать предпочтение одному перед другим? Думаю, тогда, когда совпадёт, так сказать, три в одном: оно должно как можно точнее отражать мысль – точно бить в цель, иметь звуковую выразительность и не вылезать из общего объёма задуманной фразы, как у осла уши. Но пока совместишь всё это – семь потов сойдёт.

Крепостью на Цне была не только книга, но и их дом, и оба они там были полноправными воеводами. Я уж молчу про взаимную любовь и уважение даже в пожилом уже возрасте, достаточно было уловить взгляды, которыми они обменивались.

Господи, пишу эти строки и думаю, как нам быть, что делать перед неизбежностью смерти. Куда вести себя и других? Акулинин знал куда и заложил пути-дороги, маршруты в своих книгах. Все они ведут в царство Доброты и Милосердия, где и поселился он сам.

Был Александр Михайлович – и нету. Куда делся? Давно ли с лопатистой бородой украшал улицы Тамбова. Как-то на душе становилась легче и спокойнее, когда видишь идущего бородатого

человека с вечным портфельчиком. Он всегда ходил пешком, потому что не имел и не хотел иметь машину. Давал интервью в неторопливой раздумчивой манере с чистым чернозёмным говором.

Не знаю, как у других, но у меня сейчас, когда его нет и проникающая в душу рана ещё жива, саднит и сочится, возникает жалость по невозможности общения с ним и чувство вины перед ним. Как всегда, мы опаздываем сказать добрые слова живому, распинаясь в похвалах у могилы.

Встают рядом с ним его земляки Сажин и Вирта, на похороны которого он ездил и стоял у разверстой ямы чуть ли не один, если не считать четырёх жён четырежды лауреата Сталинской премии, до сих пор судящихся из-за них. Не забыть бы Акулинина, как Карельских, вот чего я желаю всем нам.

Человек – существо фато-пато-генное, верящее во всё, кроме здравого смысла. Писатель Акулинин верил в народ русский и его вековую мудрость. Пока он был жив, в области нашей существовало две Лозовки – та, что в реальности, и виртуальная, та, в которой жил Акулинин. Честно признаюсь, мне хотелось бы пребывать во второй, где точно знаешь – Шурка-поводырь проведёт тебя сквозь беды и невзгоды. С ним не свалишься в яму обманной подлости и циничного мошенства. Там ещё ходят в чёрных косоворотках с белым рядком пуговиц наши деды и прадеды. Там ещё помнят ту Акулину, от которой и потянулся род писателя, могучий умом русским и крепкий крестьянским телом. Там полный дом добра – нет ни вещей, ни денег, кроме доброты и любви взаимной.

О своей болезни никогда и никому не говорил. Только однажды на глупый вопрос «Как вы себя чувствуете?» грустно сказал: «Сахарный диабет – семь бед – один ответ».

То, что «мамонт тамбовской литературы» сдаёт, стало замечаться на тех же литературных пятницах. Он имел привычку (в квартире всегда было тепло) находиться голым по пояс. Стесняться было некого, дамы категорически не допускались. И вот в последние два года из могучего мужика превратился он в худощавого юношу, а оказалась эта молодость обманной, смертельной.

Обладал он удивительным писательским и учительским талантом. Ни разу никого не обидел, даже если читала свои опусы очевидная бездарность.

Не принимал слова «литератор».

– Ну посудите сами, какие мы литераторы? Дюже много на себя берём. Литератор, он литературу строит и творит, а мы так, писаки, писатели, писцы. Пишем да пописываем, а всё больше воду льём – пишем.

Перед началом вечера он предлагал любому желающему выйти на середину комнаты, сесть под мощную лампу и перекрёстный огонь собравшихся. Категорически пресекал всякую болтовню.

– Никаких вступлений и пояснений. Только текст. Он сам за себя и за вас всё скажет.

Какую бы нестерпимую ахию не нёс «подсудимый», не было случая, чтобы Акулинин его прервал. Зато не выдерживали остальные:

– Хватит! Наелись! Бездарно! Чушь!

Оценки давал мягкие, щадящие, признавшись как-то:

– Если человек взялся за перо, значит, это зачем-то ему нужно, даже если и не нужно другим...

Его «Рассказ-газета» – повивальная бабка большинства нашей местной пишущей братии, и напечататься в ней считалось престижно: «Сам Акулинин одобрил!».

А его «Лавка писателя» была единственным торговым предприятием в городе, предлагавшим творчество, духовность и ценности общечеловеческие.

Как прискорбно сознавать, что Акулинины своё отжили, и как радостно прикасаться к тому, что они нам оставили.

Знал ли он о скорой своей кончине? Но в последнюю встречу высказал:

– Знаешь, старение и болезни – неустранимый факт приближения смерти, они неизбежные её предвестники, но как наполняет жизнь смыслом и заставляет трудиться факт скоропреходящего исчезновения, так сказать, с радаров Земли. Зная, что умрёшь, хочется трудиться и день, и ночь! Больше живым я его не видел.

Перекрёсток

Я этот перекрёсток не люблю. Он не столько Т-образный, сколько Безобразный. Стоять на нём приходится долго, минут пять, не меньше. Пока по главной прогорит зелёный, там движение мощнее и шире, потом зелёный человечек сначала засеменит, а в конце победит вслед за пешеходами, которых никогда не догонит.

На этот раз в толпе ждущих я сразу выхватил взглядом женщину. Её глаза блуждали по улице и, наконец, наткнулись на мои. Из чего появляется людской перегляд, неизвестно, но разрушить возникший между нами луч не в силах было ничто. Впрочем, ничего необычного в этом соитии глаз не было. Мужчины и женщины выискивают свою особь среди многих, а найдя, тянут её на кукуане всю жизнь. Для меня все женщины делятся на «куриц», «кошек», «артисток» и «гитар». На ветру перекрёстка стояла именно та женщина, которую я искал всю оставшуюся позади жизнь. В ней с головы до ног совокупились безызыянное совершенство.

Не отрывая глаз, я почувствовал раздвоение. Один остался в машине, а второй подбежал к ней, схватил за руку, и мы взлетели, взмыли вверх выше крыш, поплыли над городом. Порывом ветра нас бросило к друг другу, и её тело чудесным образом соединилось с моим. Мы спланировали в ближайший чердак и упали на пыльный продавленный долгим пользованием диван. Странно, но он не скрипел, а пел, как старый баян.

Вернули меня на землю злые гудки задних машин. Включил первую и повернул налево, но, проехав сто метров, вдруг неожиданно для себя, других водителей и инспектора ДПС я круто развернул свою судьбу через две сплошные и помчался назад, к ней. Обшарив ближайшие улицы и переулки, знакомой фигуры не нашёл. Лишь однажды за дверью подъезда на мгновение мелькнуло синее платье... На обратном пути волшебная палочка инспектора заставила меня прижаться к правому бордюру.

– Ваши документы, пожалуйста.

Заправская любовь

Наверное, у каждого, есть свои любимые заправки, где, кажется, и бензин погуще, масло подешевле и женщины на кассе покрасивее. Ребята в зелёных комбинезонах привычно кланяются и ловят в ладонь пять или десять рублей.

А может, просто – привычка вторая натура? Моя вторая натура, та, которую интересуют женщины, тоже считала её лучшей, потому что за кассой раз в трое суток стояла женщина, запавшая в душу этой второй натуры. В голову лезла одна мысль – стоит ли она за стойкой или нет?

Давно уже не начинало сильнее стучать по голове сердце при виде женщины. Меня пугали последствия – скорее всего, если пойду на сближение, по голове уже будет бить жизнь. Жена и двое детей – молоток весомый. Пока ещё ничего не случилось, не произошло, не поздно дать задний ход. Ну ты и трус! Какой задний, если переднего не было? Ещё не недоспал, а уже боишься, что переспал.

Девушки за кассой тоже были самыми симпатичными. Уже не спрашивают, какой бензин, приветливо улыбаются. Видно, зарплаты немалые, если такие красавицы тут держатся. Все они были разной внешности, но объединяло их одно – ухоженная прибранность, стерильная женская чистоплотность, от них и пахло степной травой, чистотелом и душицей. Такие мне и нравились – чистые и плотные. Самая молодая – блондинистая с блинистыми щеками, глубокими впадинами глаз и выдающейся грудью. Главный её недостаток – молодость, который она ещё не утратила, не нравился мне больше, чем короткая мальчишеская стрижка. Мужчина на одну и ту же женщину в тридцать и в пятьдесят смотрит по-разному. Они совершенно непохожи. В тридцать сначала страсть, а потом созерцание красоты, а в пятьдесят наоборот.

У второй, жгуче рыжей дылды, недостаток куда серьёзнее – она была выше меня. Допустить, чтобы женщина смотрела на меня свысока, я не мог. Кроме того, она носила большие зеркальные очки и

напоминала преподавателя французского языка. Глядя на неё, мне вспоминался старый анекдот:

- Ты с кем спишь?
- С переводчицей, а ты?
- А я с открытой форточкой.

В третьей смене обреталась та, на которую я запал, и не хватало запала подойти и сказать:

- Я вас прошу, поехали со мной.

Люди вроде и не магниты, но притягиваются друг к другу сильнее, и самое непостижимое – плюс к минусу. Но единство противоположных полов не получается. Получается нечто противоположное единству. Чем сильнее любят друг друга, тем горячее ссоры, скандалы и обиды. Но от математики не убежишь – плюс на минут всегда даёт плюс.

Она меня притягивала и отталкивала одновременно. Каждый раз, протягивая ей деньги, я ловил её взгляд и молча спрашивал: «Ты согласна?» И она совершенно незаметно для посторонних отвечала ресницами: «Да».

Перегляд наш длился секунд десять, не больше, но вмещал в себя длинный разговор. Между наших глаз протянулась верёвка. Я был уверен, что и она представляла себе наши любовные свидания.

Первой не выдержала она и как-то поздней ночью, когда я возвращался домой и заправлялся на завтра в долгий путь, спросила: «Вы что-то хотите мне сказать?» И я вместо того, чтобы сказать: «Садитесь в машину», покачал головой. Взял зачем-то ненужный чек и вышел. Может, Бог, а может, случай продлил возможность вернуться – машина никак не заводилась, как бы требуя – вернись, но аккумулятор на последнем издыхании провернул стартёр, искра попала куда нужно, и мотор зло гавкнул – нога сама собой выжала педаль до отказа. Заискрило, защемило в душе.

После той ночи я уехал надолго. Встретил я её через год в центре города. Она всё так же была хороша, только слишком высока. Когда мы поравнялись, до меня донеслось:

- А ведь я ждала и готова была на всё. Спасибо, что не позвал, что был и... не был в моей жизни.

А чек зачем-то храню, иногда натыкаюсь на него, хочу выбросить, но не выбрасываю.

Вера

Она часто задумывалась, за какие вины и грехи выпала ей несчастливая и даже несчастная жизнь? Почему всегда то, чего она страшилась, избегала, неотвратимо приходило к ней? Вот и сейчас: арестован второй её сынок Ромочка.

Вера тупо стучалась головой об дверь судьи. Пристав отодвигал её, но она упёрлась в чёрный мундир и зарыдала.

– Женщина, остановитесь, идёт заседание. Очнитесь! Есть порядок. Пишите жалобу, идите к адвокатам.

Вера бессильно застучала кулачками по большой мягкой груди с тяжёлой оловянной бляхой. Немолодой, всё понимающий судебный страж легко взял её руки и несильно сжал.

– Пройдёмте, гражданка, ваше горе понятно, но нарушать порядок поведения в суде нельзя, мне за вас попадёт.

– А передачу можно?

– Какую передачу? Его же только что арестовали. Идите завтра в СИЗО. Всё к следователю. Он теперь ваш бог, царь и воинский начальник.

– А почему воинский? Он же отслужил.

– Поговорка такая.

На улице ей стало муторно. Духота, её дрожь бьёт. Вот и второй в тюрьме, а она на каторге невыносимой. Шестой десяток, а она «вечная девочка», как шутят на работе товарки. Фигурка. Брючный костюм, юбка выше колен на ладонь. Дура старая – чем длиннее года, тем короче юбка, у людей-то наоборот. Может, она непутёвая? Нет, вроде, не шлюха. Изменила Николаю всего один раз за тридцать лет и не жалеет. Тогда в Гаграх не могла устоять перед красавцем кавказцем, да и мстила мужу за пьянство и унижения. Только с ним и поняла, что такое страсть. Перед Николаем до сих пор тайно кается и винится.

Чем быстрее подрастали сыновья, тем чаще приходила ей мысль о неоплатном долге перед родителями. Что мы им задолжали? Любовь и уважение? Деньги, которые они истратили на нас? Как отплатить? Кредиты мы взяли у отцов и матерей неоплатимые, хоть и беспроцентные. Где та сберкасса, где открыт счёт на тот свет?

Вера родилась с Костей двойняшками. Слава Богу, не похожими ни внешне, ни внутренне. Старший, Оська, рос ясным и чистым мальчиком, легкоранимым и обидчивым, встанет, застынет, губы сожмёт, а глаза набухли. Всё ему прощалось.

Когда ей было года четыре, отец по пьянке сказал матери:

– Решил я с тобой, Нинок, развестись. Больно ты скучная и плоская. Столько баб красивых мимо бегают, а я тут с тобой кухтаюсь. Надоела ты мне, как горькая редька. Не получилось из нас Ромео и Джульетты, Тристана и Изольды. Я не Гамлет, ты не Дездемона.

– А как же дети, Вить? Ведь четверых настрогали. Я их без тебя не подыму, да и люблю я тебя сильно, до смерти... Я без тебя не смогу.

– Зато я могу. Уезжаю в Воронеж. Помогать буду поелику возможно. На алименты подашь, получать будешь меньше, имей в виду.

Работал он каменщиком.

– Знаешь, мне как выше пятого этажа класть – дух захватывает. Выше всех становлюсь и взираю на мир свысока. Как в песне, а мы монтажники-высотники и с высоты вам шлём привет.

Приезжал отец на Новый год и 9 Мая, как участник ВОВ. Выставлял бутылку водки «Пшеничная», круг ливерной колбасы, неприятно жёлтое, без прожилок сало и большую связку баранок всегда каменной твёрдости. Конфеты-подушечки и леденцы пахли селёдкой, отчего она их терпеть не могла всю жизнь. Подарки отца мать на следующий день несла в мусорный ящик: самые дешёвые туфли – и те на одну ногу, страшненькие платица, выгоревшие наполовину, может, от долгого лежания на витрине, куклы-инвалиды, без руки или без ноги, с треснувшими головами, простуженно хрипящие. Отец шутил: они тоже участники войны. Видно, покупал он их в уценённых магазинах или на толкучках. На хорошее денег жалел.

Зато цветы привозил всегда. Зимой – гвоздики, летом – розы. Видимо, осталась привычка от ухаживания за своими сожигательницами. Они стояли в воде, пока ни начинали вонять, а когда высохали, долго стояли в пустых вазах. Денег давал мало, сам перебивался «с хлеба на водку». В дни Победы облачался в «ПШ» – полушерстяную солдатскую форму, выменянную на три бутылки водки у случайного дембеля. На груди носил только три боевых награды: «Красную звёздочку», «За отвагу» и «За взятие Кёнигсберга».

– В Кёнигсберге во взводе трое осталось. Наших там полегло больше, чем жителей.

Юбилейных не признавал.

– Всё это цацки, значки красивые. Их всем дают.

Брился опасной бритвой в деревянном футляре, обливался «одэколоном» «Шипр», надраивал старенькие потрескавшиеся хромовые сапоги, брал Веру за руку и шёл к Вечному огню.

Вера спрашивала, поводя, словно бабочка-капустница, огромными жёлтыми бантами:

– А почему он называется вечным? Он что, никогда не погаснет?

– Никогда.

– Даже дольше солнца?

– Память о нас будет жить вечно! – усмехался отец.

После двух рюмок быстро хмелел и начинал орать песни:

– Артиллеристы, Сталин дал приказ...

Приставал ко всем с расспросами:

– А почему мемориал на площади Степана Разина стоит? Он сейчас кто? Бандит-террорист или освободитель трудового народа?

– Время летит всё быстрее, а мы с возрастом бегаем всё медленнее.

Веру бесили отцовские философские высказывания, вычитает где-то и выдаёт за свои.

– Смерть, дочка, – это последняя тайна жизни.

Последыш Володя родился малословным задумчивым брюнетом, непохожим ни на кого из родни. Так и прожил он свою шалапутную жизнь молчаливым бобылём. После армии выучился на телемастера и началась малоденжная, но магарычёвая жизнь. Починит «Рекорд»

соседу, тот ставит бутылку – святое дело и взаимоуважение, деньги со своего брать неудобно. Семью не завёл, завёл дворнягу, такую же молчаливую с тоскливыми глазами. Она следовала за ним, и он кормил её тем же, чем себя. Даже посуда у них была одинаковая – солдатские миски из нержавеющей стали, одна на столе, а другая на полу. Иногда он их путал.

Об одиночестве Вера брата не спрашивала, а когда ему перевалило за пятьдесят, то и думать о женитьбе брата перестала. Да и где бы он жил с семьёй? В развалюшке, что сгондобил отец на юге города, жили мама, Оська с женой, дочерью и сыном. Ютились кое-как на двенадцати метрах. Ушёл Вова из жизни, уйдя на дно. Странно-нелепо, как жил. В его день рождения Вера подарила ему флакон туалетной воды, которой он никогда не пользовался. Выпили – она рюмку, он остальное – и пошли купаться. Лето стояло знойное.

Цна, она только с виду голубка, а внутри змея ненасытная, сколько уж людей поглотила? И отплыли-то метров двадцать, брат вскрикнул, схватился хваткой, как потом оказалось, смертной и потянул её в глубину. Никому она не рассказывала и не скажет, понимая, что тонет вместе с ним, ударила брата по голове, что было мочи, отпустил он её и с открытыми глазами ушёл под воду, как в кино «Титаник», стираясь в зелёной воде из виду и из жизни. Вера от ужаса оцепенела и сама чуть не утонула. Помочь брату не могла, с детства до смерти боялась нырять. Искали его водолазы два дня и не нашли, может, течением глубинным унесло к Пригородному Лесу? Так и говорили на поминках – «пусть вода ему будет пухом». А оставшийся пустым гроб пришлось продать по дешёвке.

Миловидная жена Оськи со временем превратилась в смазливую мегеру. Мужа она не ставила ни в грош и удивлялась:

– Как это меня, такую умную и красивую бабу, угораздило выйти замуж за тебя, полное ничтожество и никтожество?

«Прихватизировав» тяжким трудом заработанную им на стройке двухкомнатную квартиру, рыжая фурия без снисхождения к мужу и без жалости в детям выгнала их на улицу, оставшись вдвоём с любовником. Брат пытался повеситься, но слава Богу неудачно – оборвалась верёвка, но повредил шейный позвонок и стал инвалидом.

Отец шутил:

– У меня орден Славы третьей степени, а у тебя инвалидность тоже третьей. Так что мы теперь с тобой оба кавалеры и притом холостые. Моя Полина меня тоже из квартиры выселила. Зря я тогда от матери ушёл. Сколько этих «Б» сменил. А лучше её не нашёл. Так что моё свободное плавание потерпело сокрушительное кораблекрушение. Напоролся. За что боролся, на то и напоролся. Но я, как ветеран, жилплощадь выбил. Забирай детей и шуруй ко мне в Воронеж.

Стали они вчетвером жить-поживать в однокомнатной «хрущобе». Оська работал охранником в магазине. Сутки дежурит – трое пьёт. Из доброго ласкового мальчика, похожего на Есенина, превратился брат в тупое равнодушное брюхо в чёрной униформе с громадными шитыми шёлком буквами «охрана». Сохраняя магазин, не сохранил он ни себя, ни отца.

Отец чем старше, тем больше винился и раскаивался. Упадёт на могилку и причитает пьяно:

– Прости ты меня, Нинка, гад я и сволочь. Фашист. Таких убивать надо на корню калёным железом. Бросил тебя с детьми малыми на произвол бурь жизненных.

Мама дожила до семидесяти семи. Как вышла на пенсию, ходила в церковь и в больницу. В церкви молилась, а в больнице выносила из-под тяжёлых. За сидельство ей платили деньги, зарабатывала хорошо, заработок делила между попами и детьми. Пахло от неё попеременно то ладаном, то дерьмом.

– Мама, зачем тебе это нужно? Мы что, не можем тебя содержать? Все работаем, да и ты пенсию получаешь. На жизнь хватает...

– А на смерть? Мне смертные надо готовить. Не могу людям отказать. Всё больше знакомые да дальние родственники. Дома сяду, враз помру.

– А в больнице? Они же при тебе мрут. Это что, положительные эмоции?

Нина Григорьевна умерла в своей постели. В той больнице места ей не нашлось, даже в коридоре. Да и некому было с ней си-

деть. У Веры как раз квартальный отчёт. Не зятю же из-под неё горшки таскать. Доброму человеку – лёгкая смерть. Заснула и не проснулась. Вера утром зашла, а она холодная. Но причаститься успела. Батюшка знакомый пришёл. Взяла она его за руку и просит:

– Отпусти ты меня, отпусти, не могу больше.

Лежала с открытыми глазами и ртом. Пришлось железные рубли класть, а подбородок подвязывать, а то люди осудят.

Младший Николай подрос, стал в хоккей за «Химик» играть. Получился из него рослый, красивый, добрый парень. С детства ласковый был. Подойдёт, обовьёт ручонками:

– Мама, я тебя люблю.

После Чечни сын стал нетерпимым, отрывистым, грубым. Она попыталась приласкать, приглубить сына и почувствовала, как по его телу пробежала волна неприятия.

– Не надо, мама, я давно не маленький.

Сел он за наркотики, к которым пристрастился на Кавказе. За сбыт дали пять лет. На адвоката, передачи шли все небогатые сбережения. Сколько дней простояла она около СИЗО! Консервы нельзя, таблетки тоже, тем более наркоману. Развалюшка на Южной осталась пустой, и Вера сделала её дачей – летом жили там, сад, цветы, трава, река. Но по закону в наследство вступил отец.

– Дом продавать буду. Вы тут в трёхкомнатной барствуете, а мы там, в Воронеже, вшестером в однокомнатной. Обменяем с доплатой на двушку.

– Ну нет, я не дам. Это наше гнездо родовое и родимое. Ей грош цена, а память обо всех... о Вове, матери. Коля с тюрьмы скоро придёт.

Отец уехал, пообещав вернуться через месяц. Но вместо него раздался странный звонок.

– Дочка, я завтра выезжаю. Поездом. Самолёты не ходят, а дед хочет в Тамбов.

Странный, потому что он никогда не звонил. Просто приезжал неожиданно.

Прошло три дня, а отца нет. Вера заволновалась, запаниковала. Телефоны не отвечали. Села на ближайший автобус и через четыре часа была в Воронеже. Оськин мобильник откликнулся сразу.

– Он в больнице. Инсульт. Сегодня должны выписывать – дальше держать не будут. Может, ещё застанешь. Он сам ходит.

За две остановки до больницы Вера на перекрёстке увидела толпу народа, милицию и «скорую помощь». Сердце ёкнуло.

– Надо было позвонить, ваш отец с полчаса, как ушёл.

Вера поняла всё. Даже в школе, на стадионе она так не бегала. Отец лежал в карете «скорой помощи» без признаков жизни. Машина сбила его на зебре пешеходного перехода, а водитель скрылся.

В травматологии врач вынес приговор:

– Ваш батюшка получил травмы, несовместимые с жизнью. Черепно-мозговая, переломы ключицы, рёбер, разрыв селезёнки. Учитывая возраст, он не жилец.

Вера месяц не отходила от отца, сделала его жильцом, несовместимым со смертью.

В день выписки позвонила Оське. За всё время никто из них деда ни разу не навестил.

– Я его к себе не возьму. С меня хватит, намучился. Только через мой труп. Теперь твоя очередь дочерний долг отдавать. Вези его к себе в Тамбов. У вас места много. А мне больше не звони. Пенсию за него я получать буду – компенсация за уход, ремонт делать надо.

Дама в чёрной мантии спросила:

– Вы ко мне? Проходите.

Судья её выслушала и пожевала губы.

– Я тоже мать и только поэтому разговариваю с вами.

– Но он же только подвёз его. И пальцем не тронул. Зачем ему деньги? Он зарабатывает прилично.

– Я санкционировала арест вполне законно. В его действиях имеется грабёж. Доказывайте вашу правоту вместе с адвокатом, а меня прошу извинить – заседание.

Дома она вместе с мужем отнесли отца в ванную и искупали. Ходить он мог только под себя. Сменила бельё и с чистой совестью рыдалась на кухне.

Через три дня её вызвали в райпрокуратуру.

– Тут ваш брат из Воронежа жалуется, что вы издеваетесь над престарелым отцом, прикарманиваете пенсию, не кормите, не поите, не ухаживаете за ветераном ВОВ, что можете пояснить по этому поводу?

Иногда ей хотелось убежать в лес и голой на суку тёмной ночью выть на Луну, как делала, по рассказам матери, её бабка Лиза, скрывавшаяся от побоев пьяного мужа.





Нина ЦУРИКОВА

Музыка жизни

Стихи

Родные края

Родные, тихие края неповторимы.
Сторонка милая моя, простор любимый!
Поля, дубравы и леса, пшеница в поле,
Берёзки нежная краса, звон колоколен...
Нигде такой не отыскать волшебной сказки:
Обнимет ива здесь, как мать, подарит ласки.
Под нежный шёпот ветерков река струится
Среди извилин берегов. И пенье птицы,
Что будит маковый рассвет, день возвещая.
Земли родней на свете нет – живу средь рая!

Притяженье земли

Кругом – бескрайние поля,
В минуту взором не окинуть!
Восходит ранняя заря,
В пруды рассветы опрокинув.

Верхушки стройных тополей
Ведут с берёзами беседы.
И нет нам той земли милей,
Где отчий дом, друзья, соседи.

Где детства школьная пора
Бежала улицей вприпрыжку,
В снежки играла детвора,
Шагали в армию парнишки...

Молились матери им вслед,
И песни пели им девчонки,
Их в путь благословлял рассвет
Да шелест осени негромкий.

Да – «С честью Родине служить!» –
Отцов и дедов наставленье.
От бурь и бед пускай хранит
Земли родимой притяженье.

Память Победы

Были юными, сильными, смелыми
И без страха, в смертельных боях
Защищали страну. Стали белыми
Их виски. Возвращаются в снах

Дни войны. И ночами бессонными
Память снова встревожила их:
Нет друзей, что войной похоронены,
До победной весны не дожив.

Вновь весеннее солнце победное
Поднялось над свободной страной,
Молодые сыны, клятве верные,
В строй встают нерушимой стеной.

В том строю – их сердец единение.
Память подвига свято храня,
Будто в вечность, шагает бессмертие
И Победа под музыку дня!

Музыка жизни

Чтоб голос жизни музыкой звучал,
Постигни суть – начало из начал:
Зачатье в чреве – дар любви небес,
Рожденье жизни – чудо из чудес.

Наполнен музыкой незримый мир,
Вселенский хор – озвученный эфир.
Не каждому дано его понять,
Услышать звуки, тайну их узнать.

Семь нот – ему на помощь. И в веках
Всю музыку несут в своих руках.
Как кратки их мирские имена!
На нотном стане – знаки, письма...

Здесь каждой ноте – высотой звук!
Уловит непременно чуткий слух:
Они, как птицы на ветвях-строках,
Поют любовь и счастье!.. Боль и страх...

Внемли, душа! Откройся сердце им –
И станет мир понятен и любим.
Всего семь нот. Но дарят нам они
И солнца свет, и сказочные сны.

Есть нота До – огромный дом земной,
Для счастья дом. Мы в нём живём с тобой.
А нота Ре – рекой течёт для нас,
В неё войти всем суждено лишь раз.

У ноты Ми – все милые слова,
Минор и грусть. И нежность в ней сама.
Вот нота Фа! – Как факел в темноте,
Путь освещает в лабиринт для тех,

Кто на стезю борьбы со злом вступил,
Укажет путь, душе прибавит сил!
Есть нота Соль – спрессована, тверда -
Опора, соль земли, крепка всегда.

А нота Ля – Лямур, лавью – любовь,
Сердца волненьем наполняет вновь.
И в ноте Си – сияние небес –
Путь к храму. Купол. Золочённый крест.

Мы завершаем жизни путь с тобой
Святой молитвой – музыки душой –
Семь нот во храме, в хоре прозвучав,
Величье жизни славят, «смерть поправ».

Она дороже в мире всех наград.
И каждый – чист от музыки. И свят.

В самые тяжёлые минуты

«Мир до невозможности запутан.
И когда дела мои плохи,
В самые тяжёлые минуты
Я пишу весёлые стихи».

/Юлия Друнина/

Свет... Наркоз... Врачи колдуют сутки.
Жёсткая больничная кровать...
В самые тяжёлые минуты
Я беру заветную тетрадь.

И тайком от всех бессонной ночью,
Боль преодолая, пессимизм,
Запишу надеждой светлой строчку –
Благодарность возвращенью в жизнь.

Если вдруг, уставши ненароком,
Сердца ритм даёт внезапный сбой,
Я вступлю в борьбу с злосчастливым роком –
У меня тетрадь всегда с собой!

Слово лечит раны ножевые,
Не спешим к могилам и в гробы.
Успокойся, сердце, – мы живые,
Пой со мной о счастье и любви!

Не сломают ураганы, ветры,
Сто разбушевавшихся стихий:
Всем назло в тетрасточке заветной
Я пишу весёлые стихи!

И, пройдя сквозь жизнь кругами ада,
Непрощённой за свои грехи,
Крикну я чертям: «В костёр??? Не надо!!!»
И прочту весёлые стихи...

Порадуемся дням

Порадуемся дням и ласковой погоде,
И косам, что берёза поутру заплела,
И ветрам, и весной разбуженной природе,
Тому, что в ширь небес стартуют тополя.

Мы улыбнёмся им: когда-то улетали
В мечтах своих с тобой в заоблачную высь!
С годами тяжелей все сказки детства стали,
Зовёт к себе земля: «Не улетай, вернись!»

Живи, спешి встречать весну – мгновенья кратки.
Уже бежит опять по жилам жизни сок,
Любви и счастья век останется загадкой,
А годы утекут сквозь пальцы, как песок...

Мои слова

Мои слова, как ручеек из сердца,
Как родничок, прозрачный и святой.
В него лишь стоит утром поглядеться,
И вечер не пугает темнотой.
Течёт ручей под звуки звонкой лиры,
Ведь душу всю вложил в него пиит!
Надежду даст больным, заблудшим, сирым
И страждущих в день зноя напоит.

Мои слова, как память об ушедших,
Хранят тепло и счастье прошлых лет,
О юных днях и о весне отцветшей,
О тех, кого со мною рядом нет.
А я живу. Пишу и твёрдо знаю,
Что чувства, будто струны – только тронь! –
Весна придёт – объятая раскрываю,
И вновь горит в душе моей огонь.



Елена ЧИСТЯКОВА

Рыжая Груня

Самобытное повествование

* * *

Случилось это событие в конце девятнадцатого века, точнее в тысяча восемьсот девяносто пятом году. Зимы в те времена были снежными, с частыми метелями и буранами. Дороги, тракты плохо расчищены, в перемётах, обочины завалены слежавшимся снегом. Путь утомителен и тягостен. Без нужды вряд ли кто решался в такую непогодицу путешествовать. Однако случалась и необходимость в странствиях. Тогда, полагаясь на милость божию, вверяли ей судьбу свою и пускались в путь.

Елизавета Дмитриевна Адагурова, дама сорока семи лет отроду, принадлежащая к знатному дворянскому роду, как обычно проводила зиму в Европе, когда получила неожиданное, испугавшее её известие о том, что муж тяжело болен, что ей надлежит немедленно вернуться в своё имение в Воронежской губернии.

Довольно быстро собравшись, пустилась в путь, но не одна, а с гувернанткой-англичанкой, которую наняла накануне для племянников, детей брата, и с четырнадцатилетней девочкой-воспитан-

ницей, в судьбе которой, ввиду сиротства последней, из жалости и по доброте душевной имела намерение принять активное участие, призреть сироту и опекать. Своих детей у четы Адагуровых не было из-за того, что муж, действительный статский советник, находясь на службе государевой, много и активно занимался делами, часто ездил в столицы, подолгу проживал там по служебной надобности. Но даже не это главное, а то, что был он старше супруги на двадцать три года, детей не любил категорически и считал нецелесообразным иметь в доме шумную «атмосферу», как он выражался, которую создают обычно дети. Крики, визги и детский плач раздражали неимоверно. Также господин Адагуров никогда не сопровождал супругу в вояжах, выездах на зимний период в более тёплый климат, однако её этот факт не тяготил. Самой ей не возбранялось никогда поступать так, как пожелается. Елизавета Дмитриевна имела неограниченные свободы. Это пару вполне устраивало.

Просьбой выслать за собой карету она не отягощала, решив добираться до дома на перекладных, однако, сойдя с поезда, увидела знакомый ей полозный экипаж и кучера, которого прислал брат. Это порадовало и насторожило. Всё говорило о том, что дела мужа плохи и надо спешить. Баулы и кофры сложил кучер в вазу на крыше, пассажиры уселись и покатали. Кареты у брата добротные, обиты бархатом, отделаны кожей, всё для удобства в пути. Эта на санных полозьях, подрезы стальные, чтобы не истирались, запряжена четвёркой лошадей.

Тепло одетая в бархатный салоп, подбитый мехом горноста, в капор, надёжно завязанный под подбородком шёлковыми лентами, короче говоря – по последней французской моде, Елизавета Дмитриевна всё же зябко куталась в соболью накидку, кисти рук спрятав в меховую муфту. Под ногами дорожная грелка с углями, ноги укрыты медвежьей полостью. Возможно, зябкость дамы была вызвана тем нервным состоянием, которое она испытывала от известия о муже и дальнейшей неопределённости, в коей пребывала весь путь. Однако она отдавала себе отчёт в том, что мужу около семидесяти лет, а значит, всякое было возможно.

Возле госпожи Адагуровой на низеньком мягком пуфике, прильнув к её ногам, сидела воспитанница в стёганой душегрее, тёплом пуховом платке и валеночках, прижимая к груди маленького котёнка, которого ей позволили взять с собою. Напротив, под меховой накидкой, милоство пожалованной Елизаветой Дмитриевной, в капоре и тёплом зимнем пальто, укрыв ноги шотландским шерстяным пледом и спрятав туда же сухие, озябшие руки, съёжилась англичанка. Она кривила рот, бледное, худощавое лицо её выражало нестерпимую муку. Будущая гувернантка всем своим видом желала показать всем, что уже жутко жалеет, опрометчиво ввязавшись в эту авантюру, соблазнившись на обещанный приличный, очень приличный заработок. В Англии её ничего не держало, а о старости нужно было всё-таки позаботиться, больше-то некому. Но такой путь – это тяжело! Она, пустившись в дорогу, наслышана была о том, что Россия холодная страна, но не до такой же степени!

Наступил вечер, когда в усадьбах, в уютных гостиных, обычно пьют вечерний чай с топлёным молоком или сливками, с царским вареньем из крыжовника, янтарным мёдом, сдобными булочками, крендельками, сахарными плюшками и творожными сочными. А потом, пожелав всем доброй ночи, мирно расходятся по тёплым, протопленным спальням, укладываются в мягкие, нагретые грелками пуховые постели. Вспомнив об этом, Елизавета Дмитриевна тяжело вздохнула. Что её ждёт дома?

Проехали знакомое сельцо, видимо Варваровку, в сумраке промелькнуло очертание церкви. Скоро ступит темнота непроглядная и ничего нельзя будет уж разглядеть. Два фонаря по бокам кареты разливали скудный свет, указывая на движение экипажа. Снаружи слышались сердитый голос возничего, взвизгивание кнута. Бренчала упряжь, лошади неслись во весь опор, напряжённо, в такт ходу, всхрапывая. Скоро, часа через два-три, должны бы быть на месте.

Проезжали мимо усадьбы, дом в глубине, в конце пихтовой аллеи, резные, кованые ворота закрыты на ночь. Неожиданно на повороте полозья кареты вильнули, заскользили в сторону, наскочив на обледенелый бугорок. От резкого толчка пассажиры ссыпались вперёд, кони дёрнули, карета накренилась. Дверь распахнулась! Не имея

сил удержаться, Елизавета Дмитриевна вывалилась в снег, девочка перелетела через неё и кубарем скатилась вниз, утонув в глубоком сугробе. Возничий попытался остановить коней, натянул вожжи, и в этот момент карета всею своею тяжестью окончательно рухнула на несчастную женщину, раздавив её. Англичанка с разбитым лицом осталась, распластавшись, лежать внутри. Возничий свалился с облучка. Пристёгнутые, не имеющие возможности двинуться, сорваться вперёд, лошади храпели, ржали, били копытами, нервно топтались на месте, будто продолжая бег, и дико поводили, вращали обезумевшими глазами. Из их разверзнутых, ощеренных ртов с крупными жёлтыми зубами, через удила, белыми хлопьями падала пена.

Собаки, спущенные на ночь за воротами усадьбы, подняли громкий лай. Сторож ударил в колотушку, призывая слуг, понимая уже, что на тракте случилась беда. Хозяева усадьбы, вознамерившись тихо отойти ко сну, заметались, спешно накидывая на исподнее, ночное облачение, шубы и салопы, резво засовывали ноги в тёплую обувь. Выскакивали на террасу, приглядываясь, с желанием понять, что же случилось, и требовали огня, фонарей.

Собак загнали на псарню и бегом поспешили к воротам, открытым теперь настезь. Началась суета, не медля ни минуты, послали за доктором и приставом.

Тяжёлую карету с грехом пополам подняли и поставили на полозья. Бездыханное тело госпожи Адагуровой перенесли в дом. Англичанке, ни слова не понимающей по-русски, прибывший довольно быстро доктор оказал помощь и, тщательно подбирая известные ему слова, попытался узнать, что беспокоит, где болит. Французский язык худо-бедно он знал, а вот с английским была проблема. Наконец разобрались кое-как и уложили гувернантку на кушетку в гостиной. С кучером дела обстояли хуже. Он от перенесённого волнения и серьёзной травмы головы не мог сказать ни слова, только протяжно мычал, стонал и надрывно всхлипывал.

Приехали становой пристав с полицейским урядником. Провели дознание, опросили очевидцев, составили протокол. Карету, поставленную уже на полозья, откатали в каретный сарай, кофры и баулы

собрали, лошадей, чтобы пришли в себя, отвели в хозяйскую конюшню. Приглядевшись и всё сопоставив, по вензелям на карете, по обрывочным фразам поняли, наконец, кем является погибшая дама. Пришли в ужас, так как прекрасно знали супруга и саму Елизавету Дмитриевну и брата её, просто не увидели сходства из-за кровоподтёков и ссадин на её мёртвом, исковерканном трагедией лице. Вышло так, что до своей усадьбы она не доехала каких-то сорока вёрст. Нелепейшая гибель!

О девочке, скатившейся с бугра в сугроб и, видимо, потерявшей сознание, никто не вспомнил. Одни и не знали о её существовании, другим – самим до себя, а благодетельница Адагурова Елизавета Дмитриевна отдала Богу душу.

Отрядили нарочного к брату погибшей, которую перенесли в холодный чулан, отправили человека с немедленным письмом о грустных событиях, постигших Адагуровых, и просьбой приехать и забрать тело, да и людей увезти, ехавших с ней вместе. К утру прибыл сильно опечаленный брат, приехал с людьми. Поблагодарил всех за помощь и сочувствие и, забрав бездыханное тело сестры, раненых гувернантку и кучера, а также карету, уехал, прежде сообщив, что сам статский советник Адагуров чрезвычайно плох. Ему о гибели жены сообщать, видимо, не станут.

* * *

Когда рассвело, на присыпанной ночной метелицею дороге появился человек на лыжах – снегоступах. Это был кузнец из Варваровки, который ходил по обязательным делам в Песчанку, мимо усадьбы. Из-за непогоды, боясь сбиться с пути, он не решился пускаться в обратную дорогу, разумным полагая переждать. Так и сделал, заночевал. Теперь же возвращался домой, поспешал, его ждала работа.

– Непозволительный выходной, – ругал он себя, – загулял я, олух царя небесного!

Раньше в их селе была кузня, и был кузнец, красавец и сердцеед цыган Роман. Закрутил тот цыган шуры-муры с местной соблазни-

тельницей, женой солдата-рекрута Раисой. От этой связи и родился теперешний кузнец – Макар. А Роман ушёл с проходившим мимо табором, зов крови, видимо, даже фамилии его Раиса не узнала. Сына с собой не взял, крохотный был на ту пору, от мамкиной титьки не оторвёшь. А цыгане-то требовали отдать. Мол, в таборе выкорчим, вырастим. Ага! Прямо там, чего захотели! Раиса подговорила братьев, так они с дреколем вышли и с собой полсела за компанию вывели. Поостереглись тогда цыгане, убрались прочь скоренько.

Вернувшийся солдат, как уж водилось в ту пору, принял мальчика, куда денешься. За ним самим, поди, грешки водились. Рекрутская доля тяжёлая, многие в бегах от неё были в те времена. По святцам имя ребёнок получил – Макар, с фамилией Гринёв. Псаломщик в метрической книге храма записал – незаконнорожденный младенец. Так дело и сладили. Раису обманутый муж не лупцевал, не упрекал. По пьянке врежет разок-другой, и то больше для порядка и послушания. Всё как у всех. Макар вырос на загляденье, все другие-то дети в семье низкорослы, кривоноги, приземисты, видать в папку своего, рекрута, а может, и в кого ещё. Девки курносы, конопаты, скуласты. Волосы – точно ржавая осенняя солома, а вот Макар лицом приятен, волосы чёрные, будто смоль, густые, кучерявые. Он парень стройный, фигуристый, вёрткий да игривый, но не это главное. Главное – кузнец из него вышел отменный. Своего цыганского папашку, кузнеца Романа, превосходил многократно. Куёт, точно узор на спицах вывязывает или вышивает вычурно.

К нему многие обращались. То надгробие выковать, то ворота, то скамейки для садов и парков, светильники да разные «финтифлюшки» на кареты. Мало ли чего взбредёт в голову господам-заказчикам, в округе, да и не только, много работ Макара первостатейных. Другие-то кузнецы почешут затылок, потопчутся:

– Колготно-о-о, морока это, тяжёлёхонько! И так шибко притомились, работамши.

Так ведь устать можно и просто лясы когда точишь, мечешься попусту, пустопорожними делами занимаешься, а тут – шедевр, гимн кузнечному делу!

Примитивной работой Макару заниматься недосуг, лошадей подковывать тоже нет времени. Это подмастерье его берётся выполнять. Нанимает Макар двоих сельских, более-менее способных, те на подхвате у кузнеца. Пока ни один не заинтересовался, чтобы научиться у Макара настоящему ремеслу. Живут вполсилы, работают в четвертинку, день прошёл, да и ладно.

– На хлеб есть и будя. Чаво мозги сушить, рази нет, чем их занять? – так рассуждают. А Макар не таков, он хочет в мастерстве до самой сути дойти, всё в кузнечном ремесле понять.

Надо откровенно признать, что остальные дети Раисы ни в какую не приняли брата за своего. Завидовали ему страшно, ревновали. Даже лошадей подковать в соседнее село ездили, не к брату в кузню. Намучился, ещё ребёнком там живя, от их козней, проказ да подлостей. Бывало, бегают за ним, хватают за подол рубахи и вопят на весь проулок:

– Эй ты, цыган! Приходи ко мне на выгон!

Больно щипаются, дёргают за волосы, травят, как собаку, покуда не разозлят. Уж как разозлят да получат тумачков на «сдачу», тогда с рёвом бегут к мамке! А уж что своруют, их словят, на него свалят кражу. Да все и верят – цыган же, руки «чешутся», мол, сами тянутся. Ну и секут тогда. Самое обидное, когда ни за что.

Лет с четырнадцати парень ушёл в полуразрушенную хибару при кузнице отцовой, заброшенной, и стал осваивать мастерство. Частенько ходил в соседнее село к старому кузнечному мастеру. Парень оказался сметливым да смекалистым. Высмотрел, выспросил, до сути ремесла желая дойти. Старый мастер щедро делился с Макаром знаниями своими, да и инструментами помог. Кое-что выменял Макар, другое купил, когда заработок появился, короче, «оброс» всем необходимым в работе. Хибару подлатал, а мать приходила на неделе пару раз. Похлёбку, кашу сварит, простирнёт бельишко, заштопает кое-чего – и то ладно. Макару-то некогда, отрывать от дела не хочется, да и когда горн раскочегарит – отвлекаться не стоит уж. Вот он на хлебе да воде, коль мать не придёт. Это уж гораздо позже избу себе поставил Макар, заработал денег, поднакопил, да поставил.

Шёл ему двадцать пятый год, а всё не женат был. Доля, в этом смысле, не завидная. За него, цыгана, девку никто замуж не отдаст, это факт! Даже коль и гроши имеет, всё одно – ни за что! Мысль такая – сведёт в табор рано или поздно дочуню! Они, цыгане, такие. А если с какой и проведёт времечко под стожком или в рощице да обрюхатит, то голову отшибут, а избу спалят. Выбирать парню не приходится. Бирюком живёт. Хотя девки местные так и льнут к нему, так и фланируют вокруг кузни. Приоденутся в яркие сарафаны да лапти новые, лыковые, веночками из полевых цветов украсят головы, под «кренделёк» зацепятся и ну гулять, кое-чем вилять. А то на бугорок, что напротив кузни, рассядутся в рядок и давай глазками постреливать да страдания голосить. А то семечки лузгают, шелуху на подборок навешивают, на любовь намекают.

Кузня у Макара Гринёва в полном порядке. Таковую кузню ещё поискать!

Старый отцовский кузнечный горн с мехами подновил Макар, наковальню подобрал под себя, что надо. А то коли лёгкая она, то может «зазвонить», а это ж помешает ковке. Да и высоту нужную выбрал, чтобы спине удобно было, не уставала, опять под себя приспособил. Молотки и молоточки с ручками из акации, бука хватистые, надёжные. Клещи разной разности, удержат любую форму, с длинными ручками, чтобы не ожечься ненароком. Тиски и тисочки, щётки и щёточки от окалины да заусенцев, счищать надобно. Ну и, конечно, кадка с водой, как без неё! А ещё цепи с грузом, крепче удержат наковальню, ну и различные напильники. Всё по стенкам развешано, под рукой, на глазах. Корзины с углём тут же.

Кто из сельских мужиков работал с Макаром, те диву давались, как у него всё удобно устроено, сподручно.

Ещё хорошо то, что отстоит та кузня от самой Варваровки в отдалении, на отшибе. Рядом речушка-бормотушка, день и ночь балакает по камушкам, побулькивает весело. Рощица берёзовая в такт порывам ветра раскачивается, пританцовывает будто, кружит голову, ежели долго смотришь на белоствольные. Недалече радуют, восхищают

белизною своею горы меловые. Воздух чистый, прозрачный, не надышишься им. Вот так употеет, взмокнет Макар возле горна, выйдет на косогор, упадёт навзничь, раскинув руки вширь, и глядит, любуется небушком. А там, в вышине, орлы неторопливо кружат. Простор душе, простор творчеству! Именно от красоты такой да умения видеть, примечать всё, выхватывать глазами то, что для других обыденно, не интересно, не заметно вовсе, и давало силы мастеру, и рождались кованые кружева, фантазии дикиховинные, орнаменты замысловатые.

* * *

Проходя мимо усадьбы, где ночью неподалёку случилась беда, а Макар-то ни сном, ни духом об этом, взглянул ещё раз, с удовольствием на свою работу – ворота и ограду, подумав:

– Сейчас бы уж не так сделал, гораздо лучше смог бы.

В это время услышал Макар слабый писк или мяуканье – и не разобрать сразу. Кошачий жалобный голос раздавался, будто откуда-то из-под снега. Макар прислушался. Действительно, из-под бугра, из сутроба.

– Вот же глупое животное, куда занесло его, лисы сожрут, дурня, – заволновался он.

Надо лезть, спасать. Пройти мимо не мог, не таков был. Вечно выхаживал то птичку с поломанным крылом, то зверька. Душевный человек, сердобольный.

Осторожно, боком ставя снегоступы, рискуя сорваться и кубарем скатиться вниз, Макар спустился, прислушался и принялся разгребать холмик снежный рукавицами. Писк усилился, но каково же было удивление кузнеца, когда вместо ожидаемой мордочки котёнка он увидел край пухового платка, потом рукав и, работая уже сноровистее, откопал девчонку, на груди которой, за пазухой, истошно уже, пищал котёнок.

– Вот те на, – изумился кузнец и предположил, – видно, с дороги сбилась.

Кое-как, вспотев и обессилив, вытянул он девочку наверх, к дороге. Прислушался, вроде тихо дышит. Что же делать? Господ побес-

покоить? А ежели они ни при чём? Простовата для них по виду, поди, будет. Не их поля ягодка. Нет, не стоит, так решил.

Он пересадил котёнка к себе за пазуху, взвалил очень тяжёлую ношу на спину и, проваливаясь в снег даже на снегоступах, медленно двинулся в сторону своего дома, решив:

– Там уж разберусь, что к чему.

До его кузни идти предстояло ещё не менее двух вёрст.

Дорога далась тяжело, очень тяжело. К концу пути найденная застонала. Это обрадовало Макара:

– Живую несу, хорошо! Стало быть, выхожу!

Предположений и догадок никаких не делал. Просто знал – надо спасать. А так как в этой жизни полагался только на себя, то и вариантов других не рассматривал. Доплеться кое-как до своей избы, Макар подумал с тоской:

– Вот тебе и поработал! Завтра, поди, не поднимусь, да и потом вряд ли. Надорвался.

Изба выстыла за время его отсутствия. Положив девочку на широкую лавку, выпустил и котёнка, осваиваться, а сам, постанывая, не в силах разогнуть спину, так и поплёлся, сгорбатившись, за дровами. Растопил печь, поставил воду кипятить. Вскоре пошёл тёплый дух, печь разошлась, разгорелась, затрещали берёзовые полешки, запищала, испаряясь из них, влага, в трубе загудело. Вот только тогда Макар попробовал разогнуть осторожно спину, выпрямиться. Вроде получилось. Неспешно подошёл к лавке.

Лица девочки, которой, навскидку, казалось лет пятнадцать, он ещё не разглядел. Платок «кулёмую» наехал на лицо. Осторожно развязав, раскрутив, Макар снял платок, под ним оказался чепец. Сняв и его, Макар аж отступил, отпрянул, ослеплённый! Ярко-рыжие длинные, шелковистые волосы кудряшками рассыпались, свесились с лавки. Лицо бело-розовое, черты не русские. Носик аккуратный, не широкий, пухлые губы! Кто это? Финка? Чухонка? Да!

Он видел как-то финских женщин, проезжали мимо. Кучер просил посмотреть, что с лошадьёю, захромала, может, подкова сбилась. Женщины спустились тогда с коляски, прогуливались в ожидании

дальнейшего пути. Рыжеватые волосы, стать. Сами крупные, не толстые, а именно крупные и высокие.

На плите закипела в чугуне вода. Мысли отвлеклись:

– Надо заварить кипрей и мёд добавить, напоить – первейшее дело!

Макар долил в рукомойник горячей воды, подумав о том, что девочка захочет умыться. Сам он с удовольствием сполоснул вспотевшее лицо. Подогрел в мисочке замёрзшее в ледышку молоко, раскрошил туда сухарик, дал котёнку. Тот с жадностью накинулся на еду.

Склонившись над девочкой, Макар принялся осторожно похлопывать её по щекам, смочив тряпицу, протёр лицо её, шею, руки. Растёр плечи, промял, разогнал кровь. Девочка вдруг протяжно, со стоном вздохнула и приоткрыла слегка глаза, но, увидев склонившегося над ней мужчину, резко зажмурилась.

– Не бойся меня! – мягко и тихо сказал Макар. – Просыпайся, чай пить будем.

Видимо, приходя в себя, решившись, она открыла глаза, поводила ими, осматриваясь и не понимая ровным счётом ничего, осторожно поднимая руки, закрыла лицо ладонями.

– Давай попробуем сесть, – предложил Макар, – садись, я тебя поддержу!

Он, взяв за плечи, приподнял и осторожно посадил её. У девочки появилась возможность оглядеться, но ясности это не принесло. Не зная, понимает ли она русскую речь, Макар говорил чётко, отрывисто, давая время на раздумье и осмысление сказанного.

– Меня зовут Макар, а тебя? – решил спросить он.

– Тарья, – разлепив наконец губы, тихо ответила она.

– Дарья? – уточнил Макар.

– Тарья!

– Ладно, – устало выдохнул он, – буду звать тебя Груня! Груня, поняла?

– Поняла, Груня, – тихо, слегка коверкая буквы, всё же произнесла она.

– Ну и слава богу! Чай пить нужно, с мёдом и сухарями, поняла?

– Да!

Осталась Груня жить в избе Макара. О том, что у него появился найдёныш, девочка, как оказалось, четырнадцати лет, только рослая, говорить никому не хотел. Да это никого и не касалось. Сердцем этот одинокий человек понимал, что спрашивать ни о чём не стоит её. Придёт время – сама объяснит. А поскольку никто не кинулся искать, наводить справки, опрашивать людей, было понятно, что вряд ли и будут искать. Груня постепенно приходила в себя. Она забавлялась с котёнком, чувствовалось, хочет что-то вспомнить и у Макара желает спросить, но не решается. Ввиду очень снежной зимы в кузницу никто не приезжал, из Варваровки тоже не приходили, даже мать.

Так прошла неделя. Девочка освоилась, пыталась помочь по дому, то полы подметёт, то посуду вымоет.

Как-то услышали они, что к кузнице кто-то подъехал. Макар велел Груне из избы не высовываться, а сам пошёл узнать, что да как. Оказалось, тархан. Собирает шкуры животных, сало нутряное для мыловарни и много ещё чего скупал по сёлам. Таким и непогода не беда, заехал по необходимости в кузню:

– Погляди, Макар, у меня, кажись, стальной пруток на санях лопнул, вихляет дюже.

Он-то и рассказал Макару новость, которая всех потрясла, о том, что недалече карета перевернулась, и кто пострадал, рассказал, а о девочке ни слова. Уж Макар и так и сяк выпытывал, мол, был ли ещё кто-то в карете, кроме хозяйки, иностранки и кучера. Никого больше! А Макар чувствовал, что не всё так просто в той истории. Откуда же взялась Груня тогда? Стало понятно, что со смертью госпожи Адагуровой никто судьбой Груни, если она была в карете той, интересоваться не станет. Всем безразлично.

Когда в конце недели к сыну, наконец, смогла прийти мать, то она очень удивилась Груне. Откуда? Он, взяв грех на душу, и соврал или нет, предположил, что цыгане украли девчонку далеко отсюда, в других землях. Теперь она для них стала обузой, бросили посреди дороги – авось кто подберёт. Подобрал Макар. Мать поверила, а он попросил никому пока не говорить о ней, может, ещё приедут, передумают и заберут. Всяко бывает. Да, таких случаев много в ту пору было. Крали

детей ярких, необычных или уродливых, калек, чтобы они попрошайничали. Истории жизни им жалостливые придумывали.

Однажды вечером испёк Макар картошку в печной золе. Сидели они вдвоём с Груней за столом при свете коптилки, чистили картофелины, посыпали крупной солью и ели. И так хорошо, уютно, даже душевно было, что Груня вдруг заговорила. Эта немногословная, разговаривающая на ломаном русском языке финка поведала Макару, что родители её люди были не бедные. Они готовили и продавали масло чухонское, коровье, да сыр. А потом случилась беда. Кто-то по злобе заткнул трубу печную, и ночью вся семья угорела насмерть, а Груня металась в сонном бреду по постели и свалилась на пол, закатилась под кровать. Там, внизу, у пола, из-под двери приток свежего воздуха был, это её и спасло. Соседи взяли девочку к себе, да у них и своих детей пятеро, всё думали, куда её девать. Госпожа Адагурова, проезжая через селение, в котором жила семья, возвращаясь в Россию, каждый год покупала сыр, много сыра, и масло. Всем известно – чухонское масло из свежих сливок самое вкусное! А из сметаны да кислого молока – объедение! И твёрдый сыр, который родители Груни делали, считался лучшим. Госпоже рассказали о трагедии семьи, и она решила взять девочку на воспитание. Так Макар и узнал, каким образом она попала в ту злосчастную карету.

Он ещё раз уверился в том, что никто не будет разыскивать Груню, и она может остаться жить здесь. А версии о появлении её в этих местах они решили придерживаться той, что рассказали матери Макара, про цыган.

Когда Груня услышала о гибели Елизаветы Дмитриевны, долго и горько плакала, а выплакавшись, решила остаться жить у Макара и помогать, лишь бы он не передумал и не выгнал прочь. Идти ей было некуда. Так и сказала.

Шила в мешке не утаишь, как говорится. Новость о том, что у кузнеца прижилась чухонка, вскоре разнеслась по селу. Метели перестали донимать, дорога устоялась, и под любым предлогом в избу Макара принялись навещать непрошеные гости. За всякой мелочью приходили или просто так. Он был удивлён, не знал, что люди такие

любопытные бывают да настырные. Они открыто, нагло и бесцеремонно разглядывали Груню. Но ведь и в самом деле дивно и чудно! Прошло время, и народ угомонился со своим любопытством. Однако иноземку не приняли за свою и при любом удобном и неудобном случае «подкусывали, подначивали» и её, и кузнеца, на скандал выводили. Кузнец не поддавался, а уж Груня – та вообще «непробиваемая» была.

Чем взрослее Груня становилась, тем больше интересовалась кузнечным ремеслом. В доме быстро приберёт, еду приготовит – и скорее к Макару. Смотрит, замечает всё, интересуется. Ему это любо. Потом стала помогать Макару, придерживать заготовку клещами и разное другое выполнять.

Так минуло года два. И вот как-то однажды позволил Макар и ей самой молотом поработать. Это для Груни было радостью неописуемой. Она мечтала выковать цветок, неторопливо, по лепестку. Долго трудилась. Получилось-таки! Корявенько пока, но начало-то положено. Подойдя к Макару, неожиданно обняла и поцеловала его. Такого раньше между ними не было. Девушку он не трогал, хотя питал к ней нежные чувства, больше, чем просто привязанность. А она, можно сказать, боготворила своего спасителя, любила страстно, жертвенно. И если бы ему что угрожало, то ринулась бы, не раздумывая, как тигрица, на защиту. Надо сказать, «вымахала» она заметно, выше Макара на полголовы, крепкая. А что ж? На свежем воздухе, пища простая, но вкусная, да и жизнь у Груни стала спокойная и радостная рядом с любимым человеком.

Именно в этот вечер, после победы над металлом, сильная девушка Груня сама была повержена, побеждена кузнецом Макаром. Недели две они ходили «шалыми», с затуманенными очами, открыв для себя что-то новое в жизни. Дверь в кузницу за время любовного безумства ни разу так и не скрипнула, открываясь.

Обвенчалась пара тогда, когда выдалась свободная минутка, когда с полей убрали урожай, когда землю прихватывали уже первые морозцы, когда работы было меньше и главное, когда под сердцем Груни шевельнулся первенец.

А там пошло-поехало! Один за другим, один за другим, «настрогали» они пятерых ребятешек. И главное, первые двое мальчишек черноволосые, смуглые, в отца, а остальные рыженькие, белотелые – в Груню. Как так? По этому поводу недоумевали и в Варваровке, и сами родители.

– Я слышал, – выдал версию Макар, – кто больше в тот момент любил и желал, на того и похожий будет ребёнок.

– Вот уж глупости, – возмутилась Груня, – я что ж, колода бесчувственная, по-твоему? Два раза бревно-бревном, а три – горела от желаний, так?

– А думаю, шестого нужно родить, тогда посмотрим, – хмыкнул шуточно Макар.

– Да уж будя, поди. В кузне работать хочется. Так бы всё бросила и побежала бы!

Жило семейство дружно. Груня немногословная, скажет, как отрезет. Бабы варваринские не такие, они горластые, шумоватые. Орут, визжат, грозят и, конечно, получают от мужиков, а то и сами сцепятся, патлы друг другу рвут.

Как-то раз Макар спросил:

– А ты помнишь ли, что мать твоя готовила, может, сама, чего наваришь?

Надо признать, готовила Груня плохо и невкусно, это по-первости, конечно. Молодая была, да и откуда навык-то?

– Рыбы у нас много ели, – призадумавшись, ответила Груня.

– Рыбы? Так я поймаю тебе, готовь!

Принёс он жене налима.

– Вот, знатная рыбка, вари, пеки.

Когда он пришёл из кузни голодный, как чёрт, его у входа окутал вкусный рыбный аромат.

– Ого! Да у нас ушное нынче, да?

Семья дружно расселась по лавкам у стола, и Груня наполнила из большого чугуна миску общую.

Макар глянул и удивлённо выпучил на жену глаза:

– Это что, рыба с молоком что ли? Я такую бурду жрать не буду!

Дети, поглядев на отца, тоже отпрянули, положив ложки на стол.

– Да ты попробуй, мама моя всегда готовила, соседи готовили. Хлебни, а потом решай.

Что делать? Дети пытливно уставились на отца, будет есть или... Груня отошла от стола и облокотилась о печь в ожидании. Макар подумал-подумал, взял ложку и ломоть хлеба:

– Ладно. Одну хлебну, попробую.

Похлёбка оказалась очень вкусная! Нежный налим, томлёный в неснятом, жирном молоке!

– Налетай, ребятня, – пригласил Макар, – а то сам всё слопаю.

Дружно застучали по краям миски ложки. Груня счастливая стояла и, глядя на своё семейство, улыбалась. Угодила.

Бывало, когда Груня прикрикнет на расшалившихся детей в присутствии мужа, тот, не отрываясь от дела, только и скажет:

– Там вон мётлы на базар в Варваровку завезли, слышал. Так ты б сходила, выбрала покрепче какую.

– На кой?

– Так на Лысой горе вскорости шабаш будет, у твоих-то, у рогатеньких.

– Ну-у-у,- подозревая подвох, начинала «закипать» Груня.

– Полетела бы, послушала чего к чему, может, дельное чего знают, как, к примеру, с ребяташками управляться.

Тут же, шутейно, получал муж шлепок кухонным полотенцем по спине:

– Ох и балагур! А ты кто, коль я чертовка рогатая, а? То-то!

Или:

– Ты бы Груня сбегала до речки-то.

– На кой?

– Замочила бы, штоль, лепёшки на денёк-другой, а то не угрызть, каменные прям.

Груня, сердясь, выскакивала из избы отдышаться маленько, и уже с улыбкой, успокоенная возвращалась обратно. И затевая тесто, пекла другие, мягонькие.

К тому времени на работу в кузне наёмных не было необходимости приглашать, повзрослели немного старшие сыновья, отец их привлёк к работе, стал учить, да и Груня незаменимая помощница мужу.

Частенько мужики сельские, идя мимо с покоса, подначивали и задирали Макара:

– Баба, глядим, у табе огромная.

– Так это ж ничего, – спокойно отвечал он, – зимой, что печка, пригреет, а летом мне тенёк от неё.

Да и бабы сельские не отставали, каверзы всякие придумывали:

– Чавой-та у табе мужик такой тщадушнай да тощий? Такого штоль табе надоть?

– Да вы о чём, бабы? Он же у меня весь в коренюшку пошёл!

– Оно и видать, настругал ребятёнкав прорву.

– Да разве ж это прорва? Только начало! Не убудет с него. Стругает, да пуце прежнего крепчает. А вас-то завидки, поди, берут? Так уж знайте, своим попользоваться-то не дам, – отвечала Груня.

– Ой, чаму жа тута завидовать-та? Наши-та простыя. Ясно дело, коль кузня рядом, то мужик твой, поди, жалезнай, неутомимай в етих делах. Слыхали, ты сама ковать здорова!

Груня не выдерживала этой гнусной перепалки и прежде, чем, хлопнув дверью, зайти в избу, кидала:

– Эх, вы-ы-ы, рохли! Сами-то не куёте, не мелете, размазни!

После такой перебранки бабы уходили, зло поджав губы, шепча под нос себе угрозы. Каждой хотелось, чтобы за ней последнее слово было.

Надо сказать, что частенько Макар шутейно воспитывал Груню, отучал от вредных пристрастий:

– Надо пойти вожжи взять, – в раздумье будто, говорил Макар.

– На кой?

– Тебя, глупую бабу, лупцевать стану!

– С какого ж перепугу?

– А пошто ты вершки сливки с махоток лижешь, а?

– Сладенькие, вкусные!

– Ты может тоже для меня вкусная, я ж тебя не лижу?

Как-то на рынке у коновязи мужики курили и спросили Макара:

– Баба твоя послушная, тихая, глядим. Поделися с нами, чем ты её воспитал?

– Кочергой, – хитро улыбаясь в усы, серьёзно ответил Макар.

– Бока ей обламываешь штоль?

– Чего-то сразу бока? Командую ей: «Так, взяла кочергу, встала к печи и помешивай угли, помешивай, разбивай головёшки, загребай в сторону». Угли обратятся в золу, а баба придёт к уму. Успокою враз – прожарится маленько и охолонёт чуток. Вот так-то, мужики.

И уходил прочь, оставив мужиков, тугодумов, в полном недоумении. В шутку ли Макар это сказал или всерьёз – им невдомёк.

Как-то спросили Макара мужики ядовито, с еле скрываемой злобой:

– У твоей-та, чухонки, все мозги на местах? Дурная она с виду, глупАя!

– У моей-то, православной христианки, с которой мы и в церкви венчаны, всё на месте. А вы чего интересуетесь-то?

– Да с виду будто не дал ей Бог умку.

– Ошибаетесь, мужики, – сдерживая себя, терпеливо говорил Макар, – это только с виду. Вы вон, с виду, горемыки неказистые, голь перекатная, пьянь подворотная, так кажется. А глянь на вас на ниве, когда за плугом идёте, на вырубке, на покосе – да чего там! Дай вам сабельку или ружьё да отправь на войну за Отечество! Вернётесь – грудь в крестах! Ничего не скажешь, геройские мужики! Вот и выходит – гляди глубже! Не всё верно, что кажется. Не спешите говорить о человеке, надо подумать сперва. То-то! Так, дядь Паш? Правильно говорю? – спрашивал Макар ветерана русско-турецкой войны, страдающего от ран хилого мужичонку. Ты ж у нас герой?

– Ага, – поджимал губы и теребил бороду дядя Паша, – гярой, тока с дырой. Левым боком хожу свищу, а хочу шкворчу, а пожелаю – попискиваю, – обречённо заметил мужик, – так мене сквезонул турок пулюкою на хронте-та.

– О, Пашка, – подначивали мужики, – ступай вон к Макарке, он табе пробочку отольёт, заткнёшь тады дырку-та.

Макар отправлялся восвояси, а мужиков начинал разбирать стыд, что обиду нанесли кузнецу, бабу его словесами задели, и горделивость за себя разбирала:

– Вот мы какие, на самом-то деле, гярой, тудуть твою!

Встретились на покосе Макару как-то братья. Хмуру, из-под бровей поглядели на него и надумали съязвить.

– Ну чё, братуха, чем бабу свою кормишь? Пышная больно, раскоровела, – выдал, гордясь своей шуткой, один.

– Да он, поди, калачами да мясоем кормить её, – вставил другой, а народ с косами да граблями подвинулся поближе, рассчитывая на хохму.

Макар обиду показывать не стал, хотя кулаки «чесались» вмазать трепачам:

– Ну, вы и загнули, ребята! Откуда у нас мясо да те же калачи? Юшка да тюрка квасная, кисель гороховый да горбушка ржаная. Я признаюсь по совести вам и то только потому, что вы мои братья, другим не сказал бы, много чести.

Народ ещё плотнее приблизился, прислушиваясь к задиристому разговору братьев.

– Ну?

Макар понизил голос и, заговорчески оглядевшись, выдал:

– Она у меня тряпками набита, братцы мои!

– Чаво-о-о! Чаво буробишь-та!

– Ага, наберу тряпья и набиваю в неё, тискаю и утрамбовываю! На глазах пухнет прям, – и громко добавил, – да только куда моей до ваших кадушек? Вы своих, поди, катом катите, а уж мне, бедному, приходится на коляске рессорной везти, да и то боюсь растрясти!

Народ так и грохнул хохотом, наверное, зверьё в ближайшем лесу распугал. А братьям-то не до смеха!

– Лихо их Макарка отбрил, – хохотал народ, – пуцай на своих кочерыжек глянуть. Их хоть поставь, хоть положи!

* * *

Незаметно подошёл и тысяча девятьсот четырнадцатый год. Война. Как-то Макар вечером грустно пошутил:

– Ну, что же, Груня, тут поделаешь, на войну, гляди, вскорости, отправлюсь. Ты уж тут держись, за что схватишься, только за чужие портки не хватайся. Гляди у меня! Не балуй, поди, за главного кузнеца оставляю. Не возгордись!

Жена, отхлебнув чай, спокойно попеняла:

– Вот ты ж дурень у меня, Макарушка! На кой мне чужие портки? Да и кто тебя призовет, устарел, таких не берут, толку нету. Да и тут, полагаю, много будет у нас забот, все встанем к горну. Ковать нам, не перековать!

Так оно и вышло. Военные заказы на кованые детали для конной упряжи, те же подковы, бывало и на холодное оружие, а рук-то не хватало. Забылись уж приятные душе кузнечные заказы. Пошли подрезы на ободья колёс для телег, бричек. Даже лемехи для плугов, серпы, вилы, скребки да мотыги, топоры да колуны большою стали редкостью. Не до того. На фронте, конечно, всю трудились полевые кузны, однако основную работу выполняли кузнецы в тылу.

А тут в семье Гринёвых беда приключилась. Утонул весной, в половодье, средний сын. Вздумал на льдине кататься, настырный малый был, самовольный, да родителям-то не легче. Удаль свою, ребячество хотел показать детворе, а льдина возьми да перевернись, так и накрыла с головошкой.

На следующий год после того, как схоронили Макар с Грунею сыночка, глоточная зараза, дифтерия, бродила по селу, ребяташек «косила». Унесла двух младших девочек. Груня вся лицом почернела от горя. Не ела, не пила, а била и била по наковальне, искры из-под молота в разные стороны снопами летели. Старалась унять боль душевную, из кузны не выходила. Макар смотрел на жену и в ужас приходил. Под глазами на пол-лица круги тёмные, рот плотно сжат, губы ссохлись. В отблесках огня горна рыжие волосы, не прибранные, как обычно, развеваются вокруг бледного, безумного лица жены. А она молотит и молотит, всё искры высекает. Он не беспокоил, не останавливал, надо беде перегореть в душе, вылиться

на наковальню, чтобы можно было размозжить её, беду ту, в прах. Не могла Груня голосить и причитать, как другие бабы. Так, по своему, горе своё переживала. Сам Макар стал молчуном, слова из него не вытянешь, ушёл в себя.

Как-то заглянула баба одна из Варваровки. Шла она от родни из соседней деревушки, притомилась. Груня усадила её за стол, поделилась едой. Та и рассказала, что бабы к старцу-колдуну ходили о своём узнать, да заодно и поспрашивали, ради интереса, почему у кузнеца только рыжие померли дети? Он пошептал, поворожил да и говорит, мол, двое старших детей чернявые, точно чугуны, а трое - точно медь, рыжие. Медь она мягче, слабее чугуна. Вот и погибли рыжие, слабее оказались, а чернявые, точно литой чугуны, крепче.

Тут уж не выдержала Груня:

– Наш народ северный, стойкий да крепкий. Подумаешь, рыжие! А вы там плетёте что ни попадя. Из интереса-е-е-су они, главное!

И погнала «поганым венником» гостью-сплетницу вон из избы. Слушать всё это было непереносимо.

* * *

Семью перемены, происходящие в эти годы в стране, тоже ой как коснулись. Сыновья всё что-то жалась по углам, перешёптывались и однажды выдали родителям, мол, подадимся мы в Петроград. Там жизнь кипит, бьёт ключом, а здесь что? То же, да одно и то же. Парни приезжали, так с собою звали, много чего рассказывали. Захотелось сыновьям новизны, и это понятно, конечно. Мать так и рухнула на лавку:

– Куда? Зачем? Сгинете там! Перемелет вас колесо столичное и выплюнет. Скольким жизни стубил город! Сыночки, милые, одумайтесь, – Груня тихо плакала, а Макар приобняв её за плечи, утешал.

С сыновьями он, конечно, поговорил и не раз. Вроде все убеждения исчерпал и наконец сдался, доводы иссякли. Старшему вот-вот восемнадцать будет, другой вослед, погодки они. Может, и правда, пусть пробуют жизнь «на зуб», сам-то Макар в четырнадцать стал самостоятельным. Ничего, не сгинул же.

Так и получилось, уехали дети, пообещав матери быть осторожными и никуда «не вступать». Ага! Легко сказать – не вступать. В те бурные, тревожные времена оставаться в стороне от событий не получалось. Конечно, и их подхватил поток всеобщего настроения, негодования и восторга, вверх в революционные события, прокатился по братьям катком демонстраций, арестов и митингов.

Часто после работы в кузне, усталые и разогретые огнём горна, Макар и Груня выходили и садились на пригорок. Вдыхали свежий воздух, смотрели вдаль, на закат солнца.

– Вот так и мы когда-нибудь с тобою закатимся, родненькая моя, – тихо проговорил Макар, ласково погладив жену по плечу, – только уж безвозвратно, – его частенько стали посещать такие гнетущие душу мысли.

– Конечно, мы ж не солнышки, – пытаюсь сменить настроение мужу, грустно улыбалась Груня, – я думаю, ещё небо-то покоптим кузнечным дымком.

* * *

Было Макару около пятидесяти лет, когда он серьёзно занемог. Как-то неожиданно, может быть, продуло, просквозило или распаренный вышел из кузни, стал он кашлять. Сначала изредка, потом чаще, с надрывом. Кашель «бил» ночи напролёт. Макар похудел, осунулся. Груня сама, как могла, лечила мужа и лекаря приглашала, да не одного. О работе речи уже не шло, лежал Макар Гринёв на лежанке протопленной печи и кашлял уже с кровью. Он таял, как восковая свеча, прямо на глазах. Скоротечная чахотка.

Вечером, сидя у постели мужа, Груня пела песни на непонятном ему языке. Видимо, это колыбельные, финские, которые у Груни в памяти остались с детства. В такие моменты сильная, волевая женщина становилась нежной, мягкой, голос её журчал, обволакивал любовью и заботой. Конечно, эти песни пела она и малым своим деткам, да Макар не слышал тогда, всё время проводя в кузне, работать надо было, семью кормить.

– Золотце ты моё, – глядя жену по руке, тихо еле шелестел губами Макар.

– Ты, Макарушка, держись давай. Не бросай меня, не оставляй, я без тебя погибну, – стараясь быть убедительней, просила Груня, – знай, я за тобой пойду.

– Я держусь, – тихо произнёс Макар, – сколько сил есть.

Этой ночью его не стало.

Когда выносили тело кузнеца из избы, проводить в последний путь пришли из Варваровки сельчане. Макара уважали, он никому в просьбе ни разу не отказал, жаль было человека. За гробом следом вышла и Груня, ропот прошёл по толпе.

Несмотря на осеннюю стылость, её непослушные, теперь будто подбелённые, рыжие волосы, морскими водорослями развевались на ветру, старый салоп болтался, как на колу, высокая, стройная фигура словно присела, съёжилась, спина сгорбилась. Её сразу даже не признали. Кто это?

Мертвенно-бледное, без кровинки, лицо, крепко стиснутые губы. А ей не было в ту пору и сорока лет. Так горе иссушило, так потеря обессилила. Всю дорогу до кладбища она молча шла, не проронив слезинки. Бабы, было, завыли, запричитали, как водится, но, взглянув на вдову, подумали:

– А нам оно надоть? Идётся, молчить, непокрымшись, бесчувственная колчужка! – и замолкли.

Так в полной тишине и шли до могилы, только слышалось шарканье шагов, неловкое, от этой непривычной, какой-то напряжённой обстановки, покашливание и тихий шёпот недоумения и осуждения. А Груне было всё равно, она погрузилась в своё и только своё горе.

Когда батюшка отчитал панихиду по усопшему, а холмик был насыпан, Груня поклонилась людям с благодарностью за уважение и, развязав носовой платочек, передала одному из хоронивших деньги, сказав:

– Помяните люди новопреставленного Макара, по-христиански.

Этим её решением все оказались довольны, всё же не забыла – и то ладно.

Оставшись одна на сельском кладбище, бедная женщина рухнула на свежую могилку, принялась рыдать и по-звериному выть. Сложив ладони воронкою, она кричала, прильнув к земле, будто надеялась, что Макар её услышит:

– Ма-ка-руш-ка! Я ско-ро при-ду к те-бе! Жди ме-ня! Крест скую и при-ду!

Так она лежала и рыдала, и кричала до той поры, пока от натуги и холода не пропал голос. Поднявшись, раскачиваясь будто пьяная, вымазанная в земле, обвела округу взглядом покрасневших, безумных глаз, побрела Груня в сторону кузни и избы, в которой теперь горько, пусто и одиноко.

А кто не ушёл далеко в тот день от кладбища, потом рассказывали всем:

– Ох, братцы мои! По сю пору волосья на голове дыбом стоять. Как жа она выла! Как выла! Будта волчица, право слово! Поди, всех мертвяков прогнала с могилки. Голосила, мол, жди, в скорости приду к тебе! Да рази ж можно так? Молодая ж баба совсем, убиваица да жить не хочить.

Народ от жалости и страха млел, слыша такое, не зная, что и сказать. Ужас!

На следующий день Груня решительно, преодолевая боль во всём теле, поднялась. Надев длинную старую юбку, рубаху Макара, коворотку, скрутив жгутом платок, положила по лбу, завязав сзади, закрепив тем самым волосы, чтобы не рассыпались. Сунула ноги в обрезанные сапоги и направилась в кузницу. Там надела кожаный фартук мужа, его рукавицы и приступила к задуманному.

Крест на могилу Макарушки она, закрыв глаза, видела, будто наяву, во всей красе, до мельчайших подробностей. На этом кресте Груня мысленно изобразила всё, что, по её мнению и воображению, должно было быть. Всю их жизнь.

Балтийские чайки и рыба – это напоминание лично о ней. Ромашки и колокольчики – цветы, которые он любил и ей дарил. Голубь с голубкою – это они сами. Две птички и три маленьких ангелочка – это сыночки и погибшие младшенькие детки. Вычурные узоры, дивный

орнамент, который делал бы крест необыкновенно лёгким, резным, воздушным. А по низу, у самого пьедестала – кони с развевающимися гривами, храпящие, с поднятыми вверх, будто в полёте, передними копытами. Вся жизнь её Макара – это полёт.

Груня взялась за работу с тем упорством, тем насилием над собой, надорванной горем, будто человек, решивший завершить свой жизненный путь этим трудом. Зачем ей силы? Ей бы только хватило их, сил этих, выковать крест – и ладно. Зачем ей здоровье? Оно никому уже не нужно. Ни самой Груне, ни сыновьям, которым мать не знала, куда и сообщить о смерти отца. Ей больше не важен был внешний вид, к чему? Ей-то самой и так ладно, сойдёт.

Как-то заглянул в кузню дедок один, услышал звон и стук молотка – удивился. Перекрестился в недоумении, мол, кто это там? А глянув на постаревшую, поседевшую Груню, покачал головою:

– Ты пошто, девка, так себе запустила? Вона бялёная вся.

– В одной шерсти и собака не проживёт, – хрипло ответила вяло Груня.

– Соберися давай, помойси, прибириися. Ишь ты! Макарке не к душе ба было, – он, сердито хлопнув дверью, вышел.

А вскоре здоровье её дало сбой, подвело здоровье, и она слегла недомогающая. Слегла и уснула. Проспала двое суток. Несколько раз просыпалась, пила воду, подбрасывала в топку печи дрова и опять проваливалась в беспокойный, тяжёлый сон. Очнувшись, почувствовала себя бодрее, вроде отдохнувшей.

– Нет, – приказала себе Груня, – верно дед говорил, так негоже. Нельзя позволить себе раскиснуть, быть беспомощной. Да и дверь в дом, который на отшибе, никто не откроет, если окончательно слягу. А лежать и ждать смерти – этого не должно быть! Мне нужно выковать крест в память о Макарушке. Потом установить его, а уж там, там видно будет.

Так она убедила, заставила себя поесть, помыться, одеться в чистое.

– Совсем другое дело, полегчало, будто сто пудов с плеч сбросила, – похвалила она себя, – молодец, Груня.

Каждое утро она шла в кузню. Там приступала к работе над обязательным, должным, как и Макар делал, а уж потом, перекусив,

бралась за своё творчество. Макара не хватало! Ой, как не хватало его советов, поддержки! Надо было справиться самой, и полагаться уж не на кого. Мало-помалу, небольшими элементами, происходило рождение её шедевра. Ей подмогою служила любовь к мужу, желание увековечить память о нём.

Приезжал старший сын, был точно громом поражён, узнав о смерти отца. Он немного помог матери, заготовил топливо для печи на зиму. Оставив адрес, куда можно написать им с братом, так как теперь они снимали уголок и работали на заводе кузнецами, уехал обратно. Значит, отцова наука пригодилась сыновьям.

Груня продолжила трудиться над задуманным. Медленно, но верно птицы, ангелы, рыбы рождались, выходили из-под её рук. Часто по несколько раз переделывала тот или иной элемент, добиваясь совершенства. Не заметила, как наступила весна, промчалось лето, только через год, ближе к годовщине смерти, работа по созданию креста на могилу любимого мужа была завершена. Посмотрела Груня и себе не поверила:

– Неужели я смогла, сдюжила?

Она написала сыновьям просьбу о том, что необходимо приехать. Написала, ничего при этом не объясняя. Ждать пришлось почти месяц.

Сыновья приехали, когда землю начал сковывать морозец. После встречи и объятий последовали слова с неловкими извинениями, мол, жизнь закрутила, работа, да и митинги, собрания, демонстрации. Сыновья оказались в авангарде, в гуще революционных событий, всё остальное, личное, отошло на второй план. Они жили своею, захватившей их жизнью.

– Пойдёмте, что-то покажу, – позвала их в кузню Груня.

Вошли парни и остановились словно заворожённые:

– Это кто ковал? Сама? Не может быть!

Крест в человеческий рост, да ещё и на постамент встанет, необыкновенно красивый, вычурный, словно вывязанный. Он казался лёгким, невесомым, парящим. Сыновья разглядывали с восхищением и интересом.

– Да тут вся ваша с отцом жизнь! Диво просто, – приобнял стоящую молча в сторонке мать за плечи старший сын.

– Ну, мать, превзошла, превзошла батьку-то! Как-то так, женскими руками, мудрёно да заковыристо, сплела прям узор, – покачал головой, удивляясь, младший.

– Я бы вас не беспокоила, сыночки, да больно уж тяжёл, сама не справлюсь. Пробовала, так он меня чуть не раздавил, крест этот. Земля скоро совсем смёрзнется, – будто извиняясь, вздохнула Груня, – ходила к вашим дядькам в село, просила помочь, так они меня прогнали, сама, говорят, управляйся.

– Да что ты, что ты, ну их к лешему! Завтра сами всё сделаем. Заступы покрепче возьмём, лошадь, телегу – и поставим.

В эту ночь Груня уснула в счастье и блаженстве. Много ли ей надо? Сыночки – вот они, рядом, работа многотрудная закончена почти.

На следующее утро, наняв за умеренную плату у мужиков в Варваровке телегу с лошадью, загрузили тяжёлый крест да необходимый инструмент сыновья и вместе с матерью отправились на погост. Там его установили, закрепили и основание плотно обложили валунами. Надо сказать, что на сельском кладбище, кроме деревянных крестов и старинных голбцов, было только три-четыре железных надгробия, старых уже, да памятников несколько, выложенных из кирпича, да часовенки в углу, возле оградки кладбищенской. Кованый крест, который выковала Груня в память о любимом муже, был единственным в своём роде. Он поражал воображение людское своим величием и красотой исполнения. Народ под любым предлогом, будто и не специально совсем, потянулся на погост, вроде своих навестить, но подолгу простаивал у могилы кузнеца Макара Гринёва, разглядывая и дивясь на работу Груни. Мужики качали головами с почтением, недоумевая:

– Поди ж ты, баба, а чаво вымудрила! Не всяк мужик тах-та смагётъ.

Женщины, утерев наворачившуюся слезу, только вздыхали:

– Вот вить чаво для мужука сваво сотворила, да и сама пося здесь лягить, поди.

Старухи, те, собрав губы узелочками, глубокомысленно изрекали, подняв глаза к небу:

– Любовь! Вот чаво здесь!

Сыновья Грунины уехали обратно в столицу, когда вновь будут, даже не обещались. Как-нибудь, при удобном случае, наверное или при какой оказии. Вот уже наступившей зимою на бедную женщину навалились одиночество и жуткая тоска, даже отчаяние! Одна, совсем одна, как будылка в поле. Словом перекинуться не с кем. Да и раньше-то немногословною была всегда, жили они на отшибе, особнячком. Вся её судьба была связана с одним человеком – Макаром. Что же у неё осталось? Да ничего! С гибелью детей, отъездом сыновей, с уходом мужа ушла жизнь и из Груни. Сидя возле оконца, глядя на заснеженные меловые горы вдаль, слушая завывание ветра, она вспоминала детство в родительском доме, жизнь с Макаром, рождение детишек и работу в кузне.

– Макарушка, родной мой, я хочу к тебе, плохо мне тут одной, – Груня вдруг засобиралась, засутилась, накинула шерстяную шаль и торопливо сунула ноги в валенки. Она часто ходила на могилу мужа, сидела на холмике, тихо разговаривала, будто с ним.

Какой-то внутренний голос предостерёг Груню:

– Не ходи! Завьюжило, ветер поднялся!

– Мне надо пару слов ему сказать, на крест ещё раз глянуть, я не долго. Только взгляну – и назад, – кому-то внутри себя сказала тихо Груня и, выйдя, заперла на замок избу.

Она шла, поспешала наперекор ветру, в свисте которого ей слышался голос Макара.

– Гру-у-у-ня, Гру-у-у-ня! Гру-у-у-нюшка-а-а, – гудел на разные лады голос.

– Иду, иду, иду, миленький, – бормотала она, захлёбываясь, лоя ртом студёные снежинки. Пролезая, грузла, утопая ногами в перемётах, перешагивая с трудом снежные гребни.

Зимнее утро было тихим и стылым. Метель к полуночи улеглась, морозец прижал и вроде не очень-то сильно, но ощутимо пощипывал лица людей, шедших на кладбище копать могилу. Не повезло мужикам, земля тяжёлая, мёрзлая.

– И вот же угораздило помереть, времечко выбрал, – кажется, думал каждый о вновь почившем. Гуськом, друг за другом проторяя тропинку, шли мужики, и один вдруг громко сказал:

– Глядите! Крест на могилке кузнеца так и сияить, горить будто! Так новой жа!

Действительно, в первых лучах восходящего зимнего солнца крест сиял и блестел, издалека был виден.

– А што там за бугорок рядом с крестом-та, аль сидить кто? – с тревогой в голосе спросил другой.

Разгребая заступами снег у себя под ногами, мужики двинулись, прокладывая путь.

Рядом с крестом, прислонив к нему голову, прильнув и съёжившись, засунув кисти рук в рукава, неподвижно сидела укутанная снегом фигура женщины. Глаза закрыты, лицо белое, спокойное, будто мирно спящее. Из-под платка выбилась седовато-рыжая прядка волос, посеребрённая инеем.





Геннадий ШЕХОВЦОВ

Полевые цветы

Стихи

Вдохновение

Глаза России – синие озёра,
Как сердце, бьётся трепетный родник,
Рисует осень золотом узоры,
И журавлиный в небе тает крик.

Я растворяюсь в этом многоцветье –
В бескрайнем буйстве красок и огней,
Лишь треплет косы иве вольный ветер,
Когда стремглав проносится над ней.

Путь в этот храм природы не заказан,
Когда придёшь, тебе откроют дверь,
С ним так давно, так накрепко я связан,
И ты ему, как другу, тоже верь.

Тебя здесь встретят крепкие объятия,
Созвучие любви и доброты,
Берёзки, словно феи, в жёлтых платьях
И в сюртуках малиновых кусты.

Слетают с клёнов листья цвета виски,
Мне с ними тоже хочется парить,
Чтоб с высоты друзьям своим и близким
Тепло и нежность радостно дарить.

Та осень будет снится мне зимою
И уносить в заоблачную даль,
Я в глубине души своей укрою
Тот листопад и светлую печаль.

Музыка родного края

Дорожки в парке ветерок утюжит,
Тревожит слух опавшая листва.
Мне осень снова голову закружит,
Нашёптывая нежные слова.
Гуляю вновь аллею дубовой,
Бегут с пригорков жёлтые ручьи,
Прикрыла шалью празднично-парчовой
Берёзка плечи хрупкие свои.
Надела бусы яркие рябина,
Горит огнём рубиновый наряд...
И облака легки, как пелерина,
В осеннем небе стайками парят.
Стою опять у Цны зеленоглазой,
Где косы ив целуются с волной.
Я посвящаю трепетные фразы
Тебе, мой край, любимый и родной.

Мою любовь словами не измерить –
Она светла, как звёздочка в ночи.
И в добрый час, и в дни лихой потери
Она в душе, как музыка, звучит.

Русские берёзы

Я в берёзовой роще недавно бродил –
В облаках золотых затерялся,
Голос флейты во мне снежный ком растопил,
И закат, как костёр, разгорался.

В путь-дорогу вожак журавлиный трубил,
Собирая крылатую стаю,
И печальный их крик надо мною кружил,
А потом в синем небе растаял.

Я смотрел, как деревья роняли листву
Каруселью цветною по кругу.
Почему в эти дни в моём сердце живут
И любовь, и тоска, как подруги?

Отходили ко сну полевые цветы,
Закрывали глаза голубые,
Может, где-то и есть уголок красоты,
Где природа, как в милой России.

И когда на берёзках зажгутся огни,
Прихожу разговор их послушать,
Только мне не понять, чем волнуют они
Наши тонкие русские души.

Кусочек хлеба

Враги вошли тихонько, воровато,
Когда ещё в саду дремал июль,
Подпёрли двери, подпалили хаты,
Кто спасся из огня – погиб от пуль.

Сожгли жену, дочурку, кроху сына...
Он лез под пули – смерть свою искал,
Стал, словно лунь, и часто под рябиной
Странички полустёртые читал.

Храня у сердца карточки родные,
Европу невредимым прошагал,
Лишь на груди медали боевые
Рассказывали, как он воевал.

И вот Берлин. Война истёрла ноги,
Горящий танк, недобрые глаза,
И вдруг мальчишка, прямо у дороги,
И тоненькие ручки, как лоза.

Измученный, стоял он у забора
В обносках, что оставил старший брат,
И лишь глаза – пугливые озёра –
Смотрели на висевший автомат.

И этот взгляд – клочок чужого неба –
В груди огромный айсберг растопил.
Раскрыл рюкзак, достал кусочек хлеба,
В озябшую ладошку положил.

И задрожала детская ручонка,
И то ли вздох раздался, то ли стон,
И слёзы потекли из глаз ребёнка,
И робко прошептал он: «Данке шон».

У Вечного огня

Мне писать всегда об этом страшно:
Жизнь прожив средь звонкой тишины,
Посвящать слова свои прекрасным
Людам, не вернувшимся с войны.

Словно сердце павшего солдата,
Бьётся пламя Вечного огня.
День Победы – горестная дата,
Сгусток боли в сердце у меня.

Преклоняя трепетно колени,
Я кладу к подножию букет.
Как огонь сожжённых поселений,
Запылал малиновый рассвет.

И спешат седые ветераны
Помянуть погибших в той войне,
И войной оставленные раны
Беспокоят, кажется, вдвойне.

Оставляют капли дождевые
Мокрый след на каменных щеках,
Памятники, будто бы живые,
Держат мир спасённый на руках.

Я хочу, чтоб люди вспоминали,
Завоёван он какой ценой,
Чтобы дети, внуки мои знали
О войне по книгам и кино.

Полевые цветы

Я ромашки в росе поутру целовал,
Губ дрожащих касался губами
И нектаром зари душу я согревал,
А душа отзывалась стихами.

Словно тысячи солнышек прямо в снегу,
Желтоглазые брызги рассвета
Обронило на сочном зелёном лугу
Торопливое звонкое лето.

Говорят, что цветы – дар всемогущих богов,
Это – рая земного остатки.
И когда не хватает стихам моим слов,
Я спешу в этот рай без оглядки.

И не знаю, куда обратить мне свой взор
В многоцветье тону многоликом.
Синим цветом зовёт васильковый узор
И манит ароматом гвоздика.

И теплеет в груди от такой красоты,
И мне пишется легче, добрее.
Этот сказочный мир – полевые цветы,
Что для русского сердца милее!

Свет красоты

Так хочется туда, где свежий ветер
Ласкает кудри зреющих полей,
И где родник, проснувшись на рассвете,
Поёт, как сердце родины моей.

Вот я иду, подняв повыше брюки,
Роса босые ноги холодит,
Смотрю, как, заложив за спину руки,
Гуляет старый ворон-эрудит.

Смотрю, как первый луч, скользя по вербам,
На лист зелёный золото прольёт,
Как муравей, проснувшись самым первым,
Огромную соломинку несёт.

Там у ручья, накинув полушалок,
Красавица-берёзка – гибкий стан,
И, словно локоны ночных русалок,
За ветки зацепившийся туман.

И я молитву небу посылаю,
Чтоб добрый свет в душе моей не гас,
Рассветы не впервые я встречаю,
Но трепет ощущаю каждый раз.

И каждый раз, как будто с новой силой,
Я упиваюсь светом красоты,
И звуки, что природа освятила,
Переношу на чистые листы.

Авторы «Тамбовского альманаха»

Акулов Иван Иванович – поэт. Родился 15 января 1942 года в Рязанской области – ск. 30 мая 2020 г. Окончил Мичуринский государственный педагогический институт, работал директором школы, заведующим районным отделом образования, заместителем главы Петровского района Тамбовской области. Публиковался в журнале «Подъём», «Литературной газете», в региональных изданиях. Автор одиннадцати поэтических сборников общим тиражом более трёх тысяч экземпляров. Лауреат премии имени Е.А. Баратынского. Член Союза писателей России.

Алёшин Олег Валентинович – поэт, журналист. Родился 18 апреля 1964 года. Окончил Тамбовский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. Работал гл. редактором «АиФ-Тамбов». В настоящее время руководит коммерческой службой газеты «Тамбовская жизнь». Автор поэтических сборников «Русские фрески» (1997), «Случайный взгляд» (1998), «Купила девочка обновку» (1999), «Антоновы песни» (2006), «Антоновка» (2012), «Сад камней» (2014), «В моём саду» (2019). Печатался в журналах «Москва», «Подъём», в «Литературной газете» и др. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Аршанский Валерий Семёнович – прозаик, публицист, журналист. Окончил Воронежский государственный университет, с 1967 г. живёт в Мичуринске. С 1973 г. работал в газете «Мичуринская правда», долгое время был её главным редактором. Автор книг прозы: «Дипломная практика», «Фольклорная экспедиция», «Встреча», «Откровение», «Горькая трава марор», «Бремя атланта», «Гражданский проспект» и др. Лауреат премий имени И.А. Гаврилова, имени А.К. Воронского. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза журналистов и Союза писателей России.

Белых Михаил Петрович – писатель-документалист, краевед, журналист – родился в 1969 году в Мичуринске. Окончил Мичуринский государственный педагогический институт. Работал корреспондентом, заведующим отделом, заместителем главного редактора газеты «Мичуринская правда». В настоящее время главный редактор. Автор книг по истории города и района. Удостоен премии Союза журналистов России, премии Тамбовской области им. А.К. Воронского, литературных премий им. И.Г.

Рахманинова и Б.К. Панова, Патриаршей грамоты (2001), диплома XIII Всероссийского фестиваля «Вся Россия-2008». М.П. Белых – член редколлегии Тамбовской энциклопедии, на его публикациях основывается ряд научных статей для Российской энциклопедии. Член Союза писателей России.

Гончар Анатолий Михайлович – поэт, прозаик. Родился в с. Хорошавка Инжавинского района Тамбовской области. Учился в МГУ им. Ломоносова, не окончил. Срочную службу проходил в Афганистане, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Награждён орденом Красной Звезды, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» (с мечами) I и II степеней, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За возвращение Крыма». Автор более двадцати книг прозы, изданных в «Эксмо», и пяти стихотворных сборников. Победитель литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (диплом им. генерала М.Д. Скобелева). Лауреат премии «Во славу Отечества» – за вклад в дело пропаганды военно-художественной литературы. Лауреат премии литературного конкурса «Щит и меч Отечества». Член Союза писателей России.

Гришин Михаил Анатольевич – прозаик, сценарист, журналист. Автор романов «Вкус мести», «Паутина», сборника рассказов «Дождь, самогон и коробка конфет», детских повестей-сказок из серии «Приключения Витьки Картошкина», публикаций в журналах «Подъём», «Север», «Костёр», «Автопилот» и др. Как сценарист участвовал в нескольких телевизионных проектах, писал сценарий для сериала «Особый случай», автор сценария восьмисерийного телефильма «Облака, испачканные пылью». Дипломант третьего Международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы им. А.Н. Толстого. В 2015 году книга «Приключения Витьки Картошкина» удостоена звания «Нравится детям Тамбовской области». Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Гусева Марина Владимировна – поэтесса, художник, педагог. Родилась в Тамбове, окончила Пензенское художественное училище, Воронежский государственный университет. Преподаёт в Тамбовской художественной школе № 1. Работает в жанре пейзажа. Стихи публикуются в коллективных сборниках, тамбовских газетах. Автор поэтических сборников «Этюды», «Незримых крыл прикосновенье», «Перед рассветом», вышедших в Тамбове. Много пишет о природе. Член Союза писателей России.

Доровских Сергей Владимирович – прозаик, публицист. Окончил ТГТУ (кафедра «Связи с общественностью»). С 2004 года в журналистике. Главный редактор журнала «Литературный Тамбов». Автор книг «Единственный выход», «Ересь», «Патриот, хранимый судьбой», «День твоего имени», «Время Весны». Публиковался в журналах «Наш современник», «Памир», «Сухум», «Странник», «Губернский стиль», в «Тамбовском альманахе» и других изданиях. Лауреат областной журналистской премии имени И.И. Овсянникова. Лауреат премии им. Л.М. Леонова журнала «Наш современник» (2018). Финалист литературного конкурса партии «Справедливая Россия» «В поисках правды и справедливости» (2018). Член Союза писателей России.

Дорожкина Валентина Тихоновна – поэтесса, прозаик, литературовед. Родилась в 1939 г. в Мичуринске. Окончила историко-филологический факультет Тамбовского государственного педагогического института. Работала старшим редактором Тамбовского отделения Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Автор более тридцати книг, один из авторов «Тамбовской энциклопедии». Лауреат литературных премий: имени первого редактора газеты «Тамбовская правда» И.А. Гаврилова, имени издателя И.Г. Рахманинова, литературных премий имени Е.А. Баратынского, имени Зои Космодемьянской; дипломант Национальной премии имени Л.Н. Толстого. Член Общественной палаты Тамбовской области, заслуженный работник культуры РФ, почётный профессор ТГУ имени Г.Р. Державина, почётный гражданин города Тамбова. Награждена медалями «К 100-летию М.А. Шолохова» и «Шукшин», кавалер ордена Дружбы. С 1985 г. бессменно руководит детским литературно-творческим объединением «Тропинка». Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Зайцева Елена Михайловна – поэтесса. Родилась в Омске. Окончила художественное училище в Бишкеке и Омский технологический институт. По профессии – модельер. Много лет жила и работала в Санкт-Петербурге. Автор трёх сборников стихотворений: «Перекрёсток стихий» (2012), «Перекрёсток надежд» (2014), «Оставь меня себе на память» (2015). Публиковала стихи в коллективных сборниках, в журналах «Сфинкс» и «Литературный Тамбов». В 2016 году стала финалисткой VIII Международного литературно-музыкального фестиваля «Мгинские мосты без границ». Член Союза писателей России.

Мария Игоревна Знобищева – поэтесса, прозаик, критик. Родилась в Тамбове, окончила Институт филологии ТГУ им. Г.Р. Державина. Публи-

ковалась в журналах «Наш современник», «Подъём», «Волга – XXI век», «Вопросы литературы», «Крещатик», «Пересвет», в «Литературной газете», на сайте «Российский писатель» и др. Автор нескольких поэтических сборников. Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова, премии им. Ю.П. Кузнецова, дипломант Международного Волошинского фестиваля. Руководитель Центра творческого развития детей и подростков «Мир слова» при Центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака г. Тамбова. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России.

Королёва Зинаида Алексеевна – прозаик. Родилась 21 мая 1942 года в Свердловске (Екатеринбург). В Тамбове окончила школу, затем техникум и, уже работая бухгалтером, завершила учёбу в институте. Работала на крупном заводе инженером-экономистом, по состоянию здоровья вышла на пенсию. Писала стихи, прозу, занималась в литературном объединении «Радуга» под руководством Семёна Милосердова. Публиковалась в заводской многотиражке. Сейчас издано около тридцати книг. Участвовала более чем в десяти коллективных сборниках. Книги З.А. Королёвой размещены в национальной библиотеке Китая. Член Союза писателей России.

Сергей Константинович Кочуков – писатель, историк, краевед, родился в селе Лысье Горы Тамбовской области. Учился в Москве, по образованию юрист-международник, 25 лет прослужил в органах госбезопасности, офицер запаса. Публиковался в журналах «Подъём», «Гостинный двор», «Литературный Тамбов», «Тамбовский альманах», в «Рассказ-газете». Автор трилогии «След веков отшумевших», исторических романов «Полёт белого кречета», «Без вести не пропавшие», «Я завещаю вам рассвет», «На тебя уповаю». Организатор межрегионального фестиваля авторской песни «Там, под Лысой Горой». Организатор краеведческого музея в с. Лысье Горы. Почётный гражданин Тамбовского района. Член Союза писателей России.

Кружнов Андрей Эдуардович – прозаик, драматург, режиссёр. Родился в 1962 г. в Гродно. Закончил режиссёрско-театральное отделение ТФ МГИК и Литинститут им. А.М. Горького (отделение драматургии). Автор сборника пьес «От сказки до фарса», книг «Юмористические рассказы об актёрах, о любви и глупости», «Портрет моего времени», «Маленькие собаки тоже любят бога» и др. Печатался в альманахах, журналах Москвы, Тамбова, Махачкалы и Кинешмы. Монодрама «Советские Штаты Амери-

ки, или Исповедь лузера» – дипломант трёх театральных фестивалей. Лауреат литературной премии «Бумажный ранет-2014» в Москве. Член СТД и Союза писателей России.

Курбатова Татьяна Львовна – поэтесса, педагог. Родилась в Тамбове, окончила музыкальное училище им. С.В. Рахманинова, факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института (ныне ТГУ им. Г.Р. Державина). Автор десяти сборников лирической поэзии и стихов для детей. Возглавляет литературное объединение «Радуга» при областной писательской организации. Несколько её стихотворений стали песнями, музыку к которым написала композитор Ольга Егорова. Награждена знаком «За достижения в культуре». Член Союза писателей России.

Луканкина (Морозова) Елена Львовна – поэтесса, прозаик, драматург, журналист. Родилась в Тамбове. Окончила факультет журналистики ТГУ имени Г.Р. Державина. Автор шести книг: сборников стихов «Маленькие жизни», «Искусство крика», «P.S.», «Дерево в огне», книги прозы «Полуангелы», а также дебютного романа «Когда мы стали животными». Лауреат литературно-общественной премии «Светить всегда» имени Владимира Маяковского с вручением диплома и ордена «В.В. Маяковский». Лауреат литературной премии Тамбовской области имени Е.А. Баратынского. Лауреат литературной премии «Светунец» имени Вячеслава Богданова. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Макаров Александр Михайлович – поэт. Родился в 1946 году в деревне Еремеево Староюрьевского района Тамбовской области. Заочно окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публикуется с 1966 года. Сборники «Красный мячик», «Излучина», «Светлый час», «Избранное» и многие другие выходили в Тамбове, Воронеже, Москве. В конце 2018 года в Тамбове издана книга стихов Александра Макарова «Знаки луны». Лауреат областной премии имени Е.А. Баратынского. Член Союза писателей России.

Марков Валерий Александрович – поэт, публицист. Родился в 1948 году в Сампурском районе Тамбовской области. Окончил Тамбовский государственный педагогический институт и Северо-Кавказский социально-политический институт. Служил в армии, имеет офицерское звание. Работал первым заместителем главного редактора газеты «Тамбовская жизнь». Автор шести стихотворных сборников, книги публицистики «С красной строки», изданных в Тамбове, публикаций в коллективных

сборниках и периодике. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премий: имени А.К. Воронского, В.А. Богданова, И.Г. Рахманинова. Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Юрий Альбертович Мещеряков – поэт, прозаик, ветеран афганской войны. Окончил Омское высшее общевойсковое училище, большая часть службы прошла в Средней Азии. За участие в боевых действиях награждён орденом Красной Звезды и другими военными наградами. Автор романов «Панджшер навсегда», «Меморандум Платова», сборника повестей и рассказов «Время мужчин». Публиковался в журналах «Подъём», «Северное измерение», «Губернский стиль», «Памир», в «Литературной газете», региональных СМИ. Обладатель Гран-при литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Главный редактор «Тамбовского альманаха». Секретарь Союза писателей России, председатель правления Тамбовского отделения.

Наседкин Николай Николаевич – писатель, литературовед. Родился 13 апреля 1953 года в Читинской области. Окончил факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, Высшие литературные курсы при Литинституте им. А.М. Горького. Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Нева», «Урал», «Подъём», «Южная звезда», «Российский колокол», «Литературное обозрение» и др. Автор 15 книг: «Осада», «Криминал-шоу», «Самоубийство Достоевского», «Достоевский: Энциклопедия» и других, вышедших в основном в Москве. Изданы книги в Польше, Черногории. Лауреат премии Тамбовской области им. Е.А. Боратынского, Международной драматургической премии «Евразия», дипломант премии «Хрустальная роза Виктора Розова», награждён медалью «К 100-летию М.А. Шолохова». С 2003 по 2013 год возглавлял Тамбовское региональное отделение Союза писателей России. Инициатор издания «Тамбовского альманаха».

Евстахий Ярославович Начас – поэт, журналист, Родился в 1940 году в селе Ярчевцы Тернопольской области (Украина). Окончил филологический факультет Тамбовского педагогического института. Работал учителем в Красноярском крае, главным редактором областной газеты «Наедине». Автор многих книг стихов. Заслуженный работник культуры России, лауреат областных литературных премий имени Е.А. Боратынского и В.А. Богданова. Награждён медалью «К 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова». Член Союза писателей и Союза журналистов России.

Николаева Александра Николаевна – поэтесса. Родилась в Тамбове, окончила ТГУ им. Г.Р. Державина. Кандидат исторических наук. Занималась в литературно-творческом объединении «Тропинка» (руководитель – В.Т. Дорожкина). В настоящее время сотрудник Тамбовской областной библиотеки им. А.С. Пушкина, поэтический куратор творческой студии «ШАТЁР» для молодых инвалидов. Автор четырёх поэтических сборников: «Что о себе могу я рассказать», «А на душе покойней и светлей», «Осенний дневник», «Матерь жизни». Публиковалась в «Тамбовском альманахе», «Литературной газете», журнале «Подъём», на сайте «Российский писатель». Лауреат литературной премии «Светулец» им. Вячеслава Богданова. Член Союза писателей России.

Перцева Лидия Александровна – поэтесса. Родилась в Йошкар-Оле, детство прошло в Ленинграде, окончила Воронежский государственный университет по специальности физик-оптик. Работала ст. инженером в ЛОМО. С 1978 г. проживает в Тамбове, избиралась депутатом Тамбовской городской Думы. Автор поэтических книг: «И горечь и истома», «Таинство», «Семиречение», «Не отрекайтесь от креста», «Дерзаю воспевати», «В горнице моей души», «Детства утро золотое», «Печальная песня» и др. Книги издавались в Воронеже, Тамбове, Москве, в Одессе, в Минске. Много пишет на православную тематику. Член Союза писателей России.

Полякова Лариса Васильевна – литературовед, критик. Родилась в 1942 году. Окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор ТГУ им. Г.Р. Державина. Автор 14 монографий и более 550 научных статей. Создатель Международного научного центра изучения творческого наследия Е.И. Замятина в Тамбове с филиалом в Ягеллонском университете (Краков, Польша), представительством в Лозаннском университете (Лозанна, Швейцария), Елецком государственном университете им. И.А. Бунина, лабораторией по изучению языка Е.Замятина в Мичуринском пединституте. Л.В. Полякова – создатель ведущей научной школы Тамбовской области «Исследование русской литературы в национальном культурном контексте». Подготовила 12 докторов филологических наук и более 40 кандидатов филологических наук. Разработала теорию филологической регионалистики как отрасли гуманитарных наук и вместе с тамбовскими коллегами написала полный цикл учебной литературы по литературному краеведе-

нию для старших классов, а также пособие для учителей. Член Союза писателей СССР с 1982 года.

Расстегаев Юрий Николаевич – прозаик. Родился в 1949 году в п. Новая Ляда, под Тамбовом. Окончил Московский энергетический институт. Работал первым секретарём Советского райкома комсомола, служил в органах внутренних дел, редактировал газету «Доверие». Участник боевых действий на Северном Кавказе, награждён медалями. Подполковник в отставке. Автор книг: «Большая прогулка», «Во фронтовых делах не участвовал», «Террористы», «Пасечные истории». Лауреат областной премии имени А.К. Воронского. Член Союза писателей России.

Владимир Иванович Селивёров – прозаик, краевед, ветеран МВД, адвокат. Родился в 1945 г. в Котовске. Окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР. Автор серии исторических романов, в том числе о тамбовском правителе Г.Р. Державине, о губернаторах П.А. Нилове, Д.Р. Кошелеве, А.М. Безобразове, И.С. Миронове, фон дер Лаунце и многих других. Лауреат литературной премии им. Е.А. Баратынского. Организатор творческих встреч и литературных концертов «Трегуляевские среды». Член Союза писателей России.

Цурикова (Демидова) Нина Петровна – поэтесса, педагог. Родилась в с. Подгорное Староюрьевского района Тамбовской области. Окончила Тамбовское музыкальное училище им. С.В. Рахманинова. Работает преподавателем в детской школе искусств. Автор 12 поэтических книг и шести сборников песен. Выступала с авторскими программами в с. Константиново, г. Рязске, г. Москве, г. Сочи, г. Пензе, г. Минске и др. Является участником международного проекта «Связующее слово». Победитель региональных и всероссийских поэтических конкурсов, заслуженный работник культуры РФ, почётный гражданин Староюрьевского района. Член Союза писателей России.

Елена Викторовна Чистякова – прозаик, баснописец, педагог, работает в жанре фольклорного повествования с использованием самобытного южно-русского говора. Автор книги повестей «Житейские истории», серии популярных книг «Сказы деда Савватая», серии книг «Современные басни», а также автобиографической повести «Бережком вдоль Громушки, бегущей по камешкам». Публиковалась в «Тамбовском альманахе», в журналах «Губернский стиль» (г. Воронеж), «Литературный Тамбов», в сборнике очерков и рассказов издательства «Художественная литература» (г. Москва). Член Союза писателей России.

Шеховцов Геннадий Иванович – поэт. Родился в 1957 году в селе Нижнее Шеховцово Курской области, умер 27.02.2020 г. в р.п. Знаменка Тамбовской области). Окончил Тамбовский институт химического машиностроения, инженер. Несколько лет работал по специальности в Фергане, позже – в Знаменке. Публиковался в газетах «Тамбовская жизнь», «Наедине», «Сельская новь». Автор шести поэтических сборников. Первая книга – «Истоки» (Калининград, 2002 г.) Позже появились книги: «Я родом из глубинки» (2003), «Дорога любви» (2005), «Свет благодатный» (2006), «Частичка души» (2009) и «Трепетный родник» (2015). Сотрудничал с тамбовским композитором Ольгой Егоровой, которая написала 15 песен на его стихи. В 2012 году поэт стал лауреатом премии Тамбовской области имени Е.А. Боратынского. Член Союза писателей России.



СОДЕРЖАНИЕ

В. АРШАНСКИЙ. Паруса Тамбовской литературы	3
Иван АКУЛОВ	6
Олег АЛЁШИН	19
Валерий АРШАНСКИЙ	25
Михаил БЕЛЫХ	41
Анатолий ГОНЧАР	46
Михаил ГРИШИН	60
Марина ГУСЕВА	82
Сергей ДОРОВСКИХ	88
Валентина ДОРОЖКИНА	107
Елена ЗАЙЦЕВА	117
Мария ЗНОБИЩЕВА	126
Зинаида КОРОЛЁВА	134
Сергей КОЧУКОВ	150
Андрей КРУЖНОВ	183
Татьяна КУРБАТОВА	212
Елена ЛУКАНКИНА	219
Александр МАКАРОВ	227
Валерий МАРКОВ	236
Юрий МЕЩЕРЯКОВ	244
Николай НАСЕДКИН	277
Евстахий НАЧАС	303
Александра НИКОЛАЕВА	310

Лидия ПЕРЦЕВА	318
Лариса ПОЛЯКОВА	326
Юрий РАССТЕГАЕВ	344
Владимир СЕЛИВЁРСТОВ	374
Нина ЦУРИКОВА	394
Елена ЧИСТЯКОВА	401
Геннадий ШЕХОВЦОВ	430
Авторы «Тамбовского альманаха»	437

Тамбовский альманах № 20

*Литературно-художественное издание
Тамбовского отделения Союза писателей России*

Главный редактор
Юрий МЕЩЕРЯКОВ

Редакционный совет
Олег АЛЁШИН
Валентина ДОРОЖКИНА
Мария ЗНОБИЩЕВА
Сергей КОЧУКОВ
Татьяна КУРБАТОВА
Елена ЛУКАНКИНА

В альманахе использованы репродукции работы
художника *Марины Гусевой*

Дизайн обложки – **С.В. Борцова**
Компьютерная вёрстка – **Т.В. Подковырова**
Корректор – **Е.Г. Ремизова**

Подписано в печать .12.2020 г.
Формат 60x84¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. п. л. + вкл. Тираж 400 экз. Заказ 906.

Отпечатано в обществе с ограниченной ответственностью
«Тамбовский полиграфический союз»
392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 14А
Тел. 8 (4752) 53-26-27
E-mail: info@tps68.ru
www.tps68.ru

ISBN 978-5-907349-35-3



9 785907 349353 >